# Каботажное плавание

# Жоржи Амаду

Посвящается:

Зелии — возлюбленной и сообщнице

Моим детям — Жоану Жоржи, Паломе,

Педро и Ризии

Николь Занд, Жозе Карлосу де Васконселосу и Отто Лара Резенде

«Когда все дружным хором говорят „да“, я говорю — „нет“. Таким уж уродился».

(Ж. А. «Большая засада», 1984)

«...История рассказывается, а не объясняется».

(Ж. А. «Исчезновение святой», 1988)

«Я — баиянец, романтичный и чувственный».

(Ж. А. Интервью журналу «Паратодос», 1958)

Я стал записывать всплывающие в памяти эпизоды далекого и недавнего прошлого по чистой случайности: нежданно-негаданно выдалось свободное время. В январе 1986-го мы с Зелией прибыли в Нью-Йорк на конгресс Международного ПЕН-клуба. Прибыли — и тотчас одновременно свалились с высоченной температурой. Супругов Амаду сразила жестокая пневмония. Хотели даже в больницу класть, но, к счастью, обошлось. Впрочем, нет худа без добра: мы не побывали ни на одном заседании, не услышали ни одного доклада, не приняли участие ни в одной дискуссии. Зато я стал вспоминать и записывать.

Сразу предуведомляю, что не несу никакой ответственности за точность дат — я с гимназических времен терпеть не могу хронологии. Так что время и место каждого эпизода даны если не произвольно, то весьма приблизительно — только чтобы примерно очертить эпоху и часть света.

Всем женщинам, повстречавшимся мне в этом плаванье, я дал имя Мария. Это самое прекрасное имя на свете, и пусть носят его те, с кем сводила меня судьба в портах захода и приписки, те, кто встречал и провожал меня на пирсе, кто смутной тенью следовал за моим кораблем.

Мне было шесть лет, когда произошла Октябрьская революция, от имени и во имя трудящихся провозгласившая в России советскую власть.

Мне скоро восемьдесят — и вокруг рушится порядок, установленный ею и укрепленный итогами Второй мировой. В Европе возникает новая географическая и политическая реальность. Распадаются империи, гибнут режимы. Бойкие коммерсанты распродают на сувениры клочья «железного занавеса» — обломки Берлинской стены.

А та идеология, что представлялась нам когда-то кристально, стерильно чистой и безупречно научной, что смутила душу не одного интеллигента, что всколыхнула и повела на борьбу за свободу и счастье гигантские человеческие массы, что разделила мир надвое, четко разграничив «добро» и «зло», идеология эта оказалась догматической химерой. И привела она не к свободе и счастью, а к тирании. И недаром 7 ноября москвичи пронесли по Красной площади транспарант: «Пролетарии всех стран, простите нас!»

Уходит в небытие то, что казалось вечным. Творится небывалое и немыслимое. На наших глазах, на экранах телевизоров созидается История. Невероятные перемены — и в таком бешеном ритме, что день стоит года, а неделя столетия. Жаль только, не удастся досмотреть до конца. А хотелось бы.

Я решил опубликовать эти обломки и осколки воспоминаний в надежде дать ответы на некоторые «как» и «почему». За плечами у меня — восемьдесят лет напряженной, насыщенной, наполненной событиями и страстями жизни, прожитой со вкусом и, смею думать, с толком. Пора, пора подводить итоги, подбивать бабки, сводить дебет с кредитом, а крохи и мелочи, составившие существо этого повествования, реализовать по себестоимости. Описание событий грандиозных и ужасных, острую боль и безмерное ликование ищите в чванных и чинных мемуарах какого-нибудь знаменитого писателя, а меня — увольте!

Я не рожден стать знаменитостью, меня не стоит мерить этими мерками — «крупный — мелкий», — я, слава Богу, никогда не ощущал себя ни известным писателем, ни выдающейся личностью. Я — просто писатель, просто личность. Разве этого мало? Я был и остаюсь жителем бедного города Баия, праздношатающимся зевакой, который бродит по улицам и глазеет по сторонам, именно в этом полагая цель и смысл своего бытия. Судьба была ко мне благосклонна и дала много больше того, на что я мог рассчитывать и уповать. Но мастерить себе монумент не стану. За славой не гонюсь. Да и что есть слава? Дым!

Итак, я хочу всего лишь рассказать кое о чем, вспомнить веселые и грустные эпизоды этого стремительного и оказавшегося таким коротким каботажного плаванья, имя которому — Жизнь.

## Москва, 1952

Январь. Мороз градусов двадцать, на дворе воет метель. Мы с Ильей Эренбургом были приняты в Кремле очень высокопоставленными лицами и имели с ними крайне неприятную беседу. Распространяться не стану, скажу лишь, что речь шла о чехословацком писателе Яне Дрде — по его делам я и приехал из Праги в Москву, где мне, кстати, должны вручить Международную Сталинскую премию «За укрепление мира и дружбы между народами».

В мрачном молчании вернулись мы домой, в квартиру Эренбурга на улице Горького, выпили водки, и тут Илья мне сказал:

— Мы с тобой никогда не напишем мемуаров, Жоржи. Мы слишком много знаем.

Я припомнил недавний разговор с ответственными товарищами и согласно кивнул.

Впрочем, столь категоричное утверждение не помешало автору «Оттепели» несколько лет спустя, когда по стене советского мракобесия зазмеились первые трещины, а во тьме замерцал тоненький луч надежды, издать сколько-то томов своих воспоминаний, на последних страницах которых появляются в числе прочих и симпатичнейшие супруги Амаду.

Но вошло туда далеко не все: дочь Эренбурга Ирина рассказала мне в 1988 году, что, приводя в порядок его архив, обнаружила материала еще на несколько томов. Однако напечатать их даже в либеральные хрущевские времена Илья не смог — он и вправду слишком много знал!

Да и я за свою долгую жизнь узнал немало такого, о чем поклялся молчать до гроба. Мне известны причины и следствия дел и событий, о которых я и словом не обмолвлюсь. А известны они мне стали потому, что был я активным членом одной политической партии, организованной на военный манер, действовавшей в глубоком подполье и отнюдь не гнушавшейся подрывной деятельностью. И вот вам пожалуйста — столько лет прошло, и давным-давно уж я никакой не активист, и вечно живое всепобеждающее учение, активность эту направлявшее, кануло, сгинуло и приказало долго жить, и «реальный социализм» пришел к своему бесславному концу, а я до сих пор не считаю себя свободным от обещания держать в тайне то, что стало мне известно благодаря положению в партии. И, хоть несдержанность моя никому повредить уже не может, а тайны не имеют ни малейшего значения, я все еще не считаю себя вправе нарушить однажды данное слово и предать... Предать гласности то, что доверено мне было по секрету. Очевидно, тайны эти со мною вместе и умрут.

Как я боюсь больниц, их холодных коридоров и палат, приемного покоя — преддверия вечного. А еще больший ужас внушают мне кладбища, где даже цветы теряют свою живую прелесть и красоту. Однако есть у меня собственное мое, личное кладбище, я его открыл и освятил несколько лет назад, когда слегка огрубел душою. Я хороню там тех, кого убил, — вернее, тех, кто перестал для меня существовать, тех, кого в один прекрасный день лишил своего уважения и кто, стало быть, умер для меня.

Когда некто переходит все возможные границы и наносит мне обиду настоящую, то есть непростительную, я перестаю на него злиться и раздражаться и в драку не лезу, и отношений с ним не прерываю, и по-прежнему отвечаю ему на поклон. Нет, я сваливаю его в братскую могилу на моем кладбище, где не существует отдельных могил и семейных склепов — нет, там все лежат вповалку в безобразии и бесстыдстве свального греха. Этот некто для меня — покойник, в землю зарытый и землей присыпанный, и, что бы он ни делал, обидеть меня или ранить у него уж никак не получится.

Время от времени — и слава Богу, что не слишком часто! — хороню я тех, кто нарушил клятву, покривил душой, предал любовь, изменил дружбе, поступил бесчестно и бессовестно, тех, кто был корыстен, лжив, вероломен, лицемерен, нестерпимо заносчив — высокомерием и спесью меня ничего не стоит обидеть. Лежат они на этом маленьком и уродливом кладбище, схоронил я их без цветов, слезинки над ними не уронил и даже не вздохнул горестно, лежат и гниют они там — есть среди них мужчины, есть и женщины, немного, правда, — те, кого я вымел из своей памяти, вычеркнул из жизни.

Когда порою я встречаю этих призраков на улице, то здороваюсь и останавливаюсь перемолвиться с ними словечком, слушаю и впопад отвечаю на их слова, киваю на похвалы и от объятий, не в пример Екклесиасту, не уклоняюсь и подставляю щеку для братского, для иудиного поцелуя. А потом иду своей дорогой, а встреченный думает, что еще раз меня провел и обманул, и даже не подозревает, что он — мертв и в землю закопан.

## Париж, 1949

Мой сын Жоан Жоржи попал в Париж четырех месяцев от роду, и младенческий лепет его был французского происхождения, и до сих пор не избавился он от картавого парижского «р».

Больше всех любил он скульптора Васко Прадо: тот заезжал за ним в гостиницу, сажал — вернее, укладывал — в корзину, укрепленную на раме велосипеда, и подолгу катал по весеннему Парижу. Жоан обожал велосипед и скульптора.

Однако не меньше был он привязан к одному молодому человеку из племени «зазу» — так в послевоенном Париже называли юнцов, помешавшихся на джазе и экстравагантных нарядах, — который ухаживал за его нянькой. Эта самая нянька — или бонна? — пестовала малыша, покуда мама Зелия выполняла партийные поручения или слушала лекции в Сорбонне. Свидания бонны — она была родом из Эльзаса — и «зазу» происходили в Люксембургском саду: влюбленные прогуливались по его аллеям, толкая перед собой колясочку. В колясочке лежал Жоан, с интересом созерцая красоты Левого берега.

Ох, не только эти достопримечательности тешили живой и пытливый взор малыша! Прогулка завершалась в Шестом округе, возле дома, где «зазу» снимал маленькую квартирку, коляску ставили у холостяцкой кровати, и счастливые любовники начинали долгое странствие по торным дорогам и нехоженым тропам плотской любви, упоенно совокупляясь и каждой новой позой и вариацией колебля и сотрясая прогнившие устои буржуазной морали.

Кавалер через слово поминал Сартра, дама стонала по-немецки, Жоан-младенец смотрел и учился.

## Париж, 1991

В августе я бежал из Бразилии — бежал, чтобы не видеть, как тихо плывет навстречу смерти Мирабо Сампайо[[1]](#footnote-1), как улыбается он в забытьи, к которому свелось ныне все его бытие, переживая, наверно, заново все те истории, что он так любил рассказывать, повторяя их множество раз по любому поводу или же без всякого повода, как вспоминает он, волнуется и сердится: «Прочь с глаз моих, сукин ты сын!» И мы по улыбкам Мирабо, по движению его бровей, по легкой судороге, передергивающей его лицо, можем догадаться, чтґо сейчас проносится перед мысленным взором нашего друга, и когда мы с Карибе[[2]](#footnote-2) выходим из больничной палаты, глаза у нас на мокром месте, а Зелия — и просто в слезах. Не в силах вынести это, я уезжаю, я оставляю смерть на другом берегу океана.

Жозе Мирабо Сампайо — самый давний, самый старый из моих друзей, мы подружились еще в 1923 году, с тех времен, когда учились в гимназии Антонио Виейры. Он был первым учеником, все награды в конце года доставались ему, а я лишь во втором классе заработал медаль за успехи в законе Божьем, и как это вышло, до сих пор не понимаю. Чуть ли не семьдесят лет мы вместе, и одному Богу известно — да и то вряд ли! — чего только не было за эти годы!

Помню, как в 1935-м вывалились мы ночью в сильном подпитии из «Табариса», и Мирабо, достав револьвер, предложил сию же минуту пойти и застрелить некоего баиянского политика, местного лидера партии Интегралистское действие, а как его звали — убейте не помню. Большого труда нам с Эдгаром стоило разоружить новоявленного террориста, заставить его отказаться от покушения.

Эдгар Рогасиано Феррейра был его шофером со времен буйной и разгульной юности, когда мы играли в карты, танцевали танго, пили, волочились за аргентинками и ездили на первых в Баии спортивных автомобилях. Оставался он его шофером и те десять лет, когда у Мирабо не было никакой машины, пестовал его нежно, как сына, заботился, как о родном отце, был его ангелом-хранителем и не раз спасал посреди всяческих пьяных безобразий.

А теперь Мирабо, простершись на больничной койке, пристально смотрит на нас с Карибе, а мы стоим перед ним и несем всякую околесицу, вспоминаем разных красоток, снова и снова зовем его и окликаем в надежде, что он придет в себя и узнает нас, и мы будем разговаривать и смеяться как прежде. И вот на губах его появляется улыбка — неужели узнал? — но он не произносит ни слова и снова уплывает в свое забытье.

Карибе пишет мне из Баии: «Мирабо жив, но все там же». Смерть преследует меня, а я бегу от нее, хочу, чтобы как можно больше миль пролегло между нею и мною. Ох, нелегкое это дело.

## Милан, 1949

В самом центре Милана, в торговой галерее Зелия вдруг возбужденно кричит, показывая мне на витрину книжного магазина:

— Смотри!

Я смотрю — и вижу экземпляр моих «Бескрайних земель», чья броская обложка украшена репродукцией керамики Пикассо. Это мой первый роман, вышедший в итальянском переводе.

— Смотри, плакат! — Зелия вне себя от восторга.

Вообще-то это не плакат, а картонный прямоугольник, сообщающий об авторе: «Il piu noto scrittore brasiliano»[[3]](#footnote-3). Зелия читает эту надпись вслух, и мы, слегка напыжившись, идем дальше.

И вскоре оказываемся перед витриной другого книжного магазина и ищем на ней «Земли». Но выставлен там роман Эрико Вериссимо «Взгляните на лилии долины», если память мне не изменяет. И прислоненная картоночка заверяет, что автор — «Il piu noto scrittore brasiliano».

Мы с Зелией смеемся и пыжиться перестаем. В киоске на углу я покупаю открытку, марки и, описав происшествие, посылаю ее в Порто-Алегре Эрико Вериссимо: «На протяжении пяти минут и двадцати метров „il piu noto« был я, а потом передал полномочия тебе».

## Сан-Пауло, 1945

На Первом конгрессе писателей Бразилии я влюбился в Зелию, показал на нее поэту Пауло Мендесу де Алмейде и заявил:

— Видишь вон ту? Она будет моей...

Пауло расхохотался мне в лицо:

— Кто? Зелия? Да никогда в жизни! Руки коротки. Это — порядочная женщина, она не из тех, с кем ты привык проводить время.

А я в ту пору, разведясь с Матилдой, беспечным мотыльком перепархивал из одной постели в другую. Женщин было много, и я тратил на них досуг, остававшийся от политической деятельности. Замечательный поэт Освалд де Андраде, поссорившись со мной, даже обозвал меня — причем печатно, на первой полосе своей газеты — Распутин «Верного курса». «Верным курсом» же называлась линия на демократизацию компартии и поддержку президента Жетулио Варгаса. Освалд допустил чисто поэтическое преувеличение — так сказать, гиперболу, ибо до Распутина было мне далеко: просто я отдыхал от политических бурь в объятиях различных дам и девиц. Но увидев Зелию, я сложил оружие, склонил знамена и капитулировал.

— Да нет же, Пауло, ты не понял! Ты не дослушал. Она будет моей женой, супругой, спутницей жизни.

— Ты спятил, бедный мой Жоржи. Я знаю Зелию, а ты — нет. Немного найдется на свете женщин более строгих правил. Откажись от этой затеи, не трать время попусту.

То же самое и в тех же примерно выражениях говорил мне другой наш общий приятель, художник Кловис Грасиано:

— Что? Зелия?! Во-первых, она не отличается легкомыслием. А во-вторых, она замужем. Выбрось это из головы.

Но я не выбросил и не отказался — страсть была сильна. Я разбился в лепешку — и в июле Зелия перебралась ко мне. Нам прочили и пророчили, что брак этот продлится не более полугода. Как видите, пророки ошиблись: скоро сорок лет, как мы вместе.

## Баия, 1989

Я сижу в старом-старом, полуразвалившемся, столь же уродливом, сколь и удобном, так называемом дедушкином кресле и смотрю по ТВ предвыборные дебаты. Близятся выборы президента республики. Смотрю одним глазом — не от пренебрежения, а оттого, что левое веко как две недели назад опустилось, так больше подниматься не желает. По-научному это называется птоз, но я-то думаю, что окривел от того, в каком виде предстали передо мной советская империя и ее подданные. В булочных нет хлеба, мои московские друзья — и важные сановники, и простые люди, не обремененные чинами и титулами, — строят прогнозы один мрачней другого, предрекая смуту, голод, гражданскую войну и возврат ко всем прелестям тоталитаризма. Еще год назад, когда я был в Москве, сопровождая нашего президента Жозе Сарнея, подобные настроения были немыслимы. Было трудно, но люди сохраняли надежду и оптимизм.

Итак, смотрю я одним глазом, но слушаю в оба уха и ушам своим не верю. Боже, на какие низменные и убогие уловки пускаются претенденты, обливающие друг друга помоями в борьбе за голоса избирателей, сколько неистовой злобы в стремлении очернить соперника — причем у всех! Единственный, кто почему-то не занимается бессовестной демагогией и не оскорбляет конкурентов, это — подумать только! — кандидат от компартии, молодой сенатор Роберто Фрейре. Он, по крайней мере, предлагает задуматься о судьбе страны. Ему победа не светит, за него не проголосуют — и не потому даже, что коммунист, а потому, что открыто заявил о своем атеизме. Вот на экране появляется Лула, лидер могучей Партии трудящихся. Когда-то, в пору появления этой партии на свет во времена военной диктатуры, я связывал с нею немало надежд. С Лулой я лично не знаком, отзываются о нем хорошо, и я верю этим отзывам. Он кажется мне человеком порядочным — большая редкость в наши дни! Будучи профсоюзным боссом, вел себя во время стачки металлургов безупречно. И странно звучит в его устах воинствующий догматизм, когда он обращается к избирателям — он ему вроде бы несвойственен. Но таковы уж дух и стиль избирательной кампании: это влияние коммунистических лидеров, кампанию эту организующих и направляющих. Ох, ну и речь! Немыслимо слушать ее после того, что происходит в Восточной Европе, и как только язык поворачивается произносить эти словеса, когда на дворе — конец XX века, когда рушатся режимы и гибнут идеологии, когда идут похороны пролетариата и почил «реальный социализм». Лула безнадежно опоздал.

Ни разу не произносит он слово «народ», только «пролетариат», только «рабочий класс». К нему он обращается, от его имени говорит, обещая, что, когда придет к власти, установит диктатуру трудящихся и примется строить социализм. Нашел чем прельщать!

— Зелия, ты только послушай! Можно подумать, что речь ему сочинила и прислала из Тираны вдова Энвера Ходжи.

Ей-богу.

По скромному разумению автора, лучшие переводы его книг — те, которые он из-за незнания языков прочесть не может, то есть абсолютное большинство. Ох, плохо у меня с языками: со всеми, начиная с португальского, ибо я говорю и пишу на чудесном афро-бразильском наречии — по-баиянски. С грехом пополам объясняюсь по-французски и по-испански, ну, еще могу связать несколько итальянских фраз, да и те — со словарем. Вот тебе и все мое полиглотство.

Так вот, читая свой роман в переводе на один из трех этих мало-мальски известных мне языков, я замечаю, что как бы ни был даровит, скрупулезен и виртуозен переводчик, всегда найдется мелочь, которая будет резать мне глаз и ухо, непременно пропадет какой-нибудь милый авторскому сердцу оттенок, нюанс и — не побоюсь этого слова — обертон. Легко ли, скажите, вместо пленительных истинно бaиянских обозначений «xibiu», «xoxota» довольствоваться пресным «лоном» или псевдомедицинским «влагалищем»?! Каково приходится автору, когда могучая и прекрасная «bunda» заменяется тощей и благопристойной «задницей»?!

То ли дело китайские иероглифы! Недаром так ценится в этой стране искусство каллиграфии! И красиво, и совершенно непонятно. А как увлекательно читать себя по-арабски! Презрев то обстоятельство, что за всю жизнь не выплатили мне ни единой драхмы, ни единого динара вознаграждения, я всего месяц назад приобрел в Танжере пять своих романов в переводе на арабский, пять ливанских пиратских изданий.

Душа радуется и при виде древнееврейских литер, загадочных грузинских письмен и армянской вязи. А до чего же тешит меня кириллица!

Хорош также и латинский алфавит, если буквы его складываются во вьетнамские, норвежские, турецкие, исландские слова. Далеко не все уважают авторское право, но все даруют радость. На каких только языках не выходили мои книги — на корейском и туркменском, тайском и македонском, на фарси, урду и монгольском... Однажды прислали из Парагвая «Историю сеньориты Ласточки» на языке индейцев гуарани. Меня очаровало звучание этих слов: «Карай Мбаракайа». А? Каково?

Смех смехом, но, унимая тщеславие, готов признать, что на гуарани я — лучше, чем на португальском.

## Пекин, 1987

Фан Вейши, переводчик с португальского, познакомивший читающую китайскую публику с нашей литературой, дарит мне скромно, но изящно изданный том «Доны Флор». Фан очень доволен тем, как приняли китайцы похождения баиянки и двух ее мужей.

Я листаю книгу, вглядываюсь в загадочные иероглифы, вспоминаю любовные сцены, постельные забавы Гуляки и доны Флор — «жгучий перец и чайная роза» — спрашиваю у Фана с легким недоверием:

— Как же ты перевел вольные речи и соленые словечки моих героев?

Губы переводчика дрогнули в плутоватой, совсем баиянской улыбке:

— Буквально, — отвечает.

А в конце того же года мы принимаем у себя в Рио-Вермельо наших китайских друзей — молодых супругов. Его зовут Хо Пинь, он сын Эми Сяо и Евы. Ева — по национальности немка, по профессии фотограф. Эми Сяо — один из самых знаменитых в стране поэтов, близкий друг Маяковского, депутат, автор жизнеописания Мао Цзедуна, в течение нескольких лет он представлял Китай во Всемирном Совете Мира. Секретариат этой организации находился тогда в Праге. Хо Пинь, которого в те времена звали «Пупсик», там же и родился, на несколько месяцев опередив Палому. Мы в шутку мечтали, что наши дети вырастут и поженятся. Потом Эми Сяо и Ева вернулись на родину, где уже вовсю свирепствовала «культурная революция», будь она проклята. Супруги с ходу загремели в тюрьму — на шестнадцать лет. Эми вышел на свободу совсем больным и протянул после освобождения недолго.

Жену зовут Дин Ли, и она приходится дочерью Лю Шаоци, который был и председателем Китайской Народной Республики, и генеральным секретарем китайской компартии, что не спасло его от смерти — сначала политической, когда он был снят со всех постов и объявлен ренегатом, а потом и самой обыкновенной: «банда четырех», верховодившая в те годы в Китае, убила его, объявив, что он погиб в авиакатастрофе.

Юная чета подолгу гуляет по улицам Баии — супругов восхищают и архитектура, и кулинария, и рынки, и мои жизнерадостные и сердечные земляки. Отдыхая в саду нашего дома, Дин Ли читает «Дону Флор» по-китайски и по-английски. Я спрашиваю, как ей нравятся переводы.

— Оба хороши, оба мне нравятся, — отвечает она, немного подумав. — В английской версии ваш роман стал более игривым и пикантным, в китайской — более романтичным и возвышенным. Ну, чтобы вам стала ясна разница, приведу пример: в китайском переводе Гуляку зовет вернуться сердце доны Флор, в английском — то, что у нее э-э... под трусиками.

— А как по-китайски называется то, что у нее под трусиками?

Дин Ли улыбается не без смущения и произносит какое-то слово, которое мне кажется похожим на прелестную птичью трель. Жаль, не могу воспроизвести — забыл, как оно звучит.

## Баия, 1988

Огромная керамическая жаба мокнет в забросе и одиночестве под дождем в саду, перед домом художника Карибе. Хозяев нет, но что же — я напрасно прокатился? С помощью верного шофера Аурелио тащу жабу в машину и тут замечаю, что на спине у большой сидит хорошенькая маленькая жабочка.

И керамическая тварь, водруженная на подоконник в столовой под витражами работы все того же Карибе и атрибутами богов-ориша Ошосси и Огуна[[4]](#footnote-4), возглавляет ныне братство жаб всех видов и размеров, сидящих повсюду — в саду и у бассейна, и на веранде, на шкафах и книжных полках. Жаба — это мой зверь[[5]](#footnote-5), потому и заполняют мой дом и сад бесчисленные ее варианты, сделанные из глины и папье-маше, из чугуна и пластмассы, привезенные со всех четырех концов света — из Мексики, Таиланда, Англии, Перу, Камбоджи и Португалии, Китая и мало ли еще откуда. А Карибе до сих пор не хватился пропажи — Бог даст, так и не заметит.

Когда мы переехали в Баию, обосновались в доме на Рио-Вермельо, в нашем саду поселилась жаба-каруру — огромная, почти такого же размера, как та, которую я украл у Карибе, только живая, а не глиняная, и в ненастные дни и ночи приходила прятаться от дождя на веранду, пела там свою жизнеутверждающую песнь.

Карибе мучительно завидовал нам, счастливым ее обладателям, все лицо у него перекашивалось от зависти, когда Зелия гладила жабу по спинке, почесывала ее, а та раздувалась от удовольствия. Мы записали ее громкое и мелодичное кваканье на маленький диктофончик и однажды, в дождливый день отправляясь к Карибе в гости, принесли его с собой. Сидели у него в мастерской, толковали о разных разностях, слегка выпивали, и Зелия, улучив момент, включила диктофон, лежавший в ее полуоткрытой сумочке. Раздалась песнь, глаза Карибе зажглись:

— Слышите? Слышите? У меня в саду тоже поселилась каруру!

И он скатился по ступенькам вниз, под дождь. Наверно, и по сей день ищет свою жабу.

## Рио—Париж, 1991

Впервые в жизни использовав свое право номинатора, я предложил выдвинуть на соискание Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» — уф! — нашего композитора и писателя Шико Буарке де Оланду.

Я написал ему в Париж об этой своей инициативе. Но кто теперь председатель комитета по присуждению премии? Когда-то в стародавние времена должность эту отправлял по традиции президент Академии наук СССР, заместителями его были китайский ученый Го Можо и французский поэт Луи Арагон. В число членов входили Анна Зегерс, Илья Эренбург, Пабло Неруда, Александр Фадеев. Последний был первым и самым главным, самодержцем и громовержцем. Никого уже нет в живых.

По возвращении в Париж я обнаружил на автоответчике недоуменный «мессидж» Шико: как будет называться Ленинская премия в декабре, в момент присуждения? Петроградская? Санкт-Петербургская?

Чуть ли не в тот же вечер я увидел по ТВ, как в Вильнюсе сбрасывают с пьедестала памятник вождю мирового пролетариата. А в Москве на шею статуи уже набросили трос с петлей... Но бульдозер не пришел вовремя, а вручную такого исполина повалить невозможно — никакого остервенения не хватит. Ленинград снова стал градом святого Петра, так что, думаю, никакой премии вообще не будет... Существовала в Советском Союзе еще одна почетнейшая награда — Сталинская премия, которой удостоился когда-то и автор этих строк... Боже, когда это было?! Не в прошлом ли веке? Я слишком поздно спохватился — локомотив истории мчит со скоростью света... Чувствую, что петля захлестнула и мое горло, многотонная махина безжалостно пригибает к земле.

— Знаешь, Зелия, — говорю я. — Не получит наш Шико премию. Накрылась премия. Не скажу чем именно.

## Рио-де-Жанейро, 1947

Не устаю повторять, что память у меня дырявая, особенно — на даты. Как их упомнишь? Каждый эпизод, о котором пишу, непременно вызывает вопрос, обращенный к моим домашним, — вы помните это? Они помнят, они все помнят, но каждому из них запомнилось по-своему. А год и день никто точно назвать не может, и чем уверенней они отвечают — тогда-то и тогда-то, — тем непреложней знаю я, что они ошиблись.

Но куда им и мне до Николаса Гильена — в своих мемуарах он путает все на свете: забывает место и время, факты и подробности. Пишет, к примеру, что мы с ним познакомились в Париже в 1949 году, тогда как первая наша встреча произошла на два года раньше и в Рио. Забыл он свое выступление в Ассоциации бразильской прессы и как я представлял его публике — а было это ровно в тот день и точно в тот час, когда на свет появился мой первенец Жоан Жоржи. Именно кубинский поэт был первым человеком, навестившим счастливую мать и новорожденного. Чуть только дочитал он «Моя родина кажется сахарной...», едва отзвучали рукоплескания слушателей, как мы схватили такси и помчались в клинику.

Николас бывал в Бразилии несколько раз — и до и после революции Фиделя, — и пребывание его неизменно было запоминающимся: он необыкновенно умеет располагать к себе людей. Поэзия его покоряла слушателей, а сам улыбчивый мулат с ухоженными бакенбардами — слушательниц. Мария-Нимфоманка рекомендовала его подругам: этот кубинец — сущий зверь, не упустите, девушки, свой шанс. Реклама, как известно, двигатель торговли, и восторженная аудитория становилась от выступления к выступлению все более многочисленной. Николаса повсюду сопровождала теперь свита поклонниц. Будучи человеком по природе тщеславным, он каждую, даже самую мимолетную, интрижку считал роковой страстью.

— Мария-Блондинка совсем потеряла из-за меня голову, кум. Отчаянно влюбилась! — говорил он мне с законной гордостью, полагая, что иначе и быть бы не могло, но все же мучаясь сомнением. — Как ты считаешь — это она меня любит, меня, мужчину, человека, Николаса, или же поэта Гильена и его славу? Как, по-твоему? — Сомнение терзало его, и он требовал, чтобы я открыл ему правду.

Всюду — в Рио, в Праге, в Париже, в Гаване, — всюду, где я видел его с дамами одна другой белокурее (он явно отдавал предпочтение этому типу, сделав, однако, исключение для жены Росы, мулатки с Антильских островов, если не единственной, то главной своей любви), отвечал ему одно и то же:

— Они влюбляются в тебя и в твои стихи, в мужчину и в поэта разом, в явление под названием Николас Гильен.

Он улыбается в знак согласия, самодовольно ерошит бакенбарды — видно, что и сам разделяет это мнение. Но тотчас новое сомнение закрадывается в его простую душу:

— Ну а если бы не было моих стихов, как, по-твоему, любили бы они меня? Как полагаешь? Вот если бы я не был поэтом — любили бы? А?

## Баия, 1964

Рано-рано утром я просыпаюсь от известия не столько неожиданного, сколько дурного: в стране военный переворот, «гориллы» объявили правительство президента Жоана Гуларта низложенным. Только накануне, в разговоре с друзьями я предсказывал, что это случится, но ошибся в сроках — думал, недели через две-три.

Телефон звонит непрерывно, мы узнаем о повальных арестах, о переполненных тюрьмах и ждем, что придут и за нами — мы к этому готовы. Но приходит Вильсон Линс, писатель, политик, апологет и идеолог военной диктатуры. Услышав о его приходе, Зелия вскидывается, она готова к отпору, но я охлаждаю ее пыл: Вильсон — наш друг. И мог бы добавить — друг верный и преданный, он ни разу не подвел меня, и в самые трудные, самые тяжкие моменты всегда оказывался рядом.

Мы сидим и как ни в чем не бывало беседуем о литературе и о прочих, неактуальных в данных обстоятельствах предметах. Прощаясь, Вильсон говорит: в случае чего — немедленно звоните, если меня не будет дома, Анита скажет, где меня найти.

А во второй половине дня мы с португальцем Антонио Селестино[[6]](#footnote-6) отправляемся в галерею Рено, на выставку живописных работ Энрике Освальда, чья волшебная кисть окутывает таинственной дымкой наши баиянские церкви. Селестино покупает холст. Я покупаю холст. Не безумие ли — тратить деньги невесть на что в такое смутное и тревожное время?! Да нет, не безумие — я не допущу, чтобы какие-то солдафоны влияли на мою жизнь, заставили меня изменить моим вкусам и привычкам. И не подумаю даже! Не дождетесь! На стенку в спальне повешу я полотно Энрике Освальда.

## Вроцлав, 1948

Уж не знаю, на какие ухищрения пустилась Мария-Баиянка, чтобы попасть в число иностранных корреспондентов, слетевшихся в этот польский город для «освещения» Конгресса деятелей культуры в защиту мира. Я знавал эту подвижную как ртуть, гибкую и стройную мулатку, особу весьма известную и на юридическом факультете, где она получала образование, и среди активистов компартии. В соответствии с пуританскими воззрениями Марии-Пирамидон, одной из партийных руководительниц, она была недостойна называться активисткой. Это мнение не разделял другой наш вождь, Марио Шенберг, отличавшийся большей широтой взглядов, и на мой вопрос, за какие достоинства включили Баиянку в состав делегации, ответил просто — и благодушно:

— Талия у нее дивная — двумя пальцами обхватить можно.

Но ни ко мне — а я был одним из вице-председателей Конгресса, — ни к прочим членам бразильской делегации, куда входили, помимо вышеупомянутого Шенберга, скрипачка Мариучча Йаковино, скульптор Васко Прадо, художник Карлос Скляр, писательница Зора Селджан, пианистка Ана-Стела Шик, композитор Клаудио Санторо — Мария-Баиянка не проявляла ни малейшего интереса. Где уж нам, провинциалам и соотечественникам, тягаться со звездами первой величины, с грандами литературы, искусства, политики?! Она тотчас потребовала, чтобы я представил ее Пикассо и Эренбургу: „В конце концов, я спецкор «Моменто», органа баиянской компартии». «Когда это ты успела?» — только и спросил я.

Там же, в зале, где проходил Конгресс, дал ей короткое интервью Пабло Пикассо, заявив, что приехал во Вроцлав прежде всего для того, чтобы с трибуны потребовать от чилийского диктатора Виделы прекратить травлю поэта Пабло Неруды, исключенного из числа сенаторов, лишенного неприкосновенности и преследуемого полицией. Можно только догадываться, где и когда раздобыла Мария молодого индуса-фотографа, какими методами действовала, чтобы он сделал исторический снимок, напечатанный в баиянской газетке, — величайший художник современности, а рядом под ручку с гением — она, наша репортерша.

Эренбург, хоть и был занят выше головы и сверх меры, согласился побеседовать с ней и, по ее просьбе, проанализировать в этой пространной беседе все значение вроцлавского Конгресса, проблемы мира и ответственности деятелей культуры:

— Завтра в семь утра жду вас в... — и назвал ей свой отель и номер.

На следующий день Мария представляет мне отчет об этом интервью:

— Ну я постучала. Когда отозвались, вошла и увидела Эренбурга в постели в чем мать родила. Он сказал: «Раздевайся поживей. У меня только полчаса. В восемь я должен завтракать с Федосеевым. (А Федосеев был в то время главным редактором „Правды«, членом ЦК КПСС и одним из организаторов нашего Конгресса.) — Он улыбнулся и подвинулся, давая мне место...

— А ты что?

Мария-Баиянка, родившаяся в Палмейра-дос-Индиос, с ангельской улыбкой потупила глазки:

— А что я? Повиновалась, — она вскинула голову, поправила черную гладкую прядь. — Слово советского товарища — закон... А потом говорит: насчет Конгресса спроси у Жоржи, а в газету дашь от моего имени... Так что давай — она вытащила блокнот и ручку.

Эренбургу, лишь недавно выбравшемуся из ада Второй мировой войны, много испытавшему и пережившему на своем веку, уже за пятьдесят, а по виду — и еще больше, мы между собой зовем его «старик». Я бы еще понял, если бы Мария переспала с Энрике Аморимом[[7]](#footnote-7), истым «латинским любовником», но с Ильей... Зачем ей это?

Зачем тебе это, Мария-Баиянка? А?

На губах ее вновь появляется застенчивая улыбка, и с невинно-мечтательным выражением она отвечает:

— Пригодится для мемуаров.

Однако она не успела написать их — два года спустя, по возвращении в Бразилию, погибла в автокатастрофе. Но интервью с Эренбургом, «взятое во Вроцлаве нашей специальной корреспонденткой», имело шумный резонанс и вызвало оживленную полемику.

## Будапешт, 1951

Политические процессы, воскрешающие эпоху 30-х годов, захлестывают одну страну «народной демократии» за другой. Здесь, в Венгрии, в самом разгаре — суд над Ласло Райком. Разрыв Тито со Сталиным будто ознаменовал собой начало нового этапа «большой чистки», и коммунистическая инквизиция рьяно взялась за дело. А я безоговорочно верю во все истории о заговорах и предательствах и вижу в каждом из подсудимых заклятого врага революции, рабочего класса и светлого будущего всего человечества.

Мы сидим в баре: многим лестно и интересно познакомиться и выпить с «бразильским товарищем», два романа которого только что вышли в переводе на венгерский и тепло, что называется, встречены читателем. «Жубиабу» и «Бескрайние земли» перевел венгерский коммунист, долгие годы проживший в Сан-Пауло и лишь после крушения нацизма вернувшийся на родину: он сидит рядом и помогает, когда в пылу спора собеседники переходят с доступного мне французского на свой загадочный мадьярский.

Как всегда бывает на таких посиделках, спустя какое-то время интерес к заморскому гостю гаснет, темы общей беседы исчерпываются, и хозяева принимаются с жаром обсуждать свои домашние дела, гость же из участника разговора превращается в бессловесного слушателя. Так произошло и на этот раз: суд над Ласло Райком заставил забыть нас о литературных пристрастиях, о нищете в странах «третьего мира» и о врожденной сексуальности женщин, эти страны населяющих.

Я слушаю молодого поэта, возбужденно рассказывающего о том, что признания у одного из подсудимых — как потом выяснилось, у всех — были получены под пытками. Что он несет? Не ослышался ли я? Может, я неправильно понял? Может, я вообще разучился понимать французский? «...Под пытками, которые применяют в политической полиции»; моя честь, моя гордость зиждутся на том, что при нашем режиме, в социалистическом обществе никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не может быть подвергнут никакому виду морального или физического давления, не говоря уж о пытках. Мое изумление вызывает общий смех, собеседники учтиво осведомляются, не с Луны ли я свалился, все ли у меня в порядке с головой и где водятся идиоты, которые не знают, что пытки применяются, и очень широко. О святая простота!

В оцепенении я слушаю поток венгерской речи, а потом — в безупречном переводе — бесчисленные истории, леденящие кровь подробности: они рвут мне сердце в клочья, они уничтожают мою гордость... Я обесчещен! «Он еще спрашивает: неужели пытают? Еще как! Нынешний режим оберегают такие же, а может, и те же самые люди, которые служили в тайной полиции при нацистах. Ремесло охранника и палача — вне и превыше любых идеологий».

...Всю ночь бросало меня то в жар, то в холод: трепыхалось сердце, в животе что-то бурлило и клокотало, было тошно, душно, муторно. Мерещилось, что это меня охаживают сапогами и дубинками, требуют сознаться в том, чего я не совершал, повиниться неизвестно в чем... С этой ночи и начался мой исход из пустыни.

## Сан-Пауло, 1981

Появление Партии трудящихся, да еще в ту пору, когда правил нами военный режим, я воспринял с надеждой и радостью. ПТ возникла из профсоюзов, родилась на свет после забастовок металлургов. Наконец-то, думал я, будет у нас настоящая, сплоченная партия, направляемая и руководимая самими рабочими. Кончилось время липовых партий — коммунистических, троцкистских, трабальистских[[8]](#footnote-8), где тон задают интеллигенты, как правило, — с умеренными дарованиями, но непомерными амбициями, чванные и спесивые мещане, свысока взирающие на пролетариев, отдающие им приказы на некоем латиноамериканском воляпюке, рвущиеся к власти ради самой власти, раздувающие пожар ради того, чтобы погреть руки. Они рядятся в тогу революционных вождей, они читают, не особенно понимая смысл прочитанного, брошюры, переведенные с русского или китайского, считают себя крупными теоретиками, через каждое слово поминают Маркса, потеют Лениным, икают Сталиным (или Троцким, или Мао) и были бы потешны, не будь так опасны, ибо, дорвавшись до власти, абсолютизируют ее и тут уж держись — они способны на любую глупость, на любое зверство, что более чем убедительно доказал усатый генералиссимус, по сей день остающийся их идолом и кумиром.

Мне приходилось иметь дело со многими из них — на разных ступеньках партийной иерархии стояли они. Попадались среди них и недурные люди, но не тронутых порчей и деформацией не было ни одного. Как-то вдруг, разом теряли они человеческий облик, превращаясь в кукол, вместо опилок набитых полусгнившей идеологической трухой — марксизмом, ленинизмом, маоизмом, воспринятыми, как правило, «с голоса», ибо привычки к чтению у них не выработалось. Что ж, как раз за это я их не виню, они в своем праве — Маркс, перелопаченный и приспособленный для нужд развитого социализма, Маркс в лошадиных дозах может в лучшем случае вызвать несварение.

Но ведь недаром говорится — горбатого могила исправит, а козел линяет, да все равно воняет. И я, узнав, что образовалась Партия трудящихся, возликовал, стал бить в ладоши, поместил в газетах несколько хвалебных статей. Упоение мое было недолгим, а похмелье — горьким: ПТ очень скоро повернулась лицом к мелким радикальным группкам, где верховодили все те же псевдоинтеллектуалы из компартий, где командовали вышедшие в тираж сталинисты и маоисты, утерявшие всякое подобие политической перспективы, ни во что уже не верившие и лишь примазывающиеся к чужой удаче. К ним прибавились отчаянные «красные падре», твердокаменные адепты «теологии освобождения» — и стала ПТ такой же, как любая рабочая партия, как все бразильские партии. Пауки в банке.

По сути дела, у нас в Бразилии вместо политических партий в собственном смысле слова существуют некие фронты, где уживаются любые идеологии, где в постоянном мельтешении сугубо личных интересов мирно сосуществуют правые и левые. Нет партий — есть лишь наклеечки: демократическая, трудовая, социал-демократическая, либеральная, социалистическая, причем эти обозначения никак не соотносятся с выбором позиции, с борьбой против правительства или в поддержку его... И еще хотят ввести у нас парламентаризм... Меня от этого бросает в дрожь. Парламент без политических партий, парламент по-бразильски — изысканнейшее блюдо нашей национальной кухни. Жаль, несъедобное.

## Лиссабон, 1989

Всякий раз, когда мы обедаем в ресторанчике Мими, в лиссабонском Парке-Майор — а без этого ресторана и парк не парк, — Антонио Алсада Баптиста знакомит меня с очередной «самой-самой» — самой красивой лиссабонской адвокатессой, самой красивой редакторшей, самой красивой балериной и прочая, и прочая. Ну, насчет того, что уж самая-самая, можно и поспорить, это тактика опытного соблазнителя, знающего, как падки женщины на лесть: все, конечно, красивы, одни больше, другие меньше, все изящны и милы и, главное, все страстно влюблены. А он пасет паству свою с лукаво-постной миной — этакий «отшельник в отгуле».

Антонио, известнейший публицист и эссеист, вокруг статей которого всегда много споров, несколько лет назад ударился в беллетристику и дебютировал романом «Узел и узы», вызвавшим живой интерес критики, увенчанным премиями и сразу ставшим бестселлером. Мне он понравился, хотя кое-где и чувствуется умозрительный подход публициста. Зато следующее его произведение — маленький роман «Катарина, или Вкус яблок» — радостно удивило меня именно мастерством выдумщика и рассказчика, свободно ведущего повествование. Сейчас повестью принято называть короткий роман или длинный рассказ, но я с этим не могу согласиться, и новшества эти мне не по вкусу: литературный жанр определяется не числом страниц. Я читал «Катарину» и не мог оторваться, очарованный сочной прозой, живыми — из мяса и костей, а не из чернил сотворенными — персонажами и такой узнаваемой лиссабонской действительностью. Ныне Антонио Алсада всецело предался наслаждению писательства и стяжал громкий и заслуженный успех.

Следующее его произведение — романчик «Тетя Сузана, любовь моя» — описывает от лица юного рассказчика и, по всей видимости, альтерэго автора, сложный мир его чувств и мыслей — а касаются они и религии, и постели — и перипетии его отношений с тетушкой, дамой бальзаковских лет. И лежа в постели, они почесывают друг другу спинку, обмениваются нежными поцелуйчиками, покусывают друг друга за ушко, гладят сверху донизу, ничего не пропуская, и... и больше ничего, хотите верьте, хотите — нет. В таких вот невинных и целомудренных ласках проводят свой досуг племянник с тетушкой, а она хоть и старше его, но все равно очень молода, и ночная сорочка едва скрывает юное ее совершенство, и так вот они в холодные ночи согреваются теплом друг друга, а в жаркие дни находят прохладу. Ясное дело, что от этой тетушки, наполовину монашенки, наполовину дьяволицы, перенял Антонио этот свой вид «отшельника в отгуле».

— И ты хочешь меня уверить, Антонио, что вы с ней так ни разу и не пошли дальше?

— Во-первых, что это за «вы с ней»? Это же не я, а мой герой и его тетушка по имени Сузана. Но если бы даже это были я и моя родная тетка, могу тебе поклясться, что такими вот щекотаниями дело бы и кончилось.

— Щекотания, поцелуи, прикосновения, поглаживания и прочий легкий, платонический блуд? И все?

— И все. Свет не видывал человека чище и невинней, чем тетя Сузана.

Он произносит все это с очень серьезным видом, как отшельник, который вернулся в свою келью, не запятнав себя грехом. Хотите верьте, хотите — нет, я человек нездешний, местных обычаев не знаю, судить не берусь. Одно скажу: у нас в Баии тетушка бы так легко не отделалась.

## Рио-де-Жанейро, 1953

...И когда все уже было в полном порядке с визами, с билетами, с паспортами, и на следующий день, в воскресенье, группа бразильских «деятелей культуры» должна была отправляться в Советский Союз, один из тех, кто удостоился этой чести, неожиданно заболел. Открылась вакансия.

Немало времени потратили Маурисио Грабоис, член политбюро нашей партии — впрочем, в ту пору этот орган назывался исполнительный комитет, — и ваш покорный слуга, ведавший в нем культурой, пристально изучая каждое имя в списке, сравнивая и взвешивая, чтобы выбрать и отправить на родину социализма лучших из лучших, самых достойных такой беспримерной чести и высочайшей награды. Помню кое-кого из отобранных — Жамеса Амаду, например, и Диаса Гомеса[[9]](#footnote-9), Клаудио Санторо[[10]](#footnote-10) и прочих, — каждый из них сочетал талант с беззаветной преданностью делу партии и безусловной верой в Советский Союз.

Не лишним будет напомнить, что времена стояли жуткие, сталинизм совсем сорвался с цепи — процессы, приговоры, казни, лагеря, антисемитизм, который, хоть и был слегка закамуфлирован, не становился от этого менее чудовищным. Трудно приходилось и рядовым активистам вроде меня, и особенно — высоким руководителям, каким был Маурисио Грабоис, с которым меня связывали долгие годы дружбы, начавшейся еще в юности, в Баии. Человек он был умный, образованный и симпатичный, приятный в обращении, совсем лишенный спеси и самодурства, обычных для партийных бонз, постоянно всех подозревавших, никому не доверявших, во всем искавших подвох. Он и умер коммунистом — командовал отрядом герильерос и погиб в стычке с правительственными войсками в штате Пара.

Как я уже говорил, была суббота, делегация отправлялась в воскресенье, и решать, кого включить в ее состав, я должен был один — Грабоис жил на нелегальном положении, встречи с ним всегда надо было оговаривать заранее. Мне сразу пришло в голову имя молодого, но уже известного в ту пору художника Карлоса Скляра, воевавшего в артиллерии в составе Бразильского экспедиционного корпуса[[11]](#footnote-11) и дослужившегося до капрала. Он бывал за границей и имел паспорт. Я сейчас же позвонил ему в Порто-Алегре и сказал: слушай, Карлитос, если у тебя паспорт в порядке и если завтра к вечеру сумеешь оказаться в Рио с выездной визой, то ночью отправишься в Москву, столицу всего прогрессивного человечества. «Ладно, — пообещал мне Скляр, — я буду к сроку». И в самом деле — прибыл и отбыл.

На очередном подпольном собрании, проходившем глубокой ночью где-то на окраине Рио, я встретил Грабоиса — он был в полном бешенстве, кипел от негодования и возмущения и не скрывал этого.

— Что это за дурацкая мысль — включать Скляра в состав делегации?! Я уже сказал руководству, что не имею к этому никакого отношения — ответственность целиком на тебе. Какого черта?..

— Скляр — один из виднейших художников-коммунистов, стойкий товарищ, активист. Что ты имеешь против него?

— Он еврей... — проговорил Маурисио мрачно и в то же время нерешительно.

— Ты тоже, — ответил я.

— Вот именно поэтому, — и в дрогнувшем голосе члена политбюро БКП прозвучал такой страх, что мне стало его жалко.

А боялся он, что его отстранят от дела, которому был предан, что исключат из партии, выгонят из боевой траншеи. Тогда и я испытал страх — панический страх: все, что угодно, только бы не оказаться вне строя, когда все пойдут в бой, только бы не обвинили, что сыграл на руку врагу.

Из всего нажитого мною добра особо ценю я — независимо от истинной их ценности — те немногие вещи, которые получил в подарок от друзей, не склонных, по общему мнению, к излишней щедрости, а, напротив, — пользующихся репутацией людей скуповатых. Так вот, все они, все без исключения, пали жертвой этой молвы, несправедливой и предвзятой.

Есть у меня, к примеру, коробка прямоугольной формы и изрядных размеров, я вожу ее с собой повсюду и храню в ней свои документы, корешки чеков, важнейшие бумаги, фотографии детей и карточки Зелии — одну недавнюю, другая сделана в 1945 году, когда мы познакомились. Коробку эту преподнес мне в подарок Доривал Каймми[[12]](#footnote-12), брат мой и едва ли не близнец. Карибе до сих пор не верит в подобную щедрость.

Рассказываю, как было дело. Доривал появился у меня однажды с коробкой под мышкой, и до того она мне понравилась, до того пришлась по вкусу, что я вначале стал ее расхваливать, а потом попросил в знак дружбы и уважения подарить. Он отвечал, что эту — никак невозможно, ибо коробка предназначена в подарок жене на день рождения. Но как только вернется в Рио, сейчас же вышлет мне точно такую же. Я не поверил в это обещание, да и кто бы поверил? Но, по словам поэта, «и невозможное возможно» — несколько дней спустя получил я из Рио коробку. В свидетели чуда я позвал Карибе и Мирабо.

Этот сеньор Доривал Каймми, мой подельник и сообщник — если бы он занялся литературой, то написал бы мои романы, если бы я знал нотную грамоту, то сочинил бы всю его музыку, — признался, что этой коробкой хотел компенсировать мне те многочисленные трости, палки и посохи, которые он у меня украл, будто мало было тех, что я специально привозил ему из разных стран: как-то раз я проколесил по всей Европе и пересек Атлантику, не выпуская из руки огромный пастуший посох, добытый мною в Уэльсе, — длинный, тяжелый, суковатый. Много чего еще похитил у меня певец баиянских красот, но никогда не прощу ему радиоприемник, вывезенный из Москвы и подаренный мною дочери Паломе, в ту пору еще не вышедшей замуж. Доривал попросил одолжить его, он, дескать, хочет послушать репортажи с чемпионата мира по футболу — как раз начинались игры 1970 года — и, разумеется, заиграл. И никогда больше не увидела Палома своего маленького транзистора.

Он коллекционирует приемники, посохи, полудрагоценные камни и otras cositas mas[[13]](#footnote-13). Собираясь в гости к друзьям, он вешает на плечо вместительную сумку, размерами едва ли уступающую дорожному баулу, чтобы было куда прятать добычу. А как войдет в дом, так сразу и спросит, нет ли для него чего-нибудь интересненького, и оно, как правило, находится. Кто ж устоит перед такой умильной просьбой?! Там интересненькое, тут интересненькое, и, воротясь к семейному очагу, в объятия Стелы Марис, он вываливает на стол кучу трофеев, а потом любовно разбирает их, сортирует и раскладывает. Таков Доривал Каймми, мой кровный брат, композитор и поэт, доктор honoris causa, жрец на африканском радении-кандомбле, один из самых главных бразильцев.

А я собрал в своем доме в Рио-Вермельо хаотическую коллекцию произведений народного искусства — заслуживает внимания хотя бы количество их и затейливо вьющиеся тропки, по которым они ко мне пришли. Но есть предметы ценные и сами по себе — например, подаренное мне Эренбургом письмо эскимосского рыбака, вырезанное на моржовом клыке, или преподнесенный Сашей Фадеевым бокал цветного хрусталя с гербом Николая I, самодержца всероссийского, или бык — самый большой бык из всех, кого из глины лепили и в печи обжигали волшебные руки мастера Виталино из Каруарґу.

Этого быка-зебу подарил мне — можете не верить! — писатель Жоан Конде, и я утверждаю, что он при этом был трезв, не в жару и не в бреду, а напротив, отлично себя чувствовал. Просто такой вот напал на него шалый стих, когда так и подмывает взять да и выкинуть деньги в окошко. Минуло уже полвека со времени этого безрассудного деяния, и все эти пятьдесят лет Жоан умоляет меня вернуть керамического быка и твердит, что творению Виталино цены нет, и смотрит при этом на меня глазами, полными слез — настоящих слез.

Но, по совести говоря, сеньор Жоан Конде обязан был бы отдать мне не одного этого быка, а всю свою огромную коллекцию народных промыслов из штата Пернамбуко и в придачу кое-какие деревянные статуи святых — у него их навалом, и ни одна не стоила ему ни гроша — да еще несколько полотен художника Сисеро Диаса, и все равно остался бы передо мной в неоплатном долгу. И дело не в том, что я отдал в его архив рукописи своих романов и обширную свою переписку, и заметки, и наброски, и документы, и прочие неисчислимые сокровища. Нет, не в этом дело — он охмурял девиц, выдавая себя за меня, мы в то время, как говорят, были похожи. Он влюблялся в них и от моего имени давал им автографы...

— Автографы?

— Да, автографы, и в больших количествах.

— Что ж, ты им книги надписывал?

— Подсунут экземплярчик — надпишу, а нет — так просто, на бумажке автограф поставлю. Не буду же я тратить деньги на твои романы, ты ж не Зе Линс...[[14]](#footnote-14)

И вот в ту пору, когда мне пришлось скрываться от властей в Аргентине, я узнал, что по Рио рыщет с револьвером некий гаучо, отыскивает меня, чтобы хладнокровно застрелить, мстя за то, что я с помощью его жены, приехавшей полюбоваться Копакабаной, украсил его рогами. Как вы понимаете, шашни с нею завел не я, а Жоан Конде, но попробуйте втолковать это ревнивцу.

По счастью, гаучо оказался домашнего розлива — полубразилец, полуаргентинец, так что можно было особенно не волноваться. Не дай Бог, если бы рогоносец был парагвайцем — лежал бы тогда Жоан Конде в сырой земле, придавленный надгробной плитой, а на ней вырезаны были бы пуля и мое имя, которое самозванец использовал без спросу.

## Рио-де-Жанейро, 1931

Родители моего приятеля Гарольда Агинаги пригласили меня в театр на премьеру оперы композитора Карлоса Гомеса, которую поставила итальянская труппа. Это приглашение — ответная любезность: я послал им свою только что вышедшую «Страну карнавала» с витиевато учтивой дарственной надписью. Отец Гарольда, знаменитый врач, светило науки, был польщен и тронут, ибо до сих пор считал, что все дружки его беспутного сына — такие же ветрогоны и шалопаи, как и он.

В ложе нас пятеро: чета Агинаги, их приятельница — дама из самого что ни на есть высшего общества, Гарольд и я. Родители сидят впереди, мы с дамой посередине, Гарольд устроился у самых дверей.

Ну что вам сказать о даме? Ей за сорок, но она в превосходной форме, и формы ее превосходны, и только позавидовать можно вице-адмиралу нашего доблестного военно-морского флота, на законных основаниях обладающему этим идеалом женщины — идеалом, увы, для меня недостижимым. Ее окутывает аромат тонких и пряных французских духов, для которого и придумали люди эпитет «пьянящий», и, вдыхая его, я чувствую, как шалею и дурею и как голова моя идет кругом... Если бы не это соседство, нипочем бы мне не высидеть длиннейшую оперу. Гарольд выходит в фойе покурить.

В эту минуту пальцы дамы ложатся мне на колено, медленно скользят по бедру, поднимаются, нащупывают нечто и принимаются за дело — нежно, настойчиво и методично теребят, поглаживают, сжимают, перебирают и прочая, и прочая. Шок мой уже прошел, я едва сдерживаю стон наслаждения, адмиральша же, покусывая губы, искоса поглядывая на меня, продолжает свои ласки, пока наконец не происходит неизбежное. Вернувшийся в ложу Гарольд, стоя в полутьме за нашими спинами, забавляется от души.

По окончании спектакля, усадив адмиральшу в машину, он дает мне дельный и добрый совет:

— Не теряйся. Вот такая баба! И без ума от тебя. Все будет в лучшем виде да еще получишь шелковую пижаму в подарок.

И, за неимением лучшего, мы с ним пока что отправились проведать девчонок с Копакабаны.

Уже неделю спустя Мария-Адмиральша предстала передо мной в номере отеля «Леблон» в натуральном виде и ослепила великолепно сохранившимся, благодаря притираниям, кремам и бальзамам, молодым и статным телом, поразила неведомым мне до той поры запахом самки — ухоженной и выхоленной самки. Пышные груди, гладкий живот, которому едва заметный шрам от аппендицита придавал какую-то особую, пикантную прелесть, золотистая поросль, показавшаяся мне похожей не то на диковинный цветок, не то на редкостное драгоценное украшение... Закинув руки за голову, она распростерлась на кровати, потом потянулась за сигаретой, но прежде чем успела закурить, я ринулся на нее — прямо фавн какой или, скажем, сатир, — намереваясь взять ее, как до сих пор еще не брали. В намерении своем я преуспел, выполнив его в два счета — буквально: раз-два, — еще бы! я мечтал об Адмиральше с того вечера в опере, и было мне девятнадцать лет. Потом триумфально отвалился, ожидая восторгов, похвал и благодарности за проявленные стойкость и мужество. Повторяю, мне было девятнадцать лет...

Но она стала хохотать, поглядывая то на лицо мое, то на орудие, находившееся еще на полувзводе, и чем дольше глядела, тем безудержней заливалась смехом, который французы окрестили словом «fou rire», — я считаю, употребить его здесь будет очень уместно: мадам сама все время щебетала по-французски, а я слушал ее смех и чувствовал себя смешным и жалким. И захотелось мне сейчас же уйти.

Наконец ей с трудом удалось остановиться. Она взяла меня за руку, притянула к себе, провела пальчиками по моей волосатой груди, прикоснулась к соскам.

— Дурачок, — сказала она. — Ты зачем сюда пришел? Кто перед тобой — дырка в заборе или влюбленная женщина? Бедный-бедный Жоржи, ты ничего не умеешь, совсем ничего! — Но тут лицо ее озарилось улыбкой, нежной и мечтательной. — Впрочем, это даже и к лучшему: я тебя всему научу, я буду твоей наставницей, и к тому времени, когда мне надо будет ехать в Европу (муж ее был назначен военным атташе в одну из стран Старого Света, а в какую — не скажу, даже если вспомню), ты станешь непревзойденным мастером. А что наслаждаться твоим мастерством будут другие, мне плевать.

И она выполнила свое обещание: всем, что я знаю и умею в этой сфере, я обязан ей, я прошел с ней полный академический курс и стал если не доктором, то уж магистром — точно. Низкий ей за это поклон. Иногда я вновь вижу перед собой груди, созданные, чтобы их гладили и целовали, снова ощущаю веявший от нее аромат цивилизованной самки, вспоминаю золотистые волосы, маленькое тугое лоно. Да, это она наставила меня на путь истинный. Спасибо.

## Баия, 1968

Когда читаю теперешние бразильские газеты, не устаю радоваться тому, как далеко шагнула вперед свобода слова — ругательства исчезли, вернее, перестали таковыми считаться. То, что носит громкое название «ненормативной лексики», то, что называется «соленым словцом», одолело предрассудок, протиснулось в литературный язык, и непечатные выражения сплошь да рядом встречаются мне в печати.

Еще совсем недавно все обстояло совсем иначе: газеты, делая вид, что заботятся о приличиях, что трогательно пекутся о целомудрии читателей, просто лицемерили, а еще больше боялись — боялись, что им влетит от властей предержащих. Так и вижу Одорико Тавареса, воздевшего для пущей выразительности руки к небу, — он возмущен теми оборотами и словечками, которые допускает в обзорах и репортажах юный прыткий журналист Гвидо Герра, компрометирующий своими эскападами почтенное издание «Диарио де Нотисиас». «Кончится тем, что из-за этого щенка мою газету закроют! — кричит Одорико. — Завтра же выставлю его вон! Ноги его не будет в редакции!»

Несмотря на это, Гвидо бестрепетно продолжал употреблять слова непечатные, хоть и хорошо известные каждому баиянцу, но режущие католическое ухо. Он, пожалуй, злоупотреблял ими, слишком уж отчаянно сквернословил, однако имел бешеный успех у читателей. Сам он был под стать своему стилю — дерзкий, нахальный, нечесаный, грязноватый, в расползающихся по швам линялых джинсах: таким и вломился в литературу. Я уж не помню, какой ветер занес меня на презентацию его первой книги очерков и репортажей, где Гвидо раздавал автографы. Я предрек ему большое будущее, можно сказать, поставил на него и не ошибся. Надо отдать мне должное — в этих делах я почти никогда не попадаю впросак, все прогнозы мои сбываются. Маленький газетный хроникер стал писать рассказы, а потом — романы. Теперь, когда он подписывает свое новое творение в книжном магазине Дмевала Шавеса, жаждущие получить его автограф выстраиваются в очередь на полквартала.

А в газете продолжаются скандалы. Одорико объявляет об увольнении репортера, но опять же дальше угроз и крика дело не идет. Гвидо кается и клянется быть сдержанней в выражениях. Его клятвам та же цена, что и угрозам главного редактора. Всласть наоравшись, Одорико, который, между прочим, и сам поэт, бормочет вполголоса: «Талантлив, мерзавец! Лихо пишет, даже моей Жерсине нравится» (Жерсина — это его супруга).

## Нью-Йорк, 1979

Мы ужинаем у Гарри Белафонте в узком семейном кругу — его жена Джулия, его сестра, тесть с тещей, мы с Зелией.

— После ужина, — говорит мне Гарри, — покажу одну штуку, сделаю тебе сюрприз. Надеюсь, понравится.

Где только не встречались мы с четою Белафонте. В Париже, после триумфально прошедшего концерта в «Олимпии», в Гаване, где гуляли в компании с Грегори Пеком. На террейро[[15]](#footnote-15), где участовали в обряде посвящения: там Зелия обратила внимание на то, что едва ли не все участники африканского радения — белые. И на Кубе, и у нас в Бразилии кандомбле перестало быть негритянской сектой, сделалось истинно народной религией, не знающей ни расовых, ни классовых различий. «Дома святого» посещают крупнейшие латифундисты, банкиры и политики, поклоняются грозному Огуну, могущественному Ошосси. А на Кубе, не в пример прошлым годам, когда режим преследовал и запрещал религию, значительно терпимей стали относиться к верованиям и верующим.

...Гарри прилетел в Рио-де-Жанейро. Его окружают репортеры, со всех сторон к нему тянутся микрофоны, вспыхивают блицы фотоаппаратов, гудят и жужжат камеры. Все это ему привычно и приятно.

— Чему будет посвящено ваше пребывание в Бразилии?

— Я навещу моего друга Жоржи Амаду.

— И все?

— Неужели этого мало?

Гарри Белафонте — не только знаменитый певец и кинозвезда. Он сражается за права человека, он борется с апартеидом, он был близок к Мартину Лютеру Кингу. Глядя, как он ставит программу, посвященную памяти этого великого человека — исполняется двадцать лет со дня его гибели, — я вспоминаю другого своего чернокожего друга, другого замечательного певца, Поля Робсона. Они похожи и ростом, и убеждениями, и обостренной совестью — оба воплощают в себе человеческое достоинство.

А тогда в Нью-Йорке после ужина Гарри и Джулия повели нас в приготовленную нам комнату. Над изголовьем кровати, на почетном месте висит картина Кандидо Портинари[[16]](#footnote-16). Арена убогого бродячего цирка-шапито... униформа, артисты, синий конь...

— Я был вчера в одной галерее на выставке Леже и купил это. Увидел и остолбенел.

За окном — зима, заснеженные улицы, а здесь, в доме Гарри Белафонте, кроме тепла дружбы, меня согревают поэзия, буйство цвета, прелесть моей Бразилии.

Своим умом жить, своей головой думать — дорогое удовольствие. Тот, кто отважится на это, немедля будет схвачен идеологическими патрулями левых и правых, и пощады не жди. Обвинят, оплюют, оклевещут, выставят к позорному столбу, распнут. И все равно — стоит, стоит платить непомерную цену, ибо в накладе не останешься: свобода мысли — штука бесценная.

## Тирана, 1950

На приеме, устроенном президентом Миттераном в честь сорока иностранных писателей, приглашенных на открытие программы «Fureur du Livre»[[17]](#footnote-17) — придумал эту затею министр культуры Жак Ланг, — ко мне подходит албанский писатель Исмаиль Кадарэ. Он слышал, что я бывал в его стране, но не знает когда.

— Это было в 1950 году, больше сорока лет назад, дорогой Исмаиль, вы тогда пешком под стол ходили.

Я приехал в Албанию на Конгресс в защиту мира. Эта страна меня покорила: оливковые рощи, порт на побережье Адриатики — он был не больше, чем мой родной Ильеус, — народ, гордый своими недавними подвигами в борьбе с Гитлером и Муссолини. Нищета и надежда. Маленькую столицу мы с Вандой Якубовской обошли пешком, из конца в конец часа за два. В ту пору я написал об Албании несколько лирических пассажей — сделайте скидку на застилавший мне глаза энтузиазм. Познакомился с самим Энвером Ходжей, говорил с ним...

— Да быть не может! Неужели он вас принял? — восклицает потрясенный Исмаиль, который помнит, как недоступен был тиранский тиран.

— Я же представлял Всемирный совет мира...

Ходжа не только принял меня, но и предложил чашечку чаю, и беседа наша длилась больше часа. Он хвалился прошлыми триумфами, делился грандиозными планами на будущее, славословил Сталина, но снизошел до того, чтобы вспомнить Фуада Саада, врача из Сан-Пауло, с которым в студенческие годы жил в одной комнатке в дешевом марсельском (или лионском?) пансионе. Когда прощались, Энвер Ходжа вновь забронзовел и велел передать Престесу[[18]](#footnote-18) следующее:

— Скажите товарищу Луису Карлосу, пусть помнит и не забывает никогда: крови бояться не надо. Без большой крови революцию не сделаешь, ничего не выйдет.

## Баия, 1982

Весна пришла в Португалию раньше срока. Я пишу эти строки в залитом солнцем Эсториле, и, завершая свой очередной утренний «урок» — нелегкое это дело, книжки сочинять, — перед тем как отправиться обедать в один из ресторанчиков — они все хороши, один лучше другого, — поведаю вам историю о французских сырах. Было это несколько лет назад: прилетели к нам и высадились на баиянский наш брег парижские издатели Жан-Клод Латт и Жан Розенталь с супругами. О дне и часе своего прибытия загодя они не сообщили — прилетели на рассвете, разместились в отеле, а около полудня позвонили. Мы с Зелией поспешили к ним, горя желанием обнять друзей.

В вестибюле отеля у стойки портье Жан-Клод выступил вперед, держа в руках длинный французский батон, именуемый «baguette», и бутылку моего любимого «Шато-Шалон», и произнес краткую речь:

— У французов принято дарить друзьям хлеб, вино и сыр. Мы, то есть Франсуаза и Жан, Николь и я, неукоснительно следуем обычаю. Вот вам хлеб, — он протянул Зелии baguette, — вот вам вино — он вручил мне бутылку, — что же касается сыра, то вот вам вместо него официальный документ — и он подал мне бумагу, из которой следовало, что камамбер, рокфор, бри и козий сыр к ввозу в Бразилию запрещены, как и все прочие сорта, а потому задержаны на таможне.

Разумеется, Жан-Клод не преминул сказать таможенному инспектору, что огромное деревянное блюдо с этими сырами предназначено мне. Учтивый, но непреклонный таможенник при этих словах рассмеялся в лицо французскому издателю:

— Ну разумеется! Как же иначе?! Еще не было случая, чтобы сыр, который мы тут конфисковали, не был привезен в подарок Жоржи Амаду. Придумали бы, месье, что-нибудь новенькое.

## Москва, 1953

Здесь проходит сессия — или пленум? — в общем, заседает бюро Комитета защиты мира, и Эренбург по этому случаю устраивает у себя дома званый вечер — или ужин? — в честь Го Можо. Присутствует человек десять — советские и иностранцы.

Го Можо — человек с мировым именем, всесветный мудрец и эрудит, а в Азии вообще личность легендарная, второй Конфуций: знает пятьдесят тысяч иероглифов. Да будет вам известно, что для того, чтобы читать газету, надо знать три тысячи; университетский преподаватель знает семь; интеллектуал — десять. Два раза, представляя коммунистов в коалиционном правительстве Чан Кайши, он был министром, а сейчас — член политбюро Коммунистической партии Китая, которая четыре года назад, в 1949-м, пришла к власти и провозгласила Китайскую Народную Республику, заместителем председателя коей он является. Го Можо, кроме того, — еще и вице-президент Всемирного Совета Мира и Комитета по присуждению Международных Сталинских премий. Это лишь три из многочисленных титулов и званий, которыми он может похвастаться... — может, но не хвастается, ибо человек он на редкость простой, лишенный всякой спеси и надменности, весьма учтивый, крайне любезный и приятный в общении. Одним словом, это фигура более чем заметная в социалистическом лагере, видный, как принято выражаться, деятель международного коммунистического и рабочего... ну и т. д. Ему уже за семьдесят, но по лицу не скажешь — китайцы кажутся мне людьми без возраста.

Итак, в квартире Ильи за длинным низким столом, ломящимся от разнообразнейших яств и питий — тут тебе лососина, осетрина, всяческая икра, балыки, водка всех сортов, коньяк, фрукты, грузинские и молдавские вина, — сидят Константин Федин, Константин Симонов, Всеволод Пудовкин, французы Пьер Кот[[19]](#footnote-19) и Веркор[[20]](#footnote-20), румын Михаил Садовяну[[21]](#footnote-21), итальянец Пьетро Ненни[[22]](#footnote-22), бразильская супружеская пара. Симонов пришел с супругой, эффектнейшей женщиной, знаменитой актрисой театра и кино, чья типично славянская красота воспета им в стихах и в прозе: декольте щедро являет взору пышные белоснежные груди. Кинозвезду зовут Валентина. Симонов посвятил ей целую книгу чувственной, чтобы не сказать — эротической, лирики, заслужившей упрек самого товарища Сталина: «Зачем издатели тратят деньги на книги такого рода? Надо было напечатать два экземпляра: один для него, один — для нее». Великолепная Валентина! Когда она умерла, Симонов, к тому времени давно уже расставшийся с нею, появился на похоронах и положил на могилу тысячу алых гвоздик — тысячу, не меньше.

И Го Можо, сидящий напротив красавицы и не принимающий участия в беседе, поскольку катится она по-французски, а он говорит на восемнадцати восточных языках, но не знает ни одного европейского, переводчика же по имени Лю оставил в прихожей, не сводит глаз с декольте Валентины. Ничего, кроме этих монументальных, ослепительных всхолмлений не замечая, он, как человек благовоспитанный, выпивает поставленную перед ним рюмку водки — выпивает залпом, чтобы отделаться. Люба, гостеприимная хозяйка дома, тотчас наливает ему другую. Он опрокидывает и ее.

А надо вам сказать, что в Китае женская грудь, главная эрогенная зона, есть нечто прикровенное, таинственное и священное — чуть было не сказал «неприкосновенное», — ее всегда прячут, ее стягивают и перебинтовывают, чтобы не росла, одним словом, это абсолютное табу. Немудрено, что оголенные чуть ли не до сосков полушария, заключенные в раму черного бархата и кажущиеся от этого еще пышней и белей, в буквальном смысле приковали к себе взгляд китайского мудреца и виднейшего деятеля.

Прочие гости, не подозревая о приближении катастрофы, продолжали безмятежно и оживленно толковать о литературе, искусстве и спохватились, когда было уже поздно — неминуемое случилось. Го Можо, внешне совершенно невозмутимый и как всегда бесстрастный, несмотря на выпитое, по-прежнему не сводя глаз с этого «русского чуда», поднялся, обошел стол, остановился за стулом Валентины, вытянул руки и крепко обхватил ее театрально выставленные напоказ груди — так крепко, словно решил не расставаться с ними никогда.

Все оцепенели. Го Можо, заместитель многочисленных председателей, историческая личность, светоч и знаменитость, стоял, запустив обе руки в вырез Валентининого платья, крепко сжимая ее груди — левой рукой левую, правой правую, — и по его неподвижному лицу медленно расплывалось выражение неземного блаженства. Присутствующих словно параличом разбило: мы замерли, лишились дара речи — такого безмолвия не бывало от сотворения мира и больше уже не будет никогда.

Но в этот исполненный высокого драматизма миг переводчик по имени Лю, не выпускавший патрона из поля зрения, вынырнул из прихожей, взял его за локти, оторвал от Валентины и мягко, но твердо — можно так сказать? — повлек прочь из комнаты и из квартиры. Илья и Люба, выйдя из глубокого столбняка, поспешили следом — провожать. Беседа о литературе и искусстве бодро и как ни в чем не бывало возобновилась с того самого места, на котором пресеклась за минуту до этого, никто будто ничего и не заметил.

С этого потрясающего вечера уважение, которое я испытываю к Го Можо, стало еще больше, возросло безмерно.

## Баия, 1978

Луис Карлос Баррето, отец — впрочем, он же и мать — современного бразильского кинематографа, звонит мне из Рио, сообщает, что должен увидеться со мной по чрезвычайно важному делу. Договариваемся о встрече. Мы с ним давние и добрые друзья, друзья еще с той поры, когда Луис был фоторепортером — первоклассным! — журнала «Крузейро». Я люблю его и всю его семью — Люси, Бруно, Фабио, Паулу, футболиста-забивалу Клаудио-Адана и вдовствующую императрицу дону Лусиолу, могущественную главу рода. Бруно поставил фильм «Дона Флор и два ее мужа», а Луис Карлос был продюсером, и картина с успехом прошла по экранам всего мира.

И вот он в Баии и, ворвавшись ко мне, с места в карьер ошеломляет неслыханным предложением — одним из тех, от которых не отказываются, а в щенячьем восторге падают на спинку, задрав все четыре лапы кверху.

— Я приехал предложить тебе пятьсот тысяч долларов за права на экранизацию «Тьеты», — говорит он и повторяет: — Пятьсот тысяч долларов.

Добавлю, что мой роман «Тьета де Агресте» отлично распродается, а «Дона Флор» собирает полные залы в кинотеатрах.

Он переводит дух, вытягивается в кресле, закуривает сигару, симпатичное лицо озаряется улыбкой триумфатора. Я тоже улыбаюсь и трогаю его за коленку:

— Полмиллиона?

Он выпускает клуб дыма — киномагнат, привыкший ворочать баснословными суммами авансов и потиражных, акула Голливуда и его окрестностей:

— Вот именно! Полмиллиона...

— Полмиллиона! И ты смеешь считать себя моим другом?!

— Еще бы! И дружба наша не вчера началась.

— И ты, мой друг, приходишь ко мне с таким предложением, на которое и злейший враг не решился бы...

— Не понимаю...

— Ты хочешь, чтобы я до конца дней своих выклянчивал у тебя обещанные деньги, а ты морочил бы мне голову, пока я не подох бы от изнеможения и отвращения, так и не получив ни единого — хотя бы для смеху — доллара?! Нет, Луис, не друг ты мне...

До него наконец доходит, и улыбка киномагната сменяется простодушным и громозвучным хохотом. Так смеяться умеют лишь уроженцы деревенского штата Сеара. Я угощаю его виски, и мы сидим за приятной беседой, пока не приходит время ехать в аэропорт. Мой шофер Аурелио отвезет его. Протягивая ко мне руки для прощального объятия, Луис осведомляется:

— Значит, отказываешься?

Таков был первый опыт экранизации «Тьеты». За ним последовали другие и третьи. Но никогда больше не слышал я столь щедрых посул.

## Москва, 1957 — Париж, 1990

Не знаю, отчего — быть может, это стойкая аллергия на декламацию, которая в 30-е годы эпидемией прокатилась по Бразилии, — я люблю читать стихи глазами, про и для себя, и самое большее, на что могу согласиться, — тихое, вполголоса, чтение возлюбленной. Это наслаждение и впрямь мало с чем сравнимо. Мне очень нравилось видеть в Москве, в парке Горького, юные пары — сидят щека к щеке, руки переплетены над страницами Пушкина и Есенина. А от чтецов-декламаторов я убегаю, как от желтой лихорадки. Признаюсь, впрочем, что все-таки дважды был я потрясен чтением вслух.

Не так давно в Париже, в Сорбонне мы с Зелией слушали в исполнении Марии де Жезус Баррозо, замечательной португальской актрисы (и, между прочим, жены президента Португалии Марио Соареша), стихи ее великих соотечественников — Камило Песаньи, Марио де Са-Карнейро, Жозе Режио, Фернандо Пессоа. Никакого велеречия и напыщенности, ни пафоса, ни слезы в голосе — она проживает каждую строфу, обволакивает слушателей поэзией, чистейшим и искреннейшим чувством. И португальский язык в ее устах обретает гул и отзвук вечности — поэзия проникает в меня, заполняет, струится по жилам вместе с кровью.

А другой — уже давний — случай был в Москве. На дворе стояла хрущевская оттепель, в Театре Сатиры шла пьеса о Маяковском[[23]](#footnote-23): о жизни поэта актеры повествовали его стихами, из них одних состоял текст этой инсценировки — из стихов и злобных отзывов, уничтожающей «директивной» критики, идеологической брани и политической хулы, которыми стихи эти некогда встречались. На сцене четыре актера играли четырех разных Маяковских — революционера, влюбленного, сюрреалиста... Позвольте, а четвертый? Не помню. А может, их было только трое?

Я не говорю и не понимаю по-русски, но глубинная сила поэзии проняла меня, как говорится, до кишок, взволновала до слез. Никогда не забуду сцену, когда Маяковский-самоубийца выходит на сцену и читает стихи, написанные на смерть Есенина, стихи, в которых упрекает его за слабость, корит за капитуляцию. Мороз по коже.

Чуть не полжизни отдал я борьбе с величайшим злом современности — американским империализмом: гневно бичевал его и клеймил, пригвождал к позорному столбу, разоблачал, срывал с него маску, возлагал на него ответственность за все несчастья человечества, за глад, мор и трус, за угрозу атомной войны, за тирании, которые насадил он там и тут.

Много в тогдашних моих пламенных речах и статьях было самой бессовестной демагогии, но попадались в грудах и ворохах словес и крупицы истины: и вправду навязывал он свою волю в экономике и политике, и в самом деле в американских посольствах готовились путчи и перевороты, потрясавшие несчастную нашу Латинскую Америку, выкармливались пиночеты, виделы, бразильские «гориллы» 1964 года. И я не раскаиваюсь, что потратил столько риторических зарядов — империализм действительно агрессивен, жесток, звероподобен.

Но снова и снова повторяю я сомнительную, с точки зрения чистоплюев, острґоту — самым ценным своим материальным достоянием я обязан ему, американскому империализму. Впрочем, если говорить точнее, то это благодаря нашим с Зелией — я не отделяю себя от нее — трудам появились у нас дом в баиянском квартале Рио-Вермельо и мансарда на берегу Сены.

В 1962 году голливудская корпорация «Метро-Голдвин-Майер» купила у меня права на экранизацию моего романа «Габриэла, гвоздика и корица», переведенного на английский, изданного стараниями Алфреда Кнопфа и даже вошедшего в список бестселлеров, купила задешево, пользуясь моей тогдашней неосведомленностью в подобных вопросах и тем, что имя мое было не слишком известно в этих кругах. Теперь-то я понимаю, что продешевил, — в ту пору гонорар показался мне астрономическим. Да еще в долларах! Я чувствовал себя богачом. «МГМ» больше двадцати лет все не запускало фильм в производство, не начинало съемки, и дважды я пытался выкупить права, предложив во второй раз вдвое больше того, что получил когда-то. Дважды отвечали мне стандартными письмами — не собираемся, мол, расторгать нашу сделку. Именно это слово употребляли они.

Тем не менее благодаря этим империалистическим, кинематографическим, голливудским долларам смог я осуществить давнюю свою мечту — обзавестись в Баии собственным домом. Он был с любовью спланирован и выстроен Жилберберто Шавесом, в ту пору начинающим, а ныне маститым и знаменитым архитектором. И, чтобы дом этот вышел единственным в своем роде, немало труда и таланта приложили мои друзья — баиянские художники Карибе, Марио Краво, Лев Смарчевский, Дженнер Аугусто, Хансен Баия, Калазанс Нето, Удо Кнофф, Алдемар Мартинс, португальский керамист Жозе Франко. Двери и решетки, изразцы, черепица, скульптура, картины, рисунки, гравюры... Словом, если бы пришлось платить за эти доброхотные даяния, за эти, книжно выражаясь, приношения на алтарь дружбы, то я должен был бы загнать янки права на экранизацию еще одного романа.

Лев Смарчевский, живописец и график, мореплаватель и яхтсмен, баиянец родом из Одессы, по собственным эскизам смастерил мебель; Ману, жрец на кандомбле в Гантоисе, выковал атрибуты грозного бога Ошосси, венчающие крышу, и фигуру проворного демона Эшу, оберегающего и охраняющего дом. Мы с Зелией своими руками посадили каждое дерево в саду, за исключением столетних сапотизейро и нескольких манговых пальм — пользуюсь случаем сообщить своим домашним, что там, под корнями этих манго, я, когда придет мой час, и хотел бы лежать.

В 1985 году нью-йоркское издательство «Бэнтам» как-то особенно расщедрилось на гонорар за право перевода и публикации «Токайа Гранде» — сумма вознаграждения, удостоившаяся упоминания в «Нью-Йорк таймс», позволила мне осуществить еще одну мечту и купить pied-a-terre[[24]](#footnote-24) в Париже. С учетом налогов и комиссионных агенту всего полученного от «Бэнтама», всего, что сумела сэкономить и сберечь Зелия, в обрез хватило на покупку мансарды на Кэ-де-Селестэн: из окна видны Сена, Нотр-Дам, Эйфелева башня, а как раз напротив, на острове Сен-Луи, живет наш друг Жорж Мустаки.

## Рио-де-Жанейро, 1946

В январе 1946 года жители Сан-Пауло выбрали меня в Федеральное собрание. Я договорился с Престесом, что буду исполнять депутатские обязанности в течение трех месяцев, а потом вернусь к своим литературным занятиям. Однако пробыл я в палате полных два года — до тех пор, пока в 1948-м меня и других левых не выкинули оттуда.

Это был печальный день, день поражения, о котором мы знали с самого начала, еще до того, как вступили в ожесточенную, продолжавшуюся много месяцев борьбу за мандаты. И это был радостный день, ибо я скинул наконец депутатскую ношу: я не создан для парламентаризма, меня воротит от речей с трибуны и пленарных заседаний — я люблю заниматься тем лишь, что радует меня или забавляет. Большого труда стоило мне держаться «на высоте требований», но думаю, что все же я был не таким уж плохим депутатом, хотя, повторяю, это не мое дело. Трудно было еще и потому, что нашу фракцию все время в чем-то подозревали. И вдвойне трудно оттого, что партийные руководители требовали от нас подчинения слепого и безоговорочного. И были мы не фракцией, а сектой. Короче говоря, в этих обстоятельствах делал я что мог.

Если чем-то я и могу гордиться — если считаю, что эти два года слово- и просто прений не были ухлопаны совсем уж впустую, — то тем лишь, что по моему настоянию внесена была в проект нашей конституции, который обсуждали, редактировали и утверждали члены особой комиссии, сенаторы и члены Федерального собрания, поправка, и по сей день еще гарантирующая гражданам Бразилии свободу совести.

Провозглашенная в стране республика первым же декретом отделила церковь — святую римскую католическую апостольскую — от государства, но отделение это осталось на бумаге, а свобода совести обернулась фарсом. Католическая церковь, целиком и полностью — «теологии освобождения» тогда ведь еще не существовало — служившая богатству и силе, сохранила все свои привилегии и ни на йоту не утратила власти и влияния. Государство щедро субсидировало ее, а официальное признание было абсолютным: сеньор епископ делал что хотел, а губернаторы целовали его пастырский перстень. Прочие конфессии — и христианские и нехристианские — жевали, по народному присловью, хлеб, что сам дьявол замесил, то есть влачили жалкое существование. Дискриминации и полицейскому преследованию подвергались и протестанты, и всякого рода секты, и культы африканского происхождения.

В 1946-м я, проводя свою избирательную кампанию, объехал внутренние районы штата Сеара и такое там увидел, что волосы встали дыбом. Разъяренные толпы католиков-фанатиков с воздевшими кресты священниками во главе, крича «Слава Царю Небесному!», громили и поджигали протестантские храмы. Те же самые фанатики, науськанные теми же падре, в считанные минуты разнесли в щепки помост, с которого мы с Зелией должны были выступать на митинге — он, впрочем, тоже не состоялся. Мы еле унесли ноги. Остервеневшие святоши-богомолки толкали и пинали нас, пытались вцепиться Зелии в волосы, вслед нам неслись угрозы, сверкали клинки длинных ножей, какими в здешних краях колют свиней, — никогда еще я не видел смерть так близко. Удалось, по счастью, вскочить в грузовик и удрать. Никакой свободы — ни политической, ни религиозной.

Приверженцам афро-бразильского культа приходилось еще хуже. Я с младых ногтей терся в самой гуще баиянского простонародья, жадно изучал его жизнь, бывал и на террейро, и в «домах святых», на ярмарках и на рынках, на пристанях, куда причаливали рыбачьи баркасы, и могу засвидетельствовать, с какой жестокостью пытались власти светские и церковные уничтожить и истребить все те культурные и духовные ценности, что обязаны были своим происхождением Африке. Как свирепо преследовались традиции, обряды, племенные наречия и божества, как неуклонно стремилось государство выкорчевать верования самых бедных своих, самых угнетенных граждан.

В четырнадцать лет я начал работать в газете, и сразу же вышло так, что я включился в борьбу против дискриминации языческих верований, против преследования тех, кто поклоняется ориша, иаво, экеде, оганам, йалориша, оба. Очень скоро я своими глазами увидел солдат, вламывавшихся на макумбу[[25]](#footnote-25), разорявших террейро, сносивших алтари, увидел, как заталкивают жрецов и верующих в полицейские фургоны, как избивают их и глумятся над ними, не забуду и рубцы от плетей на спине престарелого Прокопио. Все эти издевательства, не сломившие дух баиянского народа, стали основой моих романов — кто читал, должен помнить, как все это происходило.

Отстоять поправку о свободе совести оказалось делом нелегким. Более того, она потребовала от меня известного хитроумия — надо было не обсуждать ее во фракции, не выносить на рассмотрение и утверждение политбюро, а прямо и непосредственно показать Луису Карлосу Престесу, который был бесспорным лидером бразильской компартии и потому, должно быть, выгодно отличался от других руководителей незашоренностью и отсутствием твердолобой ортодоксальности. Я воспользовался приездом Джокондо Диаса. Это был человек, пользовавшийся всеобщим уважением: в 1935 году он возглавлял «рождественский мятеж», за него и был приговорен к десяти годам тюрьмы, и до самой амнистии жил под чужим именем. Испытанный борец, достойная личность. Мы отправились к Престесу вдвоем. Джокондо во всех подробностях ознакомил генсека с проблемой и обратил его внимание на то, какие дивиденды может получить компартия, если возьмет на себя защиту народных верований. Итак, мы заручились безоговорочной поддержкой первого человека в партии. Если бы я вынес поправку на обсуждение во фракции, то, скорей всего, загубил бы дело: раз уж религия — опиум для народа, то кандомбле — гораздо худший наркотик, а в придачу дикий пережиток варварства, никак не совместимый с социализмом. Да чего и ждать было от Жоржи Амаду, по просвещенному мнению многих товарищей, писателя невысокой морали, так, в сущности, и оставшегося в плену мелкобуржуазной стихии, страдающего разнообразными идеологическими загибами и уклонами.

Итак, я получил от Престеса нечто вроде санкции, но собирать подписи среди коммунистов обеих палат не пошел. Я счел за благо представить проект поправки как инициативу довольно известного писателя, связанного с афро-бразильскими сектами. Ну а то, что писатель этот — коммунист, дело десятое.

Я рассудил верно: если бы проект исходил от коммунистической фракции, то с самого начала был бы обречен. По мере того как «холодная война» вступала в свои права, вытесняя недавнюю эйфорию от разгрома нацизма, все труднее становилось нашей фракции работать. Другие депутаты посматривали на нас в лучшем случае с недоверием, а в худшем — с ненавистью, сразу и без разбора блокируя все, что мы предлагали. «Что кроется за этим?» — спрашивали социал-демократы, демократические националисты, трабальисты и прочие, видя в самом невинном нашем начинании «руку Москвы». Нынешние поколения не знают, что это такое, а была она тогда повсюду, тянулась к национальным святыням, оскверняла наши очаги, расшатывала устои «семьи, частной собственности и государства». Было еще «золото Москвы», но об этом как-нибудь в другой раз.

...Я напечатал поправку на машинке, подписал и отправился искать Луиса Виано Фильо, баиянца и писателя, депутата от партии Национально-демократический союз. Земляк и собрат по ремеслу, автор книги «Негр в Бразилии», внял моим уговорам и поставил свой автограф. После этого я устроил засаду на Жилберто Фрейре, депутата от штата Пернамбуко, который нечасто баловал Законодательное собрание своими посещениями, но уж зато когда приходил, и зал, и ложи прессы, и галереи для публики всегда заполнялись народом, предвкушавшим яркую речь. Завидев нашу звезду, я ловко отсек его от поклонников, увлек в уголок, показал текст, и он украсил его своей драгоценной закорючкой. При этом еще улыбнулся неотразимой улыбкой и сказал вполголоса: «Как это я не додумался?»

Я продолжил обход депутатов и вскоре собрал больше семидесяти автографов. Поправка была принята, включена в соответствующий раздел конституции 1946 года и стала статьей закона.

Таков был мой вклад в бразильскую демократию. Закон начал работать, и через какое-то время преследования, гонения на инаковерующих, налеты на храмы, поджоги, насилие отошли в прошлое. Значит, не зря все-таки меня выбирали, не зря два года натирало мне холку депутатское ярмо, не напрасно торчал во дворце Тирадентиса липовый законодатель, немощный парламентарий.

## Рио-де-Жанейро, 1971

Я гляжу на фотокарточку — снимок сделан у входа в собор Сан-Бенто, различаю знакомые лица. Ведя Палому за руку, я переступаю порог храма точно в назначенный срок, минута в минуту, чего никогда не бывает на подобных церемониях, когда женятся дети людей известных и заметных в культурной, как говорится, жизни Бразилии: дочка одного, смею думать видного, беллетриста выходит замуж за сына другого.

Это изгнание и жизнь в Европе научили меня пунктуальности, а у нас в Бразилии привычка приходить вовремя — если не гибельна, то пагубна. Сколько раз я попадал из-за нее в глупейшие ситуации... Может, хоть теперь мы не явимся раньше всех?! Палома еще поправляла фату, а я уже стоял в дверях лифта. Скорее всего, я это делаю, чтобы показать, что не собираюсь склоняться перед обычаями семьи Коста, славной своей легендарной непунктуальностью, о которой рассказывают истории, иной раз довольно язвительные. Моя дочь Палома выходит замуж за Педро Косту, сына Назарет и Одило Коста.

Венчать новобрачных будет дон Тимотео, монах-бенедиктинец, настоятель монастыря Сан-Бенто в Баии, специально по такому случаю приехавший в Рио. Замечательный человек, напрочь лишенный католического догматизма, который ничем не лучше догматизма коммунистического. Дон Тимотео — один из вождей тайной армии, сопротивляющейся военной диктатуре, а верховный главнокомандующий этого воинства — дон Элдер Камара, архиепископ Ресифе и Олинды. Сама жизнь заставила пастыря пересмотреть свои взгляды, отойти от правых и примкнуть к коалиции левых.

Экуменическое венчание. Жених — ревностный католик. Как и вся его семья: отец в статье одного уважаемого критика был даже назван «католическим поэтом», мне подобная классификация кажется обидной, ибо поэзия превыше любой идеологии. А невеста выросла в семье атеистов, воспитана вне какой бы то ни было религии, в том числе и афробразильской, хоть папаша ее и носит титул оба — жреца грозного Ханго, верховного божества в африканском пантеоне. Да-с, и вот на экуменическом этом венчании дон Тимотео простыми словами воспел волшебную силу поэзии, прелесть дружбы, говорил о жизни и о любви так, что поневоле растрогаешься.

Я смотрю на молодых, внимающих прекрасным и мудрым словам монаха, и меня не оставляет легкая тревога, едва заметное беспокойство: удастся ли Паломе стать своей в чужой семье, приспособиться к привычкам и обычаям, столь непохожим на те, что приняты в ее собственном доме? Педро тонок, изящен и хрупок, у него профиль юного эрудита, неуемного мальчика-книгочея, по зубам ли ему будет орешек под названием «жизнь»? Порою я испытываю некое отчуждение, мне начинает казаться, что я слишком груб и прост для такого одновременно застенчивого и гордого, такого одухотворенного и чувствительного зятя. Сможет ли Палома оказать достойное сопротивление ужасу, именуемому «рутина», не дрогнуть перед случайными пакостями и намеренными жестокостями, на которые так богата жизнь: и просто жизнь, и жизнь супружеская, жизнь семейная. Готова ли она к тому, как беспощадна любовь? Сумеет ли отмахнуться от мелких подвохов и преодолеть великие муки, научится ли ладить со свекровью, свекром, золовками? Надеюсь. Палома поразительно похожа на меня, мы подобны во всем, почти во всем. Это Жоан Жоржи удался в Зелию — воплощенная доброта, приятие всего и вся, спокойная уверенность и веселое спокойствие. Мы с Паломой — позаковыристей, не так добры и великодушны, как Зелия и Жоан, мы более себялюбивы и жестки. Зато мы наделены лукавой гибкостью, позволяющей нам обуздывать душевные порывы, которые способны привести к непониманию, а то и к непоправимому разладу. Вспоминая себя самого и свою жизнь с Зелией, я даю дочери вотум доверия.

## Рио-де-Жанейро, 1971

После венчания, в машине, по дороге из собора в дом Одило Косты, где состоится свадебный обед, наша бабушка дона Лалу — вся такая торжественно-парадная — жалуется, что дон Тимотео в своей проповеди обидел новобрачную:

— Зачем было столько раз шпынять бедную девочку — ты не католичка, ты некрещеная... Зачем, а?

— Ну, мама, это называется «экуменическое бракосочетание». Жених — католик, а невеста — нет... Дон Тимотео и не думал обижать Палому...

— Все равно! Я не знаю этих ваших нынешних новшеств, но все равно — не должен был святой отец так вот при всех, прилюдно, во храме говорить, что наша Палома — не католичка! Бедняжка моя! И кто вас с Зелией тянул за язык, к чему было объявлять: мы, мол, ее не крестили?..

Мама, а ты-то сама — верующая? Само собой, крещена по обряду, это верно, но по части религии слабовата. Если не считать обетов Тоньо, как фамильярно называешь ты святого Антония, по поводу каких-нибудь пропавших и нашедшихся вещей, веры в тебе — вот настолечко, не больше. Ум у тебя скептический и критический, и в загробную жизнь ты не веришь, ибо слишком привязана к этой, земной, пусть в ней все — тщета и мимолетность, тем не менее... Вот и я такой же.

## Лондон, 1970

Перед отъездом в Старый Свет иду попрощаться с Вальтером да Силвейрой, попрощаться и попросить прощения. За что? Вальтер найдет за что, как всегда отыщет и причину для обиды. Он — верный друг, но более требовательного и ревнивого человека я в жизни своей не встречал. Обидчив, как барышня, — ему постоянно кажется, будто с ним были нелюбезны, неласковы, будто отнеслись без должного внимания. Когда раздается телефонный звонок и я слышу в трубке его голос, то неизменно осведомляюсь: «Вальтер, мы с тобой в ссоре или как?» Обычно на другом конце провода звучит смех, означающий, что меня простили.

...На этот раз Вальтер, несмотря на болезнь, удивительно благодушен: только что вышла из печати его монография о творчестве Чарли Чаплина, удостоившаяся лестных отзывов знатоков киноискусства. Вальтер с гордостью показывает мне вырезки из газет, а потом обращается с просьбой — захватить книгу с дарственной надписью с собой в Европу, а уж оттуда отослать ее Чаплину бандеролью. Бразильскому министерству связи Вальтер не доверяет и уверен, что если отправить книгу обычным порядком, авиапочтой, работа его до адресата не дойдет. Я забираю толстый том: «Будь покоен, Вальтер, первым делом, как только прилечу в Лондон, пойду на почту».

И я сдержал свое обещание. Приложил к книге письмо, которое добрые люди перевели на английский: я напоминаю Чаплину о нашей встрече в Швейцарии, когда ему вручали премию «За укрепление мира между народами». Рассказываю вкратце о том, кто такой Вальтер и сколь многим обязан ему бразильский кинематограф, прошу сообщить автору, что труд его, проникнутый такой любовью к создателю образа Чарли, получен. Даю баиянский адрес Вальтера и добавляю как бы в оправдание: жить ему осталось совсем мало, не то что дни, а и часы его сочтены.

И Вальтер перед смертью еще успел порадоваться: он получил из Швейцарии два письма. Одно, подтверждающее получение книги, — от секретарши Чаплина, другое — от самого. Величайший гуманист нашего века нашел какие-то неформальные слова, ласково и тепло сообщил, что тронут и благодарен.

## Рио, 1947

Врачи и пациентки толпятся в коридорах, чтобы посмотреть, как, блистая красотой, проходит по родовспомогательному заведению Мария... — ну, скажем, делла Коста — явившаяся навестить Зелию, которая вчера произвела на свет нашего первенца Жоана Жоржи.

Няньки извлекают младенца из палаты для новорожденных и несут купать в присутствии счастливой матери. Распеленывают, опускают в теплую воду. Актриса оглядывает малыша и указывает пальчиком:

— Нет, вы на пипку посмотрите!.. Ну вылитый отец!

## Петрополис—Париж, 1984

Затворясь, как говорится, от света, укрывшись в гостеприимном и уютном доме моих друзей Глории и Алфредо Машадо, я, будто каторжник, прикованный к тачке, работаю над «Токайей Гранде». Меня нет ни для кого. Но звонит телефон, и Зелия, сняв трубку, подзывает меня:

— Придется подойти... Это посол Франции.

И я, француз душой, подхожу. Посол имеет сообщить мне следующее только что полученное известие: правительство Французской Республики в лице президента Миттерана наградило меня орденом Почетного легиона — командорской его степенью, то есть звездой. Такую же награду получат вместе со мной люди куда более достойные — Федерико Феллини, Йорис Ивенс, Норман Мейлер, Альберто Моравиа, Яшар Кемаль. И турок, и итальянец тоже мои давние друзья, как и голландский кинематографист. Я благодарю за честь, говорю, что горд и тронут. Так оно и есть.

Посол сообщает мне день и час вручения награды. Мне ужасно не хочется прерывать работу над романом и, узнав, что посол на будущей неделе прилетит в Баию, чтобы вручить орден Пьеру Верже, я изъявляю желание присоседиться к нему. Утром буду в Баии, вечером вернусь в Петрополис, а Париж — это не меньше недели.

От такого вопиющего незнания протокольных тонкостей посол на миг теряет дар речи:

— Даже не думайте! — восклицает он не без обиды. — Верже — офицер Почетного легиона, приколоть ему крест имею право я. Вы же награждены командорской степенью ордена, и вручить его вам может только сам президент.

Ах я святая простота! Рассыпаюсь в извинениях, уточняю дату, и мы летим в Париж. Президент Миттеран, надевая мне на шею ленту с орденом, произносит не скупясь лестные слова о моем писательском труде. В зале Елисейского дворца я вижу самых дорогих мне французских друзей, от волнения у меня мурашки по коже и слезы на глазах... А для Зелии эта церемония — как бы извинение: здесь, в Елисейском дворце, мы отмечаем некий юбилей — ровно двадцать пять лет с того дня, как нас выслали из Франции.

## Канны, 1985

Жозе Апаресидо де Оливейра назначен губернатором столичного штата Бразилиа и оставляет должность министра культуры. Жозе Сарней, новоизбранный президент страны, решает расширить состав кабинета и вручить освободившийся портфель даме. Неглупый ход, широкий жест.

Он приглашает занять министерский пост Фернанду Монтенегро — актриса отвечает отказом. Тогда Сарней отыскивает на Каннском фестивале сеньору Зелию Гаттаи, супругу некоего Жоржи Амаду, и делает предложение ей. Отказ. Сарней настаивает. Зелия растеряна и не понимает причин такого упорства. Причины очевидны, объясняю я ей. Известная писательница, человек, разбирающийся в искусстве и в литературе, человек серьезный, даровитый, симпатичный, наконец. Правильный выбор — выстрел в яблочко. Чем же ты не министр?

Зелия спрашивает: это я всерьез или издеваюсь, по обыкновению? Всерьез-всерьез, никогда еще не был я так серьезен, а насчет издевательства это ты оставь. Тогда она просит, чтобы я с полной откровенностью ответил, что, по моему мнению, будет, если все так, как я говорю, и если она согласится. Ответ готов:

— Сарней хочет, чтобы культурой занялась женщина — это верно. Согласишься — он получит министершу красивую, умную, талантливую и...

— Ну? Не томи!

— ...и брошенную мужем.

## Добрис, 1950

За долгую жизнь мне доводилось принимать участие во многих нелепых затеях. Ни одна из них, впрочем, не идет ни в какое сравнение с той охотой на колорадского жука, которую устроили в окрестностях замка Добрис чешские и словацкие писатели и ряд иностранных товарищей. Колорадский жук стал оружием массового поражения в «холодной войне», разгоравшейся день ото дня все жарче.

Нам сообщили, что науськанные ЦРУ и ФБР американские империалисты — чудища в образе человеческом — принялись тоннами сбрасывать с самолетов вредоносного жучка на поля и огороды, сады и плантации, и эта гнусная тварь, сжирая посевы, сводила на нет все усилия крестьян, обессмысливала их героическую борьбу за урожай. Коварный замысел предполагал, что в соцлагере иссякнут запасы зерна и картошки, начнется голод, а за ним — смута.

Вправду ли существовал вредительский жучок или то была агитпроповская байка, сказать наверное не берусь. Да это и неважно — население стройными рядами во главе с партийными и профсоюзными активистами двинулось истреблять паразита. Развернулась общенациональная кампания. Власти постоянно поддавали жару, газеты и радио, захлебываясь, призывали к бдительности, с бесчисленных плакатов и листовок глядел мерзкий жучок, его же усатая харя украшала даже этикетки спичечных коробков. А, теперь вспоминаю — гад представлял собой нечто среднее между майским жуком и божьей коровкой.

Иностранные писатели, прибывшие в замок на отдых, отбрехаться не сумели — Эми Сяо, Жан Лаффит, Габриель д’Арбусье и прочие вместе с литераторами местными отправились на ближайшее картофельное поле и стали шарить под каждым кустиком и листиком, отыскивая гостинцы, которые янки, будь они прокляты, сбросили — или распылили? — с самолетов. Я в полной мере доказал свою бездарность, ибо не обнаружил ни одного. Товарищи мои издавали время от времени ликующие вопли, но мне так и не удалось увидеть хотя бы труп врага.

Зато я оказался самым проворным — всех опередил, первым дошел до края поля. Руководивший нами Ян Дрда, назначенный ответственным за операцию, весельчак и забавник, который не мог позволить себе роскошь вслух усомниться в том, что наше занятие имеет хоть самомалейший смысл, даже не подмигнул — а лишь прижмурил глаз, когда я напористо и стремительно проползал мимо: мол, что поделаешь, оба мы валяем дурака, занимаемся полной ерундой во имя торжества нашего великого дела. Подмигнул — и тут же завопил так грозно и ликующе, словно стиснул в толстых пальцах не вредительскую букашку — скорей всего, воображаемую, — а глотку самого дяди Сэма.

## Вена, 1954

Эгидио Скефф, журналист и мой приятель, появился у меня в номере — в отеле, где жили партийные начальники, входившие в руководство Всемирного Совета Мира. Полгода он пробыл в Китае на стажировке, считался гостем китайских коммунистов и был там на особом положении, жил в особом квартале, предназначенном для руководства.

Я поднялся с ним в номер, где он оставил чемодан и здоровенный пакет в коричневой бумаге — некие материалы, посланные китайскими товарищами товарищам бразильским в рамках программы расширения и укрепления межпартийных связей. Эгидио спрятал пакет в шкаф. Мы старинные приятели, я очень рад его видеть и желаю из первых уст узнать о том, какие новые свершения осуществил китайский народ под руководством великого кормчего. Однако Эгидио отчего-то не слишком расположен к задушевной беседе. Времени у него мало, утром он должен лететь в Париж, а оттуда — в Рио.

Вместо задушевной беседы о том, как подвигается строительство маоистской версии социализма в Поднебесной, он изъявляет желание немедленно, безотлагательно и спешно отправиться в публичный дом, в связи с чем и обращается ко мне с просьбой о небольшом денежном вспомоществовании. Китайские товарищи снабдили его ничтожной суммой, которой в обрез хватит на отель в Вене, такси до аэропорта, завтрак в Париже, — радости плоти сметой не предусмотрены. Итак, смогу ли я одолжить ему потребное количество шиллингов?

Меня такая торопливость повергает в удивление. Я знаю, что в Бразилии его ждет Мария-Паулистка[[26]](#footnote-26), дама столь же темпераментная, сколь и умелая, лучше и пожелать нельзя, и спустя сорок восемь часов он вместо продажных ласк сможет вкусить изысканных услад на законном ложе любви. К чему такая спешка? Зачем пробавляться пирожками с требухой тому, кого ждут истинные роскошества? Скефф, выказывая все признаки живейшего нетерпения, перебивает меня на полуслове:

— Жоржи, сегодня исполнилось полгода и пять дней, как я не знаю, что такое женщина. В Китае спать разрешено только с законной женой, а за блуд можно очень сильно поплатиться. Очень сильно. Шесть месяцев и пять дней полного воздержания! Поскольку китайские товарищи забыли меня кастрировать, я был вынужден обходиться своими силами и заниматься, друг мой, онанизмом! Больше я выдержать этого не могу.

— Неужели за полгода — ни разу, ни с одной китаяночкой?! Не может быть!

— Может. Строжайше запрещено. Не подумай, будто не отыскалось бы такой, что пошла бы мне навстречу, и даже с удовольствием, но... Кто ж решится на подобный риск? Помнишь, как сказал поэт: «Сколько нужно отваги!..» В Китае, друг мой Жоржи, страха побольше, пожалуй, чем целомудрия. Но Господь правду видит! Конец суходрочке! Долой рукоблудие! Сегодня — мой день! Дай, пожалуйста, шиллингов несколько...

Я достаю бумажник. Окрыленный Скефф, о чем-то пошептавшись с портье, пулей вылетает из дверей отеля.

## Парати, 1979

По приглашению Бруно Баррето, ставящего для «Метро-Голдвин-Майер» картину по мотивам моего романа «Габриэла», я приезжаю на съемки. Парати — дивное место, вполне достойное камеры оператора Карло де Палмы, но с какой стати снимать в этом уругвайском городке то, что происходит в зоне плантаций какао?! Парати ничем не похож на Ильеус — небо и земля. Не понимаю. После ужина Марчелло Мастроянни, играющий Насиба, рассказывает, какую телеграмму он отправил Софии Лорен несколько дней назад.

Великая актриса трижды намеревалась воплотить на экране моих героинь — и трижды дело срывалось. В начале 50-х итальянец Серджо Амидеи задумал снять кино по «Мертвому морю», написал сценарий, а на роль Ливии пригласил Лорен, делавшую в ту пору первые шаги в кинематографе. Он как-то раз даже показал мне письмо от нее. Она писала, что прочла роман, и замысел увлек ее. «С удовольствием сыграю эту бразильскую негритяночку». Ничего из этого не вышло.

Спустя сколько-то лет студия «МГМ» заключила с ней контракт на участие в трех фильмах, сценарий одного из которых написал по мотивам «Габриэлы» голливудский сценарист Дальтон Трамбо. Опять неудача — София забеременела, успев сыграть роль итальянской монахини лишь в первой картине, забеременела и расторгла контракт, а «МГМ» замены ей не нашла и от замысла своего отказалась.

И наконец Лина Вертмюллер пригласила ее на заглавную роль в «Тьету де Агресте», но тут лопнул банк, субсидировавший постановку, и съемки прекратились, не успев начаться. Мало того, София одновременно оказалась под судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даже провела день или два в тюрьме, пока дело не разъяснилось. В эти же дни Мастроянни пришлось ехать в Асунсьон, чтобы получить бразильскую «рабочую» визу. Из газет он узнал о задержании Софии и дал ей такую телеграмму: «Кто бы мог подумать, что наши с тобой карьеры завершатся столь плачевно: моя — в Уругвае, твоя — в тюряге».

## Париж, 1948

В тот год, в самом его начале, я отправлялся в Европу и вез с собой горячее желание лично познакомиться с писателями, вызывавшими мое восхищение, — с теми, чьи стихи и проза сделали годы войны не такими беспросветными. А вдруг, мечтал я, удастся посмотреть на них, сказать им какие-нибудь добрые слова, поблагодарить их, моих кумиров...

К ним относились Анна Зегерс, написавшая «Седьмой крест», Илья Эренбург, автор «Падения Парижа» и сотен статей, которые составили железную и огненную сагу о героизме русских солдат, Михаил Шолохов, создатель эпопеи о Доне, поэты французского Сопротивления — Поль Элюар и Луи Арагон. Так вышло, что почти со всеми я не только познакомился, но и подружился. Их доброе ко мне отношение — честь для меня.

Анна и Илья стали даже чем-то бґольшим, чем друзья, они меня духовно обогатили, сделали лучше. Поль Элюар, чудесный, редкостный человек, был мне как брат — таким, как Неруда, мы действовали вместе и заодно, я привлекал его к нашим бразильским делам: когда Престесу грозила тюрьма, он выступил на митинге солидарности.

Приходилось мне тесно сотрудничать и с Арагоном. Он организовал перевод и публикацию двух моих романов и еще до выхода отдельного издания напечатал в «Леттр Франсэз», который редактировал, мои «Красные всходы». С этого началась моя известность. Я испытывал к нему уважение, сознавал, что мы служим одному делу, но не раз и не два ссорился с ним и с его приближенными — в придворные я не гожусь, а в друзья не набиваюсь.

Михаил Шолохов разочаровал меня при первом же знакомстве. Я был в числе тех, кто встречал на вроцлавском вокзале прибывшую на Конгресс миролюбивых сил советскую делегацию, куда входил Шолохов. Пьяный, он вывалился из вагона на перрон, один-единственный раз почтил своим присутствием заседание, пьяный уехал обратно в Москву.

Чем больше я узнавал о нем, тем сильнее становилось мое отчуждение. О нем отзывались скверно — партийный функционер, аппаратчик, интриган, доносчик, провокатор, великорусский шовинист, дрожь пробирала от историй о его догматизме, о гнусном поведении в разных обстоятельствах... Не берусь судить, только ли твердокаменным ортодоксом, узколобым сектантом был он или же оказывал услуги тайной полиции.

В 1954-м на Втором съезде советских писателей он с трибуны поносил своих собратьев по перу, объявлял их врагами социализма, и Анна Зегерс, сидевшая рядом со мной, с негодованием бормотала: «Он фашист! Просто-напросто фашист!»

Такой ничтожный, такой мелкий человек — и такой грандиозный писатель, самый могучий романист после Льва Толстого. Только «Тихий Дон» может стать почти вровень с «Войной и миром». Я возмущался тем, как он вел себя, — и восторгался тем, чтґо он написал, и одно не мешало другому. Когда Солженицын вступил в борьбу с советской властью, с коммунистическим правительством, он, под рукоплескания многих, попытался доказать, что не Шолоховым созданы эти великие книги — отрицать их величие было бы нелепо, — а кем-то еще. Нет, я не поверил этим разоблачениям, ибо слишком хорошо знаю, что в политической борьбе все средства хороши, а Солженицын — шовинист в не меньшей степени, чем Шолохов, — ничем гнушаться не станет.

Да, все так: плохой человек, мелкая душа, доносчик, подлец, но от этого до многосерийного детектива с похищением и присвоением оригинала «Тихого Дона» — пропасть. Как бы ни был Шолохов мерзок и гнусен, он остается великим писателем.

## Франкфурт, 1976

На книжной ярмарке, проходящей в этом городе, на приеме, устроенном крупным немецким издателем, я, беседуя с Алфредо Машадо[[27]](#footnote-27) и Клаусом Пипером, вижу, что к нам приближается наш соотечественник, писатель Осман Линс.

— Вы знакомы? — спрашиваю Машадо.

— Лично — нет.

Я представляю их друг другу, и меня поражает реакция Линса: едва лишь звучат слова «Алфредо Машадо», пернамбуканец расплывается в улыбке:

— Так это вы? Я так хотел с вами познакомиться! Я стольким вам обязан! — восклицает он и, повернувшись ко мне, объясняет: — Жоржи, ведь это благодаря Алфредо меня стали переводить на немецкий! Ведь это он — не издатель, не брат и не сват! — человек, который меня вообще и в глаза-то не видел, взял да и отправил мои сочинения в одно западногерманское издательство, а те перевели и опубликовали! Он выступил как мой литературный агент, но с той лишь разницей, что не требовал комиссионных...

Да, таков был Алфредо Машадо: многие бразильские писатели именно ему, его благородной и бескорыстной инициативе, должны сказать спасибо за издание своих книг за границей. Я лично знаю нескольких человек, которым он помог, причем они и вправду не входили в круг издаваемых им авторов, не были связаны с ним личными отношениями. Для него значение имело лишь качество книги, лишь дарование автора.

Услышав стук в дверь, я неизменно отвечаю: «Если с добром — входи». И на этот раз с добром и с дружбой входит ко мне всебразильская знаменитость, теле- и кинозвезда, популярнейший актер Зе Триндаде, совершающий гастрольный тур по провинции, веселящий обитателей маленьких городков.

По тому, какой переполох начинается в доме среди прислуги, я могу судить об относительности собственной славы и известности и понимаю, что мне-то особенно тщеславиться нечего. Слышу, как кухарка Агрипина, узнав, кто пожаловал ко мне в гости, говорит Эунисе:

— Зе Триндаде?! Быть не может! Все-таки наш хозяин — человек не из последних, раз сам Зе Триндаде пришел к нему в гости!

И она права. Зе Триндаде — истинный народный кумир, хотят того или нет поборники элитарной культуры: дружба с ним и мой статус повышает, и мне весу придает. Агрипина, Эунисе, Детинья толпятся в коридоре, заглядывают в полуоткрытую дверь. Я приглашаю их в кабинет, и они, не сводя обожающих глаз со своего любимца, входят, робко протягивают ему руки, он поочередно обнимает их, корчит свою знаменитую, «фирменную» телегримасу, и дружный хохот поклонниц раскатывается по всему дому.

## Прага, 1951

В одной из многочисленных статей, заметок, репортажей, которыми мировая печать откликнулась на кончину моего доброго друга, замечательного писателя Альберто Моравиа, упомянут и я — в довольно забавном контексте.

Обозреватель газеты «Република» с возмущением отметил вопиющую несправедливость: Моравиа умер, так и не удостоившись Нобелевской премии. А произошло это, пишет он, — вернее, не произошло — из-за упорного сопротивления члена Шведской академии Артура Лундквиста[[28]](#footnote-28), одного из тех пятерых, кто ежегодно называет имя очередного лауреата. «Это тот самый Лундквист, — продолжает обозреватель, — кто добился, чтобы премию не получили ни Казандзакис, ни бразилец Жоржи Амаду». Боже, мое имя! Нобелевская премия... бальзам на душу... приятнейшая и очень лестная неожиданность, ибо я и не подозревал, что моя кандидатура когда-либо вообще рассматривалась. Мне даже и не обидно, что шведы меня оттерли.

Что же до этого случая, то мой друг и кум Пабло Неруда, друживший с Лундквистом, который переводил его стихи из «Всеобщей песни», сказал мне как-то: «Артур приходит в бешенство при одном упоминании твоего имени, не может простить тебе твоего вето — помнишь историю с Сибелиусом? Я пытался втолковать ему, что ты ни при чем, но куда там... Слышать ничего не желает». Год спустя другой мой кум, Мигель Анхель Астуриас — Нобелевский лауреат, между прочим, — в Париже, за ужином, тоже достойным какой-нибудь премии, спросил меня: «Кстати, Жоржи, что за история там вышла с Сибелиусом? Лундквист пышет на тебя злобой». Я утираю струящийся по подбородку соус — о, как готовят в этом ресторане седло барашка! — и говорю, что у шведа есть все основания негодовать. Расскажу без утайки отчего.

В том же 1949 году, когда организовали Комитет защиты мира, решили ежегодно присуждать и три международные премии «За укрепление мира между народами» — медаль, диплом и пятнадцать тысяч долларов — виднейшим деятелям науки, литературы и искусства. Создали комитет, призванный определять достойнейших. В это жюри вошли руководители борьбы за мир, председателем избрали Пьера Кота, секретарем — автора этих строк. В мои обязанности входил «первичный отбор» кандидатов на лавры и доллары, я же должен был знакомить с их досье прочих членов жюри, а главное — советских вождей, которые и держали в руках вожжи нашего комитета. Не скрою, должность эта давала мне известное пространство для маневра, не все, но кое-что от меня зависело: я мог влиять на принятие окончательного решения. А скандинавских борцов за мир представлял в комитете шведский академик Артур Лундквист.

Напоминаю, что Международную Сталинскую — после переименованную в Ленинскую — премию «За укрепление мира между народами», награду престижную и почетную, получили в разное время Пикассо, Чарли Чаплин, турецкий поэт Назым Хикмет, исландский прозаик (впоследствии — Нобелевский лауреат) Хальдоур Лакснесс, голландский кинематографист Йорис Ивенс, Ванда Василевская, Рафаэль Альберти, Шостакович, Леопольдо Мендес[[29]](#footnote-29) и бразилец Жозуэ да Кастро[[30]](#footnote-30).

В 1951 году Лундквист выдвинул кандидатуру финского композитора Яна Сибелиуса, но еще до того, как номинация прошла официально, меня призвал для доверительной беседы Александр Корнейчук, драматург — я видел в Москве спектакль по его пьесе, и это было ужасно, — вице-президент — или как это тогда называлось? — Украины, член ЦК КПСС. В миру, так сказать, в свободное от государственных забот и партийных обязанностей время это был вполне приятный человек, не дурак выпить, любитель и ценитель женского пола — отлично помню, как в 1952 году в Вене на Всемирном конгрессе в защиту мира я познакомил его с актрисой Марией делла Коста, членом нашей бразильской делегации, и Корнейчук влюбился в нее без памяти, потерял голову. Мне это его свойство весьма симпатично.

Однако в тот день, когда он пригласил меня к себе, мы говорили не о любви. Уперев палец в то место в списке, где значилось «Сибелиус Ян, Финляндия», Корнейчук категорично и безапелляционно заявил:

— Этот — никогда!

Сибелиус, знаменитый композитор и пламенный патриот, написал немало произведений, прославлявших мужество своих соотечественников, которые в 1939 году, во время советско-финской войны, героически сражались с Красной Армией, многократно превосходящей их численно и неизмеримо более мощной. Даром это ему не прошло — его внесли в некий индекс, то есть запретили исполнять его музыку, и вообще одно упоминание этого имени вызывало в Москве очень сильное раздражение. Корнейчук, женатый на Ванде Василевской, советской писательнице польского происхождения, советнице Сталина, даме сурового нрава и непривлекательной наружности, узнал от нее, что кандидатура Сибелиуса выдвинута на премию, еще прежде, чем я подал ему список претендентов. Без одобрения Кремля о премии нечего было даже и думать.

Я сказал Корнейчуку о том, что Пьер Кот, председатель жюри, поддерживает Сибелиуса, но это не произвело никакого впечатления: «Передайте Коту, что Сибелиус — это исключено». Пьер Кот, виднейший политик, депутат, бывший министр, один из самых верных союзников французских коммунистов, сильная личность, в полном сознании своей роли, своей значительности — и при этом в полном бешенстве: только что дым из ноздрей не шел — отправился к Корнейчуку, чтобы поставить вопрос ребром: «Кто в конце концов решает, кому дать премию?! Международный комитет или ЦК КПСС?» «Буду держать вас в курсе», — пообещал он мне, и я с почтительным восхищеним поглядел вслед этому человеку, оценив его принципиальность и отвагу — вот, стало быть, из какого материала кроятся герои!

Он вернулся кроткий и тихий, вместе с Жолио-Кюри, нашим председателем, великим ученым, Нобелевским лауреатом и убежденным коммунистом. Можно было не сомневаться, что это он помог Коту стерпеть унижение и пережить несколько весьма неприятных минут, когда имя Сибелиуса было вычеркнуто из списка. Лундквист, Лундквист — вот кто оказался орешком покрепче, вот кто, по баиянскому присловью, жабу глотать не пожелал, на попятный не пошел, а, наоборот, — вышел и отошел: вышел из жюри, из Комитета и Совета, а отошел — от Движения сторонников мира. Вернулся в свою Шведскую академию. Не знаю, рассорился ли он с Корнейчуком и с Котом, — вряд ли. Что ж, я не снимаю с себя ответственности, доля вины лежит и на мне, хоть я и был всего лишь соучастником преступления, и не самым главным к тому же. Однако, как не раз уж бывало в моей жизни, целиком и полностью виноватым в глазах Лундквиста оказался я — именно при таких вот обстоятельствах случалось мне обзаводиться самыми искренними, самыми непримиримыми врагами.

Если Лундквист, так яро возражая против выдвижения моей кандидатуры на Нобелевскую премию, мстил за Сибелиуса, — он в своем праве. Если он отказывал мне в награде, исходя из того, что мои сочинения никуда не годятся, — тоже все резоны налицо. Я пишу не для премий, не в чаянии награды, у меня другие мотивы для творчества, другие источники вдохновения, и то, что я не получил «нобелевку», меня не слишком огорчает: мне всегда казалось, что я ее недостоин, я знаю свои возможности и свои слабости лучше всех критиков, шпыняющих меня и разбирающих по косточкам мои книги. Жалкий жребий — писать для премий, творить для награды, пусть даже самой высокой, самой почетной, и даже если кандидат в кандидаты стократ ее заслужил, все равно есть в этом что-то принижающее, что-то мелкое...

Я знаю таких, видал и в Португалии, и в Бразилии, как мечутся они и суетятся, как гложет их тревога, томит ревность. Глубина и сила их страсти вызывали бы уважение, не будь так комичен повод. Они несутся наперегонки, подстраивают соперникам всякие пакости, они не то что упиваются — захлебываются саморекламой... Грустное зрелище, жалкое зрелище. И для них Нобелевская премия — не сладкий сон, а тяжкий, повторяющийся кошмар.

## Лиссабон, 1974

Мы въезжаем в Португалию через пограничный городок Элвас. Зелия ведет наш «Пежо-504», до отказа набитый багажом. Тогда мы возвращались домой морем, целую неделю плыли через Атлантику, предаваясь блаженному безделью, я вез с собой домой, в Баию, несколько ящиков книг и столь любимых мною кустарных изделий всякого рода. Это сейчас: одиннадцать часов лёту, лёту и ужаса, а в багаже — два тощих чемоданчика. Называется «прогресс».

— Пожалуйста, любовь моя, не гони: может быть, мы в последний раз в Португалии, дай рассмотреть все как следует, рассмотреть и запомнить, — прошу я.

На границе нас долго опрашивают люди в форме, проверяют документы, требуют открыть все ящики. Такого не было и в салазаровские времена. Терпение мое лопается, и когда таможенник осведомляется, а что это у вас вон в том ящике, похоже, вы специально спрятали его в машине, отвечаю: «Да так, оружия немножко, боеприпасы, бомбы...» По счастью, капитан оказывается поклонником «Габриэлы», просит автограф, не чинит препятствий машине, книгам, путешественникам.

Я ужасно люблю эти края, особенно летом — люблю здешние цветы, дома, людей. В одной из здешних деревушек родилась песня, давшая сигнал к восстанию, которое обернулось «революцией гвоздик»[[31]](#footnote-31), — «Грандула, моя смуглянка...» Поезжай потише, Зезинья, дай полюбоваться на эти горы и долы.

Португальская компартия рвется к власти, как голодный к хлебу, распихивает и отталкивает всех, кто станет на дороге. У премьер-министра Васко Гонсалвеса, может, и нет в кармане партбилета, но он — наверняка среди вернейших сторонников коммунистов, речи его мне до боли знакомы, так и хочется сказать: «Ох, ребята, я это кино уже смотрел!» Как будто мало образцового догматика-сектанта Алваро Куньяла[[32]](#footnote-32) и других партий, как грибы после дождя возникших, тоже называющих себя пролетарскими, тоже возглавляемых интеллектуалоидами, с программами еще более узколобыми и косными, — выписали из Бразилии махрового сталиниста Арруду Камару, чтобы начал чистки... Издатель Шико Лион да Кастро рассказывает, что коммунисты уже попытались завладеть его компанией «Эуропа-Америка», первый натиск он отбил, но что будет дальше, одному Богу ведомо.

В отеле «Тиволи», где два или три этажа целиком заняты белыми и чернокожими беженцами из Анголы, Фернандо Намора[[33]](#footnote-33) говорит мне о том, что страшит его больше всего:

— Придет диктатура, дорогой Жоржи, диктатура в наихудшем ее варианте — та, против которой нельзя будет бороться, которую нельзя даже слегка порицать. Только попробуй рот раскрыть — объявят, что ты продался с потрохами, что ты предатель и изменник, с грязью смешают. Тот, кто боролся с Салазаром, — патриот и храбрец, а тот, кто скажет слово против Куньяла, — распоследний фашист! Господи, спаси и сохрани нас от диктатуры левых!

Не знаю, Господь ли упас, разум ли возобладал, но этого не случилось. Из рук Рамальо Эанеша страну принял Марио Соареш — демократический корабль плывет и не тонет. Я никогда не сомневался в справедливости народной поговорки «Бог — бразилец», но у меня есть веские основания предполагать, что недавно он эмигрировал и обосновался в Португалии.

## Париж, 1974

Моя страсть к футболу едва-едва не стоила мне дружбы с Франсуазой Ксенакис. Какое счастье, что у нее хватило юмора и снисходительности не обидеться на бразильского невежу, который, когда она учтиво осведомилась, удобно ли мне будет дать ей интервью тогда-то и тогда-то, заорал в ответ:

— Совершенно неудобно! Да вы с ума сошли! Наши с поляками играют!

Это случилось как раз во время первенства мира — оно сложилось для нас в высшей степени неудачно. А матч должен был решить судьбу бронзовых медалей, и мы его проиграли. Я уже после того, как упился горечью поражения, понял, какой промах допустил — рявкнул как самый оголтелый болельщик... Впрочем, все мы тогда стали болельщиками — Бразилия ведь некогда была трехкратным чемпионом мира... Это сейчас мы сникли, как тростник под ветром.

Сказать такое даме, француженке, интеллектуалке, которая намерена сочинить литературный репортаж о тебе, о твоем творчестве и о том, что вот вышел в свет перевод твоего нового романа, — это, пожалуй, не промах и даже не вопиющая бестактность, а непростительная ошибка. В книжные магазины только что поступила французская версия «Лавки Чудес», и верный друг Франсуаза, ведущая в «Матэн» колонку, посвященную литературе и книжным новинкам, предлагает встретиться и побеседовать — какая реклама роману! — дает тебе место на страницах своей респектабельной газеты, хочет взять интервью — а ты, недоумок, заявляешь, что нет, мол, занят, футбол буду по телевизору смотреть! Ну не идиот ли? Думаю и надеюсь, что Франсуаза таковым меня и сочла, а потому всерьез не приняла и не обиделась. На убогих не обижаются.

Мы давно дружим. Франсуаза считает, что это я вправил ей, как она выражается, мозги — еще в 1949-м, прочитав «Les chemins de la faim»[[34]](#footnote-34) (так озаглавили переводчики мой роман «Красные всходы»), она увлеклась коммунистическими идеями — ненадолго, и литературой — на всю жизнь. В 60-е годы Франсуаза, вспоминая свои девические впечатления, написала мне, что целый год каждый день посылала бы по розе тому, кто решился бы переиздать «Всходы». Так и не вянут с тех пор эти розы — розы дружбы.

## Фазенда «Ловера», Сан-Пауло, 1960

Нам с Зелией выпала честь сопровождать Симону де Бовуар и Жан-Поля Сартра по Бразилии. Путешествие вышло восхитительным и веселым. Наибольший успех выпал на долю писателя и философа в Араракаре, где он читал взбудораженным студентам лекцию об экзистенциализме. Это был настоящий триумф. Оттуда мы вернулись в столицу штата Сан-Пауло, собираясь переночевать в загородном имении Жулио де Мескита Фильо — на фазенде «Ловера».

Приютивший нас главный редактор газеты «Эстадо де Сан-Пауло» собрал в тот вечер многочисленное общество, благо повод был из ряда вон выходящий — не каждый день приезжают в Бразилию две, можно сказать, мировые знаменитости. Газета занялась «освещением пребывания» всерьез: приставила к Сартру и Симоне репортера, повсюду, по всей Бразилии сопровождавшего именитую чету; писала о каждом их шаге во всех подробностях; кроме того, дополняла эти репортажи и хронику серьезным критическим разбором всех лекций и высказываний, полемизируя с левацкими взглядами дорогих гостей. Сартр в ту пору жил одним — независимостью Алжира, был и знаменосцем, и рупором патриотов, сражавшихся с французскими колониальными войсками.

Газета писала о нем с должным уважением, не жалела восторженных отзывов и прочувствованных похвал в адрес виднейшего романиста-драматурга-эссеиста-философа, чьи книги оказали огромное влияние на образ мыслей интеллигенции в разных странах. И одновременно беспощадно критиковала его политические воззрения — именно с ними наперевес французское студенчество восемь лет спустя ринется на штурм Парижа. То есть «Эстадо де Сан-Пауло» вела себя как должно — и как обычно газеты себя не ведут.

...Ужин был грандиозный, не знаю, право, на сколько персон. Собралось все, что было в Сан-Пауло значительного и заметного: промышленные магнаты, финансовая знать, политические сливки, интеллектуальная элита. Роскошное угощение, разливанное море всевозможнейших напитков, знаменитые афро-бразильские сласти и лакомства, несравненные наши фрукты — и при этом никакой чопорности. За центральным столом сидели устроители пира и почетные гости. Я издали следил за их оживленной беседой, хотя говорил больше Жулио, блистая своим вывезенным из Сорбонны французским, а Сартр внимательно слушал.

— Могу себе представить, каких гадостей старик наговорит французу, — со смехом шепнул мне на ухо мой сосед по столу Карлан, сын Жулио.

Диалог французского философа и бразильского журналиста продолжался весь вечер, а мы с Карланом — какая жалость, что этот многообещающий парень так рано умер, до сих пор все скорблю об этой потере... — наблюдали за ним, придумывая, о чем именно идет сейчас речь: наверно, Жулио со свойственным ему красноречием убеждает пламенного революционера и отца экзистенциализма примкнуть к де Голлю. Жулио ораторствовал, Сартр помалкивал, мы помирали со смеху.

Когда же торжество наконец подошло к концу, мы проводили Сартра и Симону в отведенные им покои — другое слово было бы тут неуместно. И при виде ночной вазы из старинного фаянса из груди Сартра вырвалось восторженное «ах!», а Симона захлопала в ладоши. Перед тем как пожелать гостям доброй ночи, мы осведомились, понравился ли им ужин. Сартр, хоть и видал виды, привык к обществу знаменитостей, грандов политики и литературы и сильных мира сего, признался, что потрясен:

— Я в жизни своей не встречал никого, подобного месье Мескита, — он сделал ударение на последнем слоге. — Это поразительно! Мне никогда не приходилось видеть такого дремучего мракобеса, такое ископаемое. Вы представить себе не можете, что он говорил! Порой мне чудилось, что я перенесся в средневековье!

За поздним временем я не стал объяснять Сартру феномен Жулио Мескиты, решил, что сделаю это по дороге в Сан-Пауло. Однако мои комментарии не понадобились — наутро все разъяснилось само собой. Может, разъяснилось, а может, запуталось еще больше, не знаю.

После плотного завтрака на фазенде хозяин повел гостей на свои кофейные плантации, тянувшиеся до самого горизонта. Жулио шел впереди с Сартром и Симоной, говорил и объяснял, а мы, окруженные домочадцами, следовали в некотором отдалении, чистосердечно восхищаясь пышной блестящей листвой кофейных деревьев.

Потом, уже в автомобиле, мчавшем нас в столицу штата, я заметил, что Сартр находится в некотором смятении, пребывает в сомнениях и даже растерянности. Поколебались какие-то устои. Он сказал мне приблизительно следующее:

— Эта ваша Бразилия — абсурдная страна. Ты говорил, что тут царствует сюрреализм, но этим всего не объяснить... У вас нет логики, тут ни в чем нельзя быть уверенным непреложно. Только покажется, что понял, как тут же сознаешь — нет, ошибся! Истина опять уплывает куда-то, не дается в руки. — Он поглядел на Зелию и на меня и продолжал просительным тоном: — Объясните, как это может быть: такой зашоренный, узколобый ретроград, как месье Мескита, когда начинает говорить о кофе, вдруг в одно мгновенье превращается в истинного поэта, в человека с нежной и трепетной душой?! Да-да, он настоящий поэт, и то, что он говорил мне, чистейшая лирика... Я счастлив, что познакомился с ним.

## Сан-Пауло, 1988

Зелия отправилась проведать Луиса Карлоса, своего сына от первого брака, а ко мне в отель пришел мой брат Жоэлсон. За обедом он сообщает, что берет уроки рисования.

— Рисования? — с улыбкой и уже ничему не удивляясь, переспрашиваю я.

— Да. И делаю успехи, — вполне серьезно отвечает он.

Доктор Жоэлсон, средний брат, лучший из троих сыновей, которых произвели на свет дона Эулалия и полковник[[35]](#footnote-35) Жоан Амаду де Фариа. Многие годы он заведовал отделением нейропедиатрии в госпитале штата Сан-Пауло, вел обширную частную практику, лечил от колик и насморка детей и внуков миллионеров и знаменитостей. Все члены регионального комитета компартии приводили к нему своих отпрысков — с единомышленников он денег не брал. Клиника его занимала целый этаж в медицинском комплексе, выстроенном в центре города.

В ту пору у него положительно не было свободной минутки, ибо он должен был не только руководить клиникой и практиковать, но и вести светскую жизнь — бывать на приемах, на коктейлях и званых вечерах. В семь утра Жоэлсон уже приезжал на работу, обедал на бегу, а у тарелки, отбивая аппетит, лежал пейджер. Он недосыпал, и ему ни на что не хватало времени — ни на прогулки, ни на путешествия, ни на развлечения, ни тем более на блаженную и плодотворную праздность. Жизнь его смело уподоблю бегу белки в колесе. Затурканный и загнанный, смертельно усталый, он становился все более замкнутым, все сильнее погружался в себя, все реже улыбался, все чаще раздражался по пустякам. Я стал о нем тревожиться.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: начались у него серьезные неполадки с глазами, грозила слепота, пришлось бросить клинику и лечь на операцию. Светило нашей офтальмологии доктор Хилтон Роша спас ему остатки зрения. Так что Жоэлсон поневоле оказался не у дел, появился у него досуг — и тогда он принялся лихорадочно наверстывать упущенное, начал, одним словом, жить. Появилось, как по волшебству, множество новых и самых разнообразных увлечений и интересов, о которых он прежде и не подозревал. Брат мой преобразился неузнаваемо. Веселый, словоохотливый, душа нараспашку — экстраверт, по-ученому говоря, счастливейший из смертных.

Он играет в любительских спектаклях, танцует танго, декламирует стихи, занимается гимнастикой и плаваньем, а теперь еще, словно мало всего вышеперечисленного, вздумал брать уроки рисования. Он колесит по свету, разгуливает по улицам, всегда окружен сыновьями, невестками и внуками, племянниками и крестниками, готов принять участие в любых увеселениях и забавах или же дать добрый и дельный совет каждому из своей многочисленной родни.

Жамес, самый младший из троих братьев Амаду, как-то раз увидел Жоэлсона в любительском спектакле — уж не помню, поднос ли он там выносил или стучал алебардой, — и игра произвела на него сильное впечатление, которое он облек в несколько загадочную словесную форму:

— Умереть не встать!

Я не спортсмен, никаких рекордов за мной не числится, никаких решительно. Впрочем, вру. Один все же есть, и я его вам предъявляю. Я пересек всю Бразилию из конца в конец, будучи политзаключенным. Может, и не я один, но все же в этом чемпионате я принимал участие.

В самом начале 1937 года, накануне переворота, провозгласившего страну «Новым государством»[[36]](#footnote-36), меня арестовали в Манаусе по обвинению в том, что, вступив в преступный сговор с фольклористом Нунесом Перейрой, я готовил вооруженный мятеж амазонских индейцев, — ни больше ни меньше. Отсидел два месяца за решеткой, и меня отправили на корабль «Педро Первый» и отдали под присмотр шпика, приехавшего под Новый год навестить родню. Дней этак через двадцать я вновь ступил на твердую землю — высадился в порту Рио-де-Жанейро, проплыв таким образом вдоль всего бразильского побережья. В Белене полиция устроила пьянку, а меня, чтоб не мешался, заперла в трюме. На прочих стоянках я пользовался относительной — в пределах корабля — свободой. В Рио меня отвезли в полицию, и ночью я вышел на свободу.

А вернувшись в августе 1942 года из Уругвая, обосновался в Порто-Алегре и каждый вечер приходил в редакцию газетки «Коррейо ду пово» читать последние телеграммы с театров военных действий и болтать о всякой всячине с журналистом Раулем Риффом. Мы как раз ужинали с ним в ресторанчике напротив, когда в полночь меня снова загребла полиция, продержала до утра в участке, а потом посадила в поезд, дав в попутчики инспектора. Путешествие из Порто-Алегре до Рио длилось четыре дня, там мы пересели в другой поезд, добрались до Сан-Пауло. В тамошней тюрьме провел я несколько месяцев, но выпустили меня очень вовремя — я как раз поспел к Рождеству на фазенду полковника Амаду и супруги его доны Эулалии.

## Баия, 1967

В пять утра телефонный звонок срывает меня с кровати. Отец Жозе Луиса Пены, сокурсника моего сына Жоана Жоржи, сообщает, что наших сыновей и еще сотню студентов, устроивших манифестацию протеста, забрали в полицию. Это не первая отсидка Жоана Жоржи и, как покажет время, не последняя.

Я решаюсь разбудить Вильсона Линса, испытанного друга, человека, вхожего в очень высокие кабинеты. Звоню. Трубку снимает сам Вильсон:

— Я только что из полиции, буквально сию минуту вошел. Удалось освободить почти всех, больше ста человек. Осталось восемнадцать самых заядлых и буйных. Их допросят и отпустят. Твой Жоржи — в их числе. Я виделся с ним, он цел и невредим. Артур Сампайо тоже там.

Как же туда угораздило попасть сына Мирабо? Такой тихий, законопослушный мальчик — серьезный, положительный, прилежный, учится на факультете управления, чтобы стать менеджером самого высшего звена. И станет, можно не сомневаться. Он, как и все студенты, настроен к режиму оппозиционно, однако всего лишь из чувства солидарности с товарищами, насколько я знаю, в списках закоперщиков, которых так опасаются «гориллы», не значится. Как же он затесался к восемнадцати смутьянам?

«Из-за сестры», — объяснил мне Артур, когда вышел на волю. Оказывается, он заступился за нее и в свалке треснул полицейского. А Мария Сампайо остра на язык и решительна, полумер и компромиссов не признает, удержу не знает, настоящая юная Пасионария.

Это она несколько дней назад устроила беспримерную по размаху — я, по крайней мере, подобного не припомню — студенческую манифестацию в театре «Кастро Алвес» по поводу того, что жюри, в состав которого входили, среди прочих, и Доривал Каймми, и я, присудило что-то не тому, кому следовало. И совершенно неважно, что победили лучшие, важен был повод: молодежь тотчас взяла сторону проигравших и устроила громоподобный ор. Свистели, улюлюкали, а дирижировала этим кошачьим концертом она, Мария Сампайо. «Предатели!» — вопили они.

— Да кого ж мы предали? — недоуменно вопрошал Каймми. — Мы дали приз самым достойным.

«Достойным!» Как будто в этом дело! Я так и вижу эту юную красотку — вскочив на сиденье своего кресла, она вопит: «Долой! Долой!» И кому же? Дяде Доривалу, дяде Жоржи, которых она знает с младенчества и искренне любит. Любовь не спасает от юношеской нетерпимости, от желания громить, крушить, ниспровергать.

Лет, наверно, двадцать кряду я не желал исполнять закон о всеобщей воинской обязанности. Признаю себя виновным в том, что уклонялся от этой повинности и не отзывался на призыв явиться на призыв. Не хотел я состоять в рядах наших вооруженных сил. Я — противник милитаризма, ненавижу все, от чего несет казармой и муштрой, на дух не переношу мундир и субординацию. Короче говоря, я — дезертир.

Когда собирались забрить в первый раз, Анизио Тейшейра, человек в Баии заметный и влиятельный, похлопотал за меня перед каким-то генералом, и я на год получил отсрочку от призыва. Минул год, но я на сборный пункт не явился, куда-то смылся и перешел тем самым в разряд уклоняющихся от действительной воинской службы. Лиха беда — начало, и следом за первым шагом сами собой сделались следующие, ибо пришлось жить без документов, удостоверяющих, что я свой долг перед отчизной исполнил. Чувствовал я себя не слишком-то уютно.

Когда в 1945 году я стал кандидатом в депутаты Федерального собрания, то не сумел приложить военный билет к списку предъявленных документов. Пообещал привезти через сутки, но, разумеется, не привез, ибо где мне было этот билет взять? Спасло мое избрание лишь наше легендарное бразильское разгильдяйство — никто в избирательных и мандатных комиссиях не хватился недостачи.

Потом начались преследования коммунистов, наши мандаты аннулировали, и партия решила послать меня в Европу — чтобы раструбить о том, как попирает режим права человека и парламентария, в грош не ставя депутатскую неприкосновенность. Легко сказать — послать и трубить! А как получить заграничный паспорт, если нет военного билета? Джокондо Диас счел, что для этого мне надо ехать на родину, в Баию, где воинским начальником был знаменитый генерал Лобо. Правда, это он теперь генерал, а в ту пору был полковником, и в бытность свою капитаном охранял и сторожил в Ресифе Грасилиано Рамоса[[37]](#footnote-37), который и обессмертил его в своих «Воспоминаниях о тюрьме». Он хороший человек, сказал мне Диас, знающий жизнь и людей.

Когда я предстал перед хорошим человеком Лобо, тот расхохотался:

— Дело ваше я отправляю в архив, вам уже исполнилось тридцать пять лет, а потому вы и переходите в запас последней очереди. Все бумаги уже оформлены, только фотографии вашей не хватает, принесли?

Я принес. Он взял ее и протянул ординарцу, а мне сказал:

— Остались пустяки: сейчас выстроим людей, вызовем оркестр, вы принесете присягу у развернутого знамени, а я скажу речь. И все.

Так оно и было. Гром духового оркестра, взявшие «на караул» солдаты, склонившееся ко мне и осеняющее меня знамя, яростная антикоммунистическая речь Лобо и моя клятва в верности Бразилии. Потом я получил военный билет и из разряда «уклоняющихся» перешел в разряд «ограниченно годных».

Впрочем, милитаризм и военщину я по-прежнему терпеть не могу.

## Баия, 1970

С наслаждением слушаю Стелу Марис — под этим именем поет блюзы Аделаида Тостес, которую мы когда-то выдали замуж за композитора Доривала Каймми. В окружении родственников и приживалок Стела в своем баиянском доме на Педра-де-Серейа увлеченно повествует о том, как кто-то из ее бесчисленных племянников — имя же им если не легион, то взвод, по крайней мере, — оказал внимание своей кузине, которой и пятнадцати еще не было, одарил ее благодатью, сорвал цветок осточертевшей ей невинности. Так звучит история в моем пересказе, а наша певица излагает ее красочным соленым классическим языком Грегорио де Матоса[[38]](#footnote-38):

— Засадил ей во все дырочки — спереди и сзади...

Гостящая у Каймми престарелая тетушка из провинциального захолустья Минас-Жерайс, которая овдовела уже лет двадцать как и с тех пор устремила помыслы к возвышенному, не пропускала ни одной мессы, не знает растленных нравов, бытующих в больших городах, и потому переспрашивает в сильном удивлении:

— То есть как — сзади? Да разве же туда — тоже...

— Тоже, тетушка, тоже, да еще как!

Богомольная старушка содрогается всем телом:

— Царица небесная! Вчуже страшно!..

## Баия, 1964

Поговорим о языковых тонкостях. Считается, что у нас в Бразилии, у меня в Баии говорят на том самом языке, что завезли когда-то в Америку португальцы. Что из этого вышло — сейчас узнаете.

...Моего друга Луиса Форжаза Тригейроса в Лиссабоне все дружно уверяли, что в Баии, куда он собирался, круглый год стоит изнурительная жара, а потому он велел своей Марии-Элене положить в чемодан только самую легкую, самую летнюю одежду. Так он и прибыл к нам — элегантно раздетый и совершенно не готовый к суровому тропическому лету.

Однако на город налетел циклон, уничтоживший сенегальский зной, и стало не то что прохладно, а просто холодно. Писатель начал замерзать. Стужа продолжалась. Что было делать? Утепляться. Луис навел справки и отправился на улицу Чили, где помещаются самые фешенебельные и дорогие магазины, торгующие одеждой. И вот внимание его привлекло то, что должно было согреть ему грудь, спасти от простуды, гриппа, пневмонии (Луис считал, что у него слабые легкие и он предрасположен к бронхитам). В витрине была выставлена некая вещь из чистой шерсти, подходящая по всем статьям — и цветом, и фасоном, вещь скромная и шикарная.

— Вот эту вишневую фуфаечку покажите, пожалуйста, — сказал он продавцу, улыбаясь с присущей ему доброжелательной деликатностью.

Продавец был не менее любезен.

— Сударь, — ответствовал он. — Здесь продаются, к сожалению, только товары для мужчин, но в магазине напротив, через дорогу, вы найдете огромный выбор самых разнообразных «фуфаечек» для дам любого возраста и внешности.

Луис, видя, что его не поняли, сделался более настойчив:

— Я просил фуфайку...

— Нету, не торгуем! — повысил голос продавец, решивший, что симпатичный иностранец несколько туг на ухо.

— То есть как это «не торгуем», если я только что видел в витрине вишневую фуфайку моего размера?!

Продавец растерялся: клиент мало того, что был глуховат, изъяснялся к тому же на каком-то непонятном языке: не по-испански, не по-французски и уж точно — не по-английски. Понимая, что попал в переплет, он засмеялся и почесал в затылке.

«А-а, он слабоумный», — сообразил Луис и, решив не тратить больше слов, мягко взял паренька за руку — с дурачками надо действовать решительно, но не грубо, — подвел его к витрине и, внутренне торжествуя, указал на выставленный там предмет:

В ответ раздался смех — не обидный, а снисходительный:

— Сударь. Примите к сведению, что вещь, которую вы желаете приобрести, называется по-португальски «джемпер цвета бордо». Что ж вы сразу не сказали? Отличный выбор, делает честь вашему вкусу — замечательный пуловер и поразительно дешево.

...Когда я вошел в номер Луиса, он как раз примерял вишневую фуфайку, или джемпер цвета бордо, и, слабо пока разбираясь в хитросплетениях бразильской действительности — это приходит с годами, — негодовал:

— Этот щенок произнес два слова английских, одно французское и еще внушал мне, будто говорит на настоящем португальском языке!

— На настоящем португальском языке, Луис, на том, который в ходу у нас в Бразилии.

Сегодня Луис Форжаз Тригейрос бодро и бойко лопочет на загадочном наречии: в городе полукровок и язык — метис, но создавая свою текучую и изысканную прозу, остается верен заветам великого Камоэнса.

## Москва, 1954

Обед у Эренбургов. Лида, их домоправительница, — моя горячая поклонница: она из кожи вон вылезет, чтобы угодить своему любимому автору, и обед выйдет на славу. А хозяин дома в своем кабинете получает от редактора «Правды» партийные установки: надо написать серию статей на международные темы, лучше Ильи с этой задачей не справится никто. Ожидая, пока кончится накачка, мы попиваем вино из погребов доктора Геббельса.

Некоторое время назад Илье позвонил президент Академии наук, человек, причастный к высокой политике, и доверительно сообщил ему нечто сенсационное — новость из первых рук, привилегия очень и очень немногих... Ошеломительная информация...

— Берию приговорили к смерти? — спросил Илья: дело было как раз во время суда над бывшим главой советской тайной полиции.

— Да при чем тут Берия?! — взорвался академик. — Берия, Берия... Серьезнейшее дело, а ты с этой ерундой... Мне стало достоверно известно, что завтра утром в одном из центральных гастрономов будут продавать коллекционные вина из погребов Геббельса. И я советую тебе встать пораньше и приехать к открытию магазина — тогда, может быть, сумеешь набрать побольше.

Среди прочих трофеев, взятых Красной Армией после падения Берлина, оказалась и огромная коллекция самых редких, самых тонких и изысканных вин, награбленных немцами по всей Европе, и прежде всего во Франции. Десять лет хранились они неизвестно где, и теперь, перелитые в бутылки с лаконичной этикеткой «Вино», поступят в продажу по смехотворно низким ценам — дешевле, чем ординарные столовые вина из Молдавии и Грузии. Илья и Люба встали спозаранку, подняли «в ружье» Лиду, Лидину мать, шофера, двух секретарш, родителей означенных секретарш, дочь Ирину, зятя, короче говоря, объявили тотальную мобилизацию, и их сводный батальон, явившись к открытию, сумел захватить чуть больше восьмидесяти бутылок. Вскоре у дверей гастронома выросла огромная очередь: люди хватали и платили, не спрашивая, что хватают, за что платят, действуя по известной поговорке «дают — бери», и это было вполне в духе времени.

Дальше началась знаменитая «русская рулетка» — откупоривание и дегустация безымянных вин: мы пытались по вкусу и букету определить год и страну изготовления, тип и сорт, возраст, выдержку. Все оказалось самого высшего класса, истинным нектаром, появление коего в открытой продаже смело уподоблю событию, не уступающему в судьбоносном значении своем смерти Сталина, открытию ХХ съезда КПСС. Сами понимаете, что разоблачение Берии никак не вписывается в этот грандиозный ряд, оставаясь мелочью, эпизодом, внимания не заслуживающим... Итак, мы ждали хозяина, дегустировали и закусывали икрой, осетриной и загадочной рыбкой шпроты — кто еще не пробовал, пусть поспешит, очень рекомендую.

Но вот из кабинета появились Илья и редактор «Правды», которому тоже было предложено отведать геббельсовских изысков. Но он предпочел водку — опрокинул рюмку и распрощался. Эренбург взял бутылку красного, налил, попробовал, сообщил, что это бордо, и стал потягивать его маленькими глоточками, смакуя и рассказывая, на каких именно виноградниках созревали дивные ягоды, в каких подвалах выдерживался благородный напиток и сколько ему лет. Познания его в этой области легендарны. Пока накрывали на стол и подавали обед, он кое-что поведал и о недавнем госте.

В кабинете Эренбурга все стены увешаны рисунками и гравюрами французских мастеров — это собрание в своем роде не уступит коллекции Геббельса и оценивается в миллионы. А на письменном столе стоит офорт Пикассо «Жаба» с дарственной надписью. Увидев эту бесформенную, разъятую на части тварь, правдист, идеолог и адепт соцреализма, скривился от омерзения и побагровел:

— И это вот капиталисты считают искусством? Как вы можете, Илья Григорьевич, держать у себя в кабинете подобную формалистическую гниль и гадость? И как смеет этот штукарь Пикассо называть себя коммунистом?

Илья прервал обличительную речь:

— А вы знаете, как называется этот офорт и что на нем изображено?

— Не знаю и знать не хочу! Это...

— Это — американский империализм.

Идеолог, постепенно смягчаясь, снова уставился на жабу, покачал головой, и апоплексический его загривок вновь обрел нормальный цвет.

— Да? А я сразу и не понял, — самокритично заметил он. — Пикассо, кажется, член французской компартии? Правильный товарищ и большой талант.

## Масейо, 1979

У дверей отеля, средь бела дня шесть человек на двух машинах похитили знаменитую итальянскую литературоведку, профессоршу Лючиану Стеганьо Пиккьо, возвращавшуюся с торжественного заседания местной Академии словесности.

Лючиана — крупная величина в итальянской культуре и едва ли не главный в мире специалист по литературам Португалии и Бразилии, автор монументальных монографий, каких не создали ни мои ученые земляки, ни лузитане, вдумчивый исследователь, влиятельный критик, блистательная эссеистка, наставница многих поколений бразиловедов и португалогов. Соперничать с нею могут лишь два человека, так же страстно преданные бразилистике — француженка Алиса Райяр и американец Томас Колчи. Мы перед Лючианой в неоплатном долгу.

Чтобы хоть как-то выразить ей нашу признательность, Мауро Сантайана, культур-атташе Бразильского посольства в Италии, предложил, чтобы Лючиану наградили орденом Южного Креста. Однако его боссы в МИДе — сам министр или кто-то из столоначальников, отвечающих «за культуру», — сочли, что это слишком, и надо дать другой орденок, поплоше. Мауро взбесился — признаем, что у него были для бешенства все основания — и попросил моего вмешательства. Мы рассказали об этом деле президенту Жозе Сарнею, и тот подписал указ о награждении Лючианы орденом Южного Креста, причем изъявил желание вручить его лично, в Париже, на торжествах по случаю 200-летия Великой французской революции. В итоге просвещенной римлянке достались обе награды — два ордена. Тем лучше.

...Простившись в дверях с президентом Академии словесности и его превосходительной супругой, которые проводили гостью до самого отеля, Лючиана услышала, как ее тихо окликнули. Она обернулась и увидела на противоположном тротуаре молодого человека, подававшего ей таинственные знаки. Наша ученая дама устала, ведь после заседания был еще и «коктейль», и нежный перезвон бокалов и стаканов разбудил тех почтенных господ, которые безмятежно дремали в креслах, покуда она с трибуны анализировала творчество их великого соотечественника Мурило Мендеса, читала его стихи по-португальски и по-итальянски. Прием затянулся, начались разговоры, Лючиана объясняла прелесть Квазимодо губернатору штата Алагоас, достоинства Монтале — его жене, а вести светскую беседу — дело утомительное, это тебе не лекции читать. Несмотря на усталость, она, как человек благовоспитанный, подошла на зов молодого человека, и тут из припаркованной рядом машины выскочили еще двое. Лючиану окружили и усадили в автомобиль. Неизвестные действовали негрубо, но решительно и стремительно, и, покуда первый юноша крепко сжимал ее запястье, пресекая любую попытку сопротивления, второй злодей предупредил: «Не кричите, не пытайтесь выскочить, это бесполезно — вы похищены». Машина с визгом сорвалась с места, вторая прикрывала похищение.

Лючиану прежде никогда еще не похищали. В молодости ее, правда, дважды насиловали, но это же совсем другое дело, между похищением и изнасилованием — огромная разница, необузданность страсти, по крайней мере, оставляет иногда приятные воспоминания. Теперь же она опасалась худшего: в Бразилии свирепствовала эпидемия похищений, всякие подонки-маргиналы крали людей и требовали выкуп. Но ей-то откуда взять деньги?! А вдруг это банда международных террористов, хотя Лючиана — не политик, не сенатор, зачем бы она им сдалась? И трое, сидевшие в машине, по виду террористов не напоминали. «А как должны выглядеть террористы?» — спросила себя профессор Пиккьо и ответа не нашла. Мальчики как мальчики. Хиппи? Сексуальные маньяки? Тем временем они были уже за городской чертой, и вот затормозили у особняком стоявшего шале. Главарь — он был старше остальных, лет примерно двадцати пяти, — тот самый, кто окликнул ее, а потом усадил в машину, теперь протянул руку и учтиво помог выйти.

Дом оказался комфортабельным и уютным, в столовой был сервирован ужин в алагоанском стиле: лангусты с пятью видами приправ, крабы-суруру, омары и прочие дары моря, прохладительное из плодов питанги, кажу и кажа, сок кокоса. Было и виски. Шестеро злоумышленников представились своей жертве, не называя, впрочем, ни имен, ни чинов, просто, но гордо сказали: «Мы — поэты». Перед Лючианой стояла вся верхушка Группы молодых поэтов Алагоаса, у двоих уже вышло по тоненькому сборничку стихов, остальные еще искали издателя. Главарь — тот, кто держал Лючиану за руку, — оказался главой группы.

Да, они и вправду были маргиналами, но маргиналами в литературе — противниками замшелого академизма, консервативной, устремленной в прошлое поэзии 50-х и 60-х. Шестеро юнцов представляли новую, новейшую литературную волну, а похитили они Лючиану, чтобы приобщить к своему братству, получить возможность говорить, спорить, дискутировать с нею: они превосходно знали ее творчество и восхищались им — и самой Лючианой, разумеется. Они мечтали прочесть ей свои стихи, послушать ее мнение о них, но, поскольку давно поклялись, что ноги их не будет в Академии, пришлось прибегнуть к такой вот мере. Они просят прощения за дерзость, но другого способа найти не смогли. Пусть синьора Лючиана извинит их за эту выходку, которую можно счесть поэтической вольностью.

Они провозгласили ее своей королевой, и ночь напролет, до зари Лючиана слушала стихи шести пылких и даровитых юношей. В чтении и разговорах время летело незаметно, и вот уже над озером стало подниматься солнце. Нет, не террористы, не сексуальные маньяки, не вымогатели, алчущие выкупа, всего лишь поэты, милые мальчики.

...Когда Лючиана гостила у меня в Прайя-до-Сал, она рассказала о своем алагоасском приключении, напомнившем ей те, что были когда-то в юности. Она назвала имена похитителей — они присылают мне свои рукописи, журнальные подборки и вышедшие книжки стихов. Я слежу за их творчеством. Группа распалась, верхушка сложила с себя полномочия, но для юных поэтов Алагоаса королевой поэзии, непререкаемым авторитетом и добрым гением осталась «синьора профессґора» Лючиана Стеганьо Пиккьо.

## Сан-Пауло, 1945

Раскрываю газету — «Диарио де Сан-Пауло», если не путаю, — и как обухом по голове: зубодробительная диатриба Освалда де Андраде[[39]](#footnote-39), посвященная от первого до последнего слова мне. С 30-х годов мы были ближайшими друзьями, что называется «не разлей вода», и дружба наша прошла, кажется, все испытания. Сколько раз Раул Бопп — еще один член нашей неразлучной троицы — и я защищали Освалда от несправедливых нападок и еще более несправедливого молчания, от шквала огульных обвинений.

...Я узнал, в чем дело, от Педро Помара, одного из руководителей компартии: Освалд приходил к нему жаловаться и грозил, что выйдет из партии, куда вступил (или вернулся) за несколько месяцев до этого. Удивили меня не угрозы — не такой был Освалд человек, чтобы соблюдать партийную дисциплину и безропотно сносить жесткую узду демократического централизма, предполагающего абсолютное, безоговорочное подчинение приказу вышестоящего товарища, — а то, в чем обвинил он меня. Он возвел меня, безо всяких на то оснований, в ранг партийного громовержца и самодержца и представил неким монстром, сексуальным чудовищем, без устали и удержу предающимся разврату — разбивающим семьи, оскверняющим супружеское ложе, растлевающим невинных девиц. Мало того, он приписал мне — и совершенно напрасно — кое-какие нелицеприятные высказывания по поводу видных деятелей нашей литературы и искусства, в том числе и главным образом о нем самом, об Освалде де Андраде.

Спустя еще какое-то время выяснилась и вся подноготная этого дела, весьма некрасивого. Оказывается, моего бывшего друга в самое сердце ранило то, что его не выдвинули кандидатом в депутаты Федерального собрания по партийному списку. Писателей Монтейро Лобато, Кайо Прадо Жуниора, Жозе Жералдо Виейру и меня включили в список, а его нет. Лобато, впрочем, снял свою кандидатуру заранее. Что же касается меня, то я употребил все свое скромное влияние на то, чтобы в списке фигурировал и Освалд, даже ездил в Рио доказывать Престесу непреходящую ценность и важность отца бразильского модернизма, однако убедить не смог: генсеку БКП наш антропофаг показался человеком ненадежным, а главное — неспособным привлечь голоса избирателей.

Сплелась глупая, тошная интрига: Освалду насвистели в уши, будто я, боясь соперничества, стал подкапываться под него, что это я целиком и полностью виноват в том, что его не выдвинули в кандидаты, и я знаю, кто насвистел — бездарный поэт и скверный издатель, чьи имена я вычеркнул из памяти. Причина их недостойного поведения все та же: зависть и злоба. Они тоже претендовали на место в списке, не получили, смертельно обиделись и, не решившись поднять волну против партийных руководителей, наклеветали Освалду на меня. А я ни сном ни духом, и к списку этому отношения не имел, за исключением безуспешной и всерьез не принятой попытки включить в него этого же самого Освалда.

Я не стал выяснять с ним отношения: раз уж он поверил клевете, о чем тут говорить?! Я был оскорблен в лучших своих чувствах, в одном, по крайней мере, — в чувстве дружбы. Я ведь не давал ему повода усомниться в своей искренности. Одним словом, я был глубоко уязвлен, ранен в самое сердце, мы с Освалдом перестали видеться и перезваниваться. Он еще некоторое время продолжал свои вылазки и атаки. Я не отвечал, не произнес, не написал ни единого слова против него, должно быть, в память о прежнем восхищении, о былой любви...

С тех пор я видел Освалда лишь однажды — незадолго до его смерти, на каком-то приеме. Его привезли в инвалидном кресле, мы обменялись рукопожатием, оба растрогались. Я, хоть человек и не сентиментальный, но поспешил выйти из комнаты, чтобы не разреветься прилюдно.

## Баия, 1981

Я отправляюсь поздравить Мирабо Сампайо с 70-летием. Несмотря на почтенный возраст, он сохранил железное здоровье и, по его словам, изменяет не своим привычкам, а бесчисленным любовницам.

Вдовец Мирабо живет один в своем доме на улице Ари Баррозо, где мы по субботам и воскресеньям собираемся сыграть в покер. Этот дом — одновременно и жилище, и студия, и музей. Там стоят резные голландские столы XVII века из магазинов знаменитых баиянских антикваров Морейра, там секретеры и поставцы, картины Карибе и Дженнера Аугусто, скульптуры Марио Краво и самого хозяина, увенчанного лаврами Мирабо: у входа, в просторном вестибюле, стоят два чудесных деревянных изображения — Христос и Пьета. А какая у него коллекция святых! Более пятисот штук, и есть среди них статуя Пречистой Девы работы Фрея Агостиньо да Пьедаде[[40]](#footnote-40), одна из тех четырех, что подписаны именем величайшего после Алейжадиньо[[41]](#footnote-41) сантейро[[42]](#footnote-42). Никаких денег не хватит, чтобы купить ее, а Мирабо она досталась за бесценок.

Мирабо изображает этих святых на своих полотнах, и они отлично расходятся — клиентура у него многочисленная и постоянная. По секрету он как-то раз сообщил мне: «Когда платят с ходу, делаю скидку, а если в рассрочку, набавляю цену. Но тут на днях совсем одурел — взял да и подарил холст, и знаешь кому? Мадемуазель Фафа де Белень. Я и так запросил с нее меньше, чем следовало, потому что мне нравится, как она исполняет свои песенки, но она возьми да и нагнись, и когда я заглянул ей в декольте, то совсем одурел и отдал картину даром». Мирабо пишет и рисует, слушает музыку, разговаривает с друзьями — это любимое его занятие, в чем, однако, можно усомниться, если вспомнить, как часто он влюбляется. Ну, по крайней мере, одно из двух любимых занятий.

Мы видимся с ним едва ли не каждый день, и каждый день он рассказывает мне очередную историю о своих возлюбленных, имя же им легион, и ни одна не старше двадцати трех лет, не считая, понятное дело, современниц — подруг далекой юности, которые в память о прошлом до сих пор приносят ему в дар галстуки, платочки или теплые подштанники. Речь не о них. Молодая же и очаровательная поросль представляет все классы и сословия, все виды гражданского состояния: есть среди них незамужние и состоящие в более-менее счастливом или вовсе неудачном браке, есть помолвленные и обрученные, есть невесты. Есть робкие, есть нахальные и нахрапистые. Когда мне случается застать одну из этих юных особ, Мирабо, торопливо познакомив нас, выпроваживает ее. По секрету он сообщил мне, что не доверяет Карибе: его страсть красть все, что плохо лежит, не ограничивается деревянными изображениями святых... Да и Каймми ведет себя с девицами слишком вольно.

На этот раз Мирабо рассказывает одну из своих назидательных новелл, наглядно демонстрирующих, какое золотое у него сердце и какую удивительную изобретательность проявила одна из претенденток на вакантное место если не в этом самом сердце, то в постели. У Мирабо есть сын по имени Артур, у Артура — друг, молодой и успешно делающий карьеру чиновник, а у него — жена, которую чиновник этот, будучи не чужд снобизма, взял себе из богемной среды. Эта очень хорошенькая юная дама по профессии была балерина и, как бесами обуянная, с неистовой силой любила все виды искусства, равно как и его жрецов — мастеров резца, кисти, сцены, — и, от природы наделенная пылким нравом, украшала мужа прекрасными развесистыми рогами. Само собой разумеется, она влюбилась в Мирабо, а влюбившись, захотела, чтобы желания ее исполнились, с каковой целью стала его домогаться, преследовать и осаждать.

Мирабо вскоре оказался загнан в угол — прима решила переспать с ним во что бы то ни стало. Мирабо отнекивался, увертывался — от хорошего отношения к ее мужу, другу своего сына, — но танцовщица не оставляла стараний, предпринимая новые и новые атаки. И вот в один прекрасный день она объявила:

— Ну вот что, Мирабо, это произойдет сегодня! Мой дурачок днем улетает в Рио, и ночевать я буду у тебя, с тобой, в твоей постели, и это будет волшебно!

Мирабо сначала вытаращил на нее глаза, потом принял достойный вид, нужный, по его мнению, для того, чтобы поставить... балерину на место, а во всей этой некрасивой истории — точку.

— Душечка, — сказал он проникновенно. — Это невозможно. Это совершенно исключено. Твой муж — друг моего Артура, он ему как брат, а мне, стало быть, как родной племянник. Он — близкий мне человек, понимаешь? И его жена для меня — не женщина.

— Ах, значит, я для тебя — не женщина?!

— Нет.

— Значит, мужчина?

— Мужчина, мужчина!

— Вот и отлично. Трахнешь меня сегодня ночью как мужчину! Мне и это сгодится!

В этом месте Мирабо прервал свой рассказ и устремил вдаль задумчивый взор.

— Ну и как — получилось? — спросил я осторожно.

— Более или менее, — ответил он не кривя душой.

Всех своих троих сыновей дона Эулалия Амаду, будь на то ее воля, сделала бы врачами — она очень высоко ставила эту профессию, и слова «доктор медицины» ласкали ее слух. «Другое отношение к семье, где медик есть», — любила повторять она.

Но только Жоэлсон, средний сын, доставил ей это счастье — он один окончил медицинский факультет, взял в руки стетоскоп и градусник да еще, к вящей радости доны Лалу, специальностью своей избрал педиатрию, стал лечить детей. Жоэлсон и до получения диплома, впрочем, был ее любимцем — потому, прежде всего, что самим фактом своего рождения вернул матери радость жизни, навек, казалось, утраченную после того, как «испанка» унесла трехлетнего Жофре. Лалу тогда предалась безутешной скорби, перестала за собой следить, потеряла былой интерес к нарядам. Полковник Жоан Амаду, однако, был человек понимающий и сумел обрюхатить жену. Родился Жоэлсон — настоящий богатырь, целых пятьдесят пять сантиметров, — и Лалу воскресла из пепла.

Мало того, Жоэлсон послушался материнского совета и пошел по стезе медицины, и дона Эулалия, увидев его в белом халате и с украшенным изумрудным камешком докторским кольцом[[43]](#footnote-43) на пальце, поняла, что выполнила свое предназначение. Что же касается двух других сыновей, которых тоже любила, как только матери дано любить, то обоих понесло на торную дорогу сочинительства. Надо ли говорить, что все трое, включая и эскулапа, в какой-то момент прониклись коммунистическими идеями. Лалу, однако, вопреки всякой очевидности, с гордостью любила твердить, что дети ее политики сторонятся. Когда же кто-нибудь бестактно напоминал ей о том, что все трое — активисты компартии, Лалу пренебрежительно отмахивалась:

— Компартия? Это дерьмо — не в счет.

Теперь даже и дерьма-то нет. В Советском Союзе компартию вообще запретили. Впрочем, вскоре и сам Союз канул в небытие. Я знаю об этом, но поверить не могу.

## Лиссабон, 1981

Помимо двоих кровных моих братьев, один из которых — спокойный и веселый доктор-педиатр, а другой — сущий демон в образе человеческом, левак, не вылезавший из тюрем, были у меня и есть братья и сестры, родившиеся не от доны Эулалии и полковника Жоана Амаду, но от того не менее близкие мне и родные. Помимо Лилы, моей дочки от первого брака, Жоана Жоржи и Паломы, которых произвели на свет мы с Зелией, есть у меня и другие дети, и хоть не я их зачал, но люблю так же сильно, как если бы они были плоть от плоти моей. В Лиссабоне у меня на руках умер сын мой возлюбленный, сам не знаю, как перенес я вечную разлуку с Глаубером Рошей[[44]](#footnote-44)...

Целый год не мог я прийти в себя после этого месяца, проведенного в клинике у постели умирающего Глаубера. Помню его лицо с ввалившимися глазами, с запавшими висками, помню, как старался он бодриться, как цеплялся за жизнь, а она иссякала на глазах — на глазах у Зелии, у меня, у Жоана Убалдо Рибейро. Только мы трое любили его по-настоящему, хотя десятки людей толпились в его доме, заполняя его клубами табачного дыма и несбыточными иллюзиями.

Однажды в воскресенье мы с Жоаном Убалдо одновременно и как-то вдруг с тревогой заметили, что Глаубер — зеленого цвета и кашляет беспрестанно. Спустя три дня меня всполошил телефонный звонок: у Глаубера кровавая рвота, его срочно госпитализировали в Синтре. Мы отправились туда, перевезли его в Лиссабон. Начались исследования и обследования, ужас, ожидание худшего и радостная весть: результаты анализов показывают, что это не злокачественная опухоль. Как мы все ликовали тогда! Но это все же оказался рак — рак легкого, от него он и умер несколько дней спустя. Ах, как он не хотел умирать, он был так молод — мальчик еще! — он столько мог сделать.

Если в одиннадцать утра я не входил в его палату, тотчас звонил телефон: «Ну где же ты? Неужто и ты меня бросил, знать не хочешь?» И я как зомби брел по улицам Лиссабона в клинику... Помню его глаза, полные предсмертной тоски — взгляд, которым он прощался с нами, прощался навсегда. Мы втроем — Зелия, Жоан и я — почти убежали тогда, чтобы не видеть, как его выносят на носилках. Перед самой смертью Глаубера самолетом отправили домой, в Бразилию.

На похоронах было не протолкнуться от тех, кто травил его и губил, кто заживо похоронил его («Я чувствую, как меня топят в яме с дерьмом», — сказал он мне в Рио перед своим отъездом в Европу), тех, кто называл его изменником, предателем, продажной шкурой, трусом, последней сволочью. Это теперь они облачились в траур, говорят, что осиротели без него, скорбят о потере, льют крокодиловы слезы, пользуются им, извлекают из него выгоду, пытаются присвоить его себе. Его похороны — это их праздник.

Но память об этом мальчике, несносном и нежном, о том, кто в фильмах своих становился благородным разбойником нашего времени, богом и дьяволом в одном лице, святым Георгием, поражающим дракона, память о нем останется неприкосновенной, до нее не дотянутся их грязные руки, и погреть их на его смерти этим негодяям не удастся... Всякий раз, как на полотне экрана появляются первые титры его фильма, Глаубер Роша воскресает.

## Луанда, 1979

Из всех героев, о существовании которых я узнал на школьной скамье, я отдавал предпочтение индейцу Поти и негру Энрике Диасу, двоим бразильцам, что сражались на стороне немногочисленных португальских патриотов, обративших в бегство голландцев, когда португальский двор уже поставил на своей заморской колонии жирный крест.

А в Луанде, которая, между прочим, — один из ликов моей Баии (другой — Лиссабон), директор Исторического музея Энрике Абрантес показывал мне военные трофеи — и те, что относились к далеким эпохам, и те, что взяты были в недавних битвах за независимость. Когда же я упомянул имя моего кумира, директор осведомился о том, известно ли мне, что Энрике Диас, славный персонаж бразильской истории, родом был из Анголы. Я удивился и не поверил, потому что считал, что он родился в невольничьем бараке на нашем Северо-Западе. Да нет же, вскричал директор, он появился на свет здесь, и это подтверждается документами.

И директор поведал мне такое, от чего персонаж школьного учебника истории предстал в новом свете. Военная экспедиция, посланная из Рио в Анголу, чтобы выбить оттуда все тех же голландцев, очень рассчитывала на отвагу и полководческий дар Энрике, командовавшего батальоном негров. Однако в самый последний момент от командования его отстранили и в Анголу не послали. Оказывается, тайные осведомители — они уже и тогда были — сообщили губернатору колонии, что ими раскрыт заговор, коварный план: Энрике не собирался ограничиваться изгнанием из Анголы голландцев, нет, он был намерен заодно уж покончить с португальцами и провозгласить независимость.

Вот что рассказал мне директор музея, а я за что, как говорится, купил, за то и продаю. Не мне судить, правда это или легенда, пусть разбираются мои высокоученые приятели-историки.

## Ницца, 1990

Зимний день на Лазурном берегу клонится к закату, солнце на горизонте скоро нырнет в море, а мы с Зелией, сидя в номере отеля, обсуждаем успех нашего друга, композитора и певца Жилберто Жила во вчерашнем шоу. Успех тем более важный, что Жил еще не оправился от тяжкой потери — недавно он оплакал и схоронил сына... В эту минуту снизу, из холла, звонит Анни Содро, доктор социологии, непревзойденный знаток и пытливый исследователь карнавалов. Она сообщает, что тут, в холле, пролетом из Бухареста в Париж в составе официальной делегации, возглавляемой премьер-министром Румынии Петру Романом, находится некая дама. Она завернула в Ниццу, чтобы встретиться с профессором права, у которого писала когда-то диссертацию, и, узнав, что я здесь, не может уехать, не повидав меня. Пробормотав про себя несколько крепких баиянских словечек — наш тихий вечер испорчен, — я соглашаюсь: noblesse, как известно, оblige — и мы спускаемся вниз.

Но жалеть об этом не приходится: румынке, оказывается, никак не больше тридцати, она чрезвычайно хороша собой и поразительно элегантна — воплощение соблазна и погибели. Только чересчур нервна и взвинчена до предела, прямо места себе не находит: немудрено, в ее отчизне смута, беспорядки захлестывают улицы Бухареста, идут манифестации, враждебные временному правительству — Комитету национального спасения, который возглавляет Ион Илиеску. Косые лучи заходящего солнца — извините! — освещают лицо и фигуру, в их сиянии золотом вспыхивают волосы этой женщины, она назвалась Даной и желает непременно поговорить со мной.

За столиком бара она, омочив губы в скотче, начинает пламенный нескончаемый монолог. Рассказывает о своей бьющейся в конвульсиях стране, о ее освобожденной и вновь захваченной столице, об ужасах и страданиях, о жестокой борьбе против кровавого режима Чаушеску, о тысячах замученных пытками и расстрелянных, о том, как та же участь — казнь без суда и следствия — постигла свергнутого диктатора и его жену. Трупы их выставлены на всеобщее обозрение, страх и покорность сменились ненавистью и жаждой мести — идет охота на ведьм, царят сумятица и смятение: кого хватать немедля, кого — чуть погодя? В продолжение леденящего кровь рассказа о том, как они с мужем жили под коммунистическим гнетом, Дана курит одну сигарету за другой, осушает стакан виски и тотчас заказывает всем новую порцию. Слушатели — Анни, Зелия и я — подавлены и потрясены драматическими подробностями: интеллектуальная жизнь в стране замерла на нуле, обнищание народных масс достигло верхней точки, злодеяния Чаушеску сравнимы лишь с преступлениями Гитлера и Сталина.

Дана поминутно ссылается на мужа, беспрерывно поминает его — он ее идол и кумир, единственная страсть ее жизни, ее божество, ее учитель и наставник. Он восстал против Чаушеску, и страна во многом обязана ему своим освобождением. Дана говорит о нем так много и в таких выражениях, что я наконец осмеливаюсь спросить, да кто же он, этот ее муж?

— Илиеску, — отвечает она.

— Президент?

— Да.

— ... ... ... !.. — восклицаю я, слава Богу, про себя.

Да, у товарища президента губа не дура, есть у него и вкус, и аппетит, если на седьмом десятке выбрал он себе в спутницы жизни такую женщину: все при ней — и молодость, и красота, и элегантность. Идеал современной женщины, настоящая «первая леди Румынии».

Беседа продолжается еще некоторое время, а потом мы, искренне тронутые ее преданностью мужу, ее тревогой за него и за страну, прощаемся с Даной — наутро она летит в Париж. А мы, глядя на шествие аллегорических карнавальных колесниц по набережной Ниццы, долго еще обсуждаем эти тревоги: Румыния, уйдя от диктатуры, трудно ищет путь демократии. Если верить последним сообщениям, Бухарест стал непригодным для жизни полем битвы.

На следующий день после обеда снова раздается трель телефонного звонка, и Дана Илиеску сообщает нам, что она отложила полет на сутки, чтобы исполнить приказ супруга-президента. Они разговаривали по телефону, она поведала ему о встрече с нами, и Илиеску велел ей задержаться в Ницце и выпить с нами по бокалу шампанского в знак того уважения, которое он испытывает к бразильскому писателю и его жене.

И Дана хочет видеть нас немедля. «Бедняжка! Ей нужна опора», — всхлипывает мягкосердечная Зелия, и я, отказав себе в сиесте, как, впрочем, и в шампанском, ибо предпочитаю виски, веду ее в бар, где возобновляется вчерашний разговор. На этот раз нас посвящают в подробности личной жизни: оказывается, она — вторая жена Илиеску, он вдовец; они познакомились в университете (я так и не понял, была ли она его коллегой, ассистенткой или студенткой), и сразу вспыхнула бешеная страсть, и они соединили свои жизни, став счастливыми супругами. Все утро Дана покупала для внуков президента, для его сына от первого брака и невестки подарки — еду, одежду, игрушки: в Бухаресте нет ничего. Хорошо хоть, что улеглись страсти, прекратились беспорядки, и президент может перевести дух. Пользуясь случаем, Дана приглашает нас в Румынию, где мы не были лет тридцать. Тут появляется юный журналист Эдуардо Жасмин Тавил, чтобы узнать, состоится ли намеченный на завтра обед. Дана производит на него ошеломляющее впечатление, когда же он узнает, кто она такая, то хватает свой фотоаппарат и принимается за исполнение профессиональных обязанностей. Дана отважно тянет виски и говорит, говорит, говорит без умолку к полному восторгу Тавила, предвкушающего, какой роскошный репортаж появится в «Тарде»: сам Бог ему послал «первую леди Румынии». Сколько-то часов спустя Дана прощается: утром — самолет на Париж, там она присоединится к свите премьер-министра.

Но приходит завтра, и звонит телефон: рейс откладывается на вечер, и она желает принять участие в обеде, о котором мы накануне договаривались с Тавилом — «очень милый юноша!», — и потому будет ждать нас в холле.

И вот мечте о пиццерии сказать приходится «прости». Не в забегаловку ж вести такую даму. В ресторане заказан стол. Пусть полем брани стал Бухарест, пусть все вверх дном теперь в Румынии далекой, но я пекусь лишь об одном, не видя, впрочем, в этом прока: стремясь упорно свой престиж не уронить. Noblesse oblige!

Дана появляется в еще более элегантном виде, чем раньше. Она успела побегать по магазинам и накупить множество всякой всячины — платьев, туфель, блузок, джемперов и кое-что из белья. В парижском аэропорту она пересядет из самолета в самолет, присоединится к делегации и ночью окажется в объятиях изнемогшего в разлуке президента. «Вот уж ночка будет!» — шепчу я на ухо Зелии, а она смотрит на меня с укоризной, ибо растрогана и взволнована до глубины души, и отвечает вполголоса:

— Пожалуйста, веди себя прилично, — так что я чувствую себя маленьким мальчиком.

Обед был отличный и стоил потраченных на него денег. Эдуардо Тавил снимал, записывал, правил на ходу и прямиком из ресторана унесся давать факс, сообщая баиянскому народу горячие новости из объятого пламенем Бухареста — интервью с «первой леди», первополосный, гвоздевой материал, а для колонки светской хроники — заметку о нашем обеде. Дана в третий раз прощается с нами, клянется вечно помнить: а bientфt. И вот она уходит, постукивая высоченными каблуками, волосы ее и косынка вьются под ветром — хороша на загляденье! Я не могу отказать себе в удовольствии вообразить ее в объятиях влюбленного президента, но не решаюсь поделиться с Зелией своими греховными мыслями. Дай вам Бог, дорогой президент, и вам, красавица...

Знакомство с Даной усиливает наш интерес к событиям, происходящим в Румынии, мы пристально наблюдаем за ходом избирательной кампании, за дебатами и интригами. И вот наконец узнаем, что Илиеску сохраняет свой пост, но если раньше он занимал его в результате компромисса между разными политическими силами, то теперь он становится законно и всенародно избранным главой государства.

Очень кстати мне попадается на глаза «Фигаро», где напечатан пространный репортаж о выборах. Тут же и фотографии на целый разворот: Илиеску, сопровождаемый супругой, опускает в урну свой бюллетень.

— Зелия, полюбуйся на свою новую подругу! — зову я жену.

— Дана? Покажи, покажи!.. Где? — хватает газету Зелия.

Немножко постарела «первая леди», даже и не немножко. Ее узнать нельзя. Другой человек. Да это и есть другой человек — пожилая почтенная дама довольно заурядной внешности.

— Но это не Дана, — ошеломленно шепчет Зелия.

— Ну, значит, наша Дана — не первая леди, а вторая.

В 1991 году мы поехали в Италию на присуждение литературных премий так называемого Латинского союза. В прошлый раз лауреатом стал уругвайский романист Хуан Карлос Онетти, а теперь — португальский прозаик Жозе Кардозо Пирес. В состав жюри входит румынский писатель Дан Хаулика, у нас с ним отыскиваются общие друзья в Бухаресте и в Париже, да и литературные наши пристрастия во многом сходны. Он — ближайший и давний друг Илиеску. Зелия рассказывает ему о Дане и демонстрирует фото из «Фигаро». Она записывает нашу прелестницу в разряд любовниц, придумывает историю романтического адюльтера, пылкой страсти, рожденной и взлелеянной борьбой за освобождение отчизны. Я пытаюсь расцветить ее повествование живописными деталями, вспоминаю ночную рубашечку, купленную в здешнем бутике, но Зелия затыкает мне рот: «У тебя одно на уме».

Хаулика слушает нас с удивлением, которое тотчас сменяется негодованием, и произносит свой вердикт: никакая она не жена и тем более не любовница, Илиеску — человек серьезный, не склонный к авантюрам и эскападам, высокоморальная личность и образцовый семьянин, лавры свои он изменой не осквернит и шашни на стороне заводить не станет. Кроме того, у него нет детей, а значит, и внуков быть не может.

— Ну вот, ты лишилась президентских внуков, а я — ночи любви. Ничего у нас с тобой не осталось.

Но так ли это? Я по натуре склонен к сомнениям и должен признаться, что сохранил в душе образ юной и элегантной красавицы, помню ее всю — от вспыхнувших в лучах заката волос до высоких каблуков. Да и не я один — все читатели баиянской «Тарде». И как бы целомудрен ни был румынский лидер, он все же не аскет и не евнух, Дана же — сущая дьяволица во плоти (обольстительной) и способна кого угодно ввести во искушение и сбить с пути истинного, и окутывающая ее тайна пока не разгадана, и я еще подожду, чем все это кончится. И потому я не лишаю ее места ни в сердце президента, ни на ложе его. Пусть простит меня мой друг Хаулика, но такой уж я недоверчивый человек.

## Рио-де-Жанейро, 1960

Мой приятель, певец и композитор Жоан Жилберто, звонит мне в большой тревоге:

— Жоржи, милый, я получил повестку в суд. В четверг в Сан-Пауло слушается дело! А я никак не могу быть — у меня запись на радио! Нужен адвокат, чтобы представлял мои интересы. Ты всех на свете знаешь, присоветуй мне толкового юриста из Сан-Пауло!

Оказывается, Жоан Жилберто на прошлой неделе разошелся во мнениях с кем-то из своих коллег-музыкантов — и так разошелся, что разбил о его голову шестиструнную гитару. Тот не стерпел и подал в суд, и теперь мой несчастный приятель не знает, куда податься, как выкрутиться.

Пообещав помочь, звоню в Сан-Пауло Луису Коэльо, который не только автор превосходных и увлекательных политических книг — равного ему я у нас в Бразилии не знаю, — но еще и знаменитый адвокат. О том, что он и человек редкостный, можно не говорить, ясно и так. Я ему рассказываю о скандале, о гитаре, о вызове в суд и о терзаниях великого мастера «босановы». Терпеливо выслушав меня, Луис отвечает:

— Рад бы, да не смогу ему помочь. Запиши-ка вот... — и он диктует мне фамилии, адреса, телефоны, приемные часы еще троих адвокатов — все трое, по его словам, юристы высшего класса. Что за человек! Одно удовольствие иметь дело с таким обаятельным и обязательным собеседником.

Мне остается только спросить:

— А сам-то почему не возьмешься?

— Потому что буду представлять интересы истца — гитарой по башке трахнутого.

## Рио-де-Жанейро, 1961

Эдуардо Портелла, невзирая на свою молодость и благодаря высочайшей компетентности, назначен директором — или президентом? — ну, словом, руководителем только что созданного Института Азии и Африки. Тогдашний наш президент Жанио Куадрос[[45]](#footnote-45) надеялся, что учреждение это станет главным проводником нового внешнеполитического курса: он хотел, чтобы курс этот прокладывали не в вашингтонском госдепартаменте, и считал, что пора бы уж нам перестать смотреть в рот Белому дому.

Избранный президентом страны, этот сумасбродный фантазер и мечтатель порвал с унизительной традицией. На его письменном столе появились портреты Насера, Неру, Тито, страна все решительней двигалась к «неприсоединившимся». Пора бы отдать должное Куадросу, добрым словом вспомнить его попытки отрешиться от прежней колониальной психологии, пересмотреть безнадежно устарелые подходы и методы. За это он и поплатился. Не удалось ему встряхнуть нацию, поднять страну против решений, принимаемых в военных штабах в теснейшем взаимодействии с Американским посольством.

Созданный им Институт означал также, что бразильское правительство не будет больше безоговорочно поддерживать колониальную политику Салазара и что мы признаем войну за освобождение Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау делом справедливым. Впервые за долгие-долгие годы бразильский официоз осмелился осудить португальский колониализм. Среди прочих, поистине революционных — я употребляю это определение в его истинном значении, а не в узко-левацком смысле — шагов, предпринятых Институтом, было и приглашение к нам делегации ангольских партизан. Когда в 1964-м случился у нас военный переворот, всех их схватили, посадили, подвергли пыткам...

Портелла привлек к работе людей честных и знающих, известных непредвзятостью взглядов, объективностью оценок, — их имена говорят сами за себя. Он затеял издание хороших и нужных книг: приведу наугад, что вспомнилось, лишь некоторые — «Два пути африканской революции» Моасира Вернека де Кастро, «Национализм и развитие» Кандидо Мендеса... У Портеллы был вкус не только к научным исследованиям по проблемам Азии и Африки — он помогал пролагать пути африканской политики в Бразилии. Выходивший под его редакцией журнал «Темпо Бразилейро» выдвигал множество смелых и свежих идей, которые формировали взгляды наших интеллектуалов, определяли их позицию.

Сразу же после своего назначения он со свойственной ему ответственностью принялся входить в курс дела, вплотную знакомиться с афро-азиатскими проблемами, обзаводиться, так сказать, необходимым научным багажом. Первым делом Портелла отправился в книжный магазин, который содержали братья Закхары, Жоржи и Эрнесто, и заказал им целый вагон литературы — статьи, стихи, романы, исследования, географические атласы и справочники, монографии и альбомы по искусству. Потратил он на это едва ли не годовое свое жалованье. Книготорговцы пообещали расстараться и выполнить заказ в кратчайшие сроки, но все равно дело было долгое — их лондонский контрагент выписывал книги из Дакара и Токио, Лиссабона и Луанды, Пекина и Гонконга, Коломбо и Аддис-Абебы.

Но вот наконец прибыли в Рио полдесятка ящиков разной величины. Уведомили Портеллу, и он поспешил в магазин на грузовичке, зажав в руке корешок накладной, уплатил чудовищную сумму за все это богатство. Разоренный и очень довольный, вернулся домой. Прежде чем вскрыть первый ящик и вступить в обладание сокровищами, позвонил мне поделиться радостью:

— Жоржи! Книги пришли!

— Эдуардо, я тебя с утра разыскиваю! Ты что — ничего не знаешь?! Правительство низложено, президент свергнут! У власти — «гориллы»! Полное светопреставление!

В ответ раздался унылый голос Портеллы:

— Куадрос свергнут? А я только что расплатился за свой заказ, он утром пришел наконец... Кому они теперь нужны? Что с ними делать?

Что с ними делать? Читать, разумеется. Он их и прочел постепенно, одну за другой. Моей племяннице Мариане достался роскошный атлас мира.

## Рим, 1948

Автобус везет нас из Парижа в Рим. Мы едем брать власть. То есть официально-то мы трое — Зора Селжан, Карлос Скляр и ваш покорный слуга — должны освещать в коммунистической бразильской прессе ход и итоги выборов: Зора будет давать репортажи и брать интервью, Скляр — рисовать портреты лидеров итальянской компартии и делать наброски уличных сцен. На мою же долю выпадут беседы с Пальмиро Тольятти[[46]](#footnote-46) и Пьетро Ненни и пространный политанализ причин победы. Да, победы! Ибо никто из нас не сомневается, что итальянская компартия выиграет выборы, придет к власти и вместе с социалистами Ненни сформирует коалиционное правительство. Итак, мы едем принять участие в триумфе. Короче говоря — ура!

Коммунисты проиграли вчистую, христианские демократы остались в правительстве. Мы как раз сидели в редакции «Униты», сочиняли какую-то брехню, когда пришел Тольятти и сообщил: «Продули!» С горя Дарио Пуччини, университетский профессор и издатель, повел нас ужинать в дешевую тратторию. Власть уплыла, остается только напиться — не на радостях, так с горя. Зора рвет в мелкие клочки и бросает в ближайшую урну исполненный воодушевления репортаж о выборах. Он, видите ли, чтобы не терять времени и чтобы уж ничего не мешало праздновать, сочинил восторженную статью о победе — с профетическим жаром и во всех мыслимых подробностях описав грандиозное народное ликование, заполнивших улицы людей со знаменами, слезы радости, музыку, громоподобный хор, исполняющий «Бандьеру Россу». Замечательная вышла статья, за душу брала, да вот беда — не пригодилась. Карлос Скляр оказался предусмотрительней — ничего рисовать не стал, сделал только один набросок, изобразив заполненную иностранными журналистами редакцию «Униты»: на первом плане — Доминик де Сантис из «Аксьон» и Олег Игнатьев из «Комсомольской правды».

Да-с, выборы мы проиграли, но оттого путешествие наше все равно нельзя счесть бесполезным или печальным. Поражение не помешало Ренато Гуттузо собрать у себя дома «весь Рим» — от Альберто Моравиа до Чезаре Дзаваттини, от Карло Леви до Джузеппе де Сантиса, не говоря уж о пламенных коммунистках со звонкими графскими титулами. Именно там и тогда обрел я первых своих итальянских друзей, а потом к ним прибавились флорентиец Васко Пратолини и миланец Элио Витторини. Дарио Пуччини к тому времени уже перевел моих «Капитанов песка», за которыми последовали и другие романы, Дарио и сейчас бьется за бразильскую литературу так, словно он родом из Рио-де-Жанейро. Португальским он владеет блестяще, говорит на нем как истинный кариока[[47]](#footnote-47) — его обучила этому некая бразильянка, с которой был у него бурный роман. Я всегда утверждал, что иностранным языкам лучше всего обучаться в постели, из уст в уста, когда правила грамматики перемешиваются со стонами любви.

Зора возвращается в Париж. Мы с Карлитосом едем в Геную, будем там поджидать Зелию — она приплывет из Рио с Жоаном Жоржи.

...С дебаркадера я вижу, как она стоит на палубе, держа сына на руках, — настоящая мадонна, и сердце мое готово выскочить из груди. Наконец-то я обниму ее! Какая власть, какой триумф на выборах сравнятся с этим?!

## Баия, 1985

Марсио Таварес д’Амарал, философ и поэт, видный ученый, университетский профессор, знаток и исследователь Джойса и Кафки, неисправимый смутьян, тоскующий по тем временам, когда сам участвовал в студенческих манифестациях, обладает еще одним — которым уж по счету? — дарованием: прижав ладони к губам, он может изобразить саксофон, сирену полицейской машины и кареты «скорой помощи», поразительно верно и уморительно смешно передразнивает лиссабонский выговор, распевая песни протеста. Марсио гостит у нас вместе с женой Терезой, и мы ведем с ним беседу, покуда он бреется.

Это занимает у него не менее получаса. «Как-то раз я потратил на бритье всего двадцать пять минут, но так было лишь однажды», — поясняет он мне, уделяющему бритью минут пять от силы.

— В понятие «бриться» разные люди вкладывают разный смысл, — говорит он. — Глагол один, а спрягается по-разному. Вы избавляетесь от щетины, я же стремлюсь к идеальной гладкости и достигаю этого.

На это я сообщаю, что писатель Грасилиано Рамос, к примеру, «жиллетов» не признавал и орудовал только опасной бритвой. Глаза Марсио загораются.

— Это верх совершенства. Куда уж мне до такого...

Священнодействие завершено. Марсио подходит к окну, как-то особенно прижимает пальцы к губам, и тихая улочка Алагоиньяс вздрагивает от пронзительного взвыва полицейской сирены. Соседи выбегают посмотреть, что случилось. Смех Терезы успокаивает переполошившихся птиц в саду.

## Париж, 1949

Из канцелярии в канцелярию, из министерства в министерство ходим мы по Парижу с Пабло Пикассо, хлопочем о том, чтобы Неруде продлили срок пребывания во Франции. А у великого художника — знаменательный день: его жену Франсуазу отвезли в родильное отделение. Он хотел девочку, девочка и родилась, и назвали ее Паломой[[48]](#footnote-48). Ее тезка и сестра — поскольку тоже есть его творение — украшает стены и афишные тумбы Парижа: голубка мира стала символом Первого конгресса сторонников мира, который завтра открывается в зале Плейель.

А Неруда с накладными усищами появился в Париже неделю назад — с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы дона Антонио де Чего-то Там Такое. Мало того, паспорт был дипломатический, а дон Антонио — не то культур-атташе, не то еще что-то. Помог с этим делом Мигель Анхель Астуриас[[49]](#footnote-49), посол Гватемалы в Аргентине, который, рискнув и карьерой, и должностью, откликнулся на просьбу друга. Он не колебался ни минуты, когда Пабло, бежавший из Чили, где его лишили депутатской неприкосновенности, обратился к нему за помощью.

Пребывание Неруды в Париже, поначалу державшееся в строжайшей тайне — об этом знали, кроме меня, лишь Альфредо Варела, лидер аргентинской компартии и, само собой, писатель, автор романа «Темная река», да Лоран Казанова, отвечавшая в политбюро ФКП за культуру и защиту мира, да Луи Арагон, да Франсуаза Леклерк, в чьей квартире беглец нашел приют, — очень скоро сделалось секретом полишинеля. На конгресс прибывали все новые и новые мастера литературы и искусства из стран Латинской Америки — Хуан Маринельо, Мигель Отеро Сильва, Николас Гильен. А Неруда с липовыми документами не мог принять участие в его работе, и вообще его могли в любую минуту схватить, разоблачить и выслать из Франции.

И Пикассо взялся хлопотать о нем, а я, хоть проку от меня было немного, составил ему компанию в хождении по кабинетам. Каждые полчаса мы забегаем в бистро, и Пабло звонит в клинику, справляется о роженице и неизменно слышит в ответ: «Еще не родила». Но вот наконец на другом конце провода звучит осанна: ему сообщают, что на свет появилась девочка, мать и дитя чувствуют себя хорошо.

И проблемы Неруды близки к разрешению, остались лишь кое-какие окончательные формальности, с которыми я могу справиться один. «Поезжай в клинику, — предлагаю я Пикассо, — навести своих». Но он отказывается. И вот МИД и МВД Франции находят устраивающий всех выход: Неруда покинет страну на машине, пограничников предупредят, чтобы не чинили препятствий, а вернется, когда паспорт будет в порядке.

И в Швейцарии, где ждет Пабло его тогдашняя жена Делия дель Карниль по прозвищу Муравьиха, находится пламенный поклонник его дарования — бывший чилийский консул. А он, благо, на всякий случай и выйдя в отставку сохранил штемпели и бланки, так что продлевает действие старого паспорта, привезенного Делией из Сантьяго, и наш поэт вновь оказывается в Париже — и на этот раз не в обличье дона Антонио де Чего-то Там Такое, а под истинным своим именем — чилийского гражданина Нафтали Рикардо Рейеса. Это потом, уже вернувшись в Чили, он во всех документах будет фигурировать не как усатый дон Антонио и не как Нафтали Рейес, а как Пабло Неруда, поэт и борец.

Пикассо же занимался этим делом до тех пор, пока не убедился, что оно решено окончательно, и лишь тогда доверил мне остающиеся мелочи — обеспечить машину и охрану в лице юных студентов-коммунистов Пауло Родригеса и Алберто Кастиэла. Они вывезли усатого Антонио в Швейцарию, а обратно привезли Неруду — без усов, но с настоящим паспортом.

Вернувшись в отель, я рассказываю Зелии обо всех перипетиях этого дня, о звонках Пикассо в клинику, о рождении Паломы.

— Если у нас когда-нибудь родится девочка, мы тоже назовем ее Паломой, — говорит Зелия.

Случай представился в 1951 году. По стечению обстоятельств, наша Палома зачата была в Варшаве, на Втором конгрессе сторонников мира. Очевидно, нас с Зелией вдохновляли бесчисленные голубки, изображениями которых пестрели стены польской столицы.

## Баия, 1991

Я принимаю префекта Жандаиры — городка, расположенного к северу от Баии, на границе со штатом Сержипе, и обладающего лучшим в мире пляжем: позвольте и мне разок потешить свое тщеславие. Сейчас объясню, в чем оно заключается.

Префект приехал, чтобы пригласить меня на торжество, посвященное переименованию городка: Жандаира, согласно воле его жителей, проведших плебисцит, будет отныне носить имя Сант-Ана-до-Агресте. А ведь это имя вымышленное — это я его вымыслил и поселил в этом воображаемом, несуществующем, на карту не нанесенном городке пастушку Тьету, главную и заглавную героиню моего романа.

Я сочинил роман, а Агинальдо Сильва — сценарий сериала, снятого телекомпанией «Глобо». И сериал побил все рекорды, собрав немыслимую аудиторию. В статье одного телекритика из Сан-Пауло я нашел объяснение этому: критик утверждал, будто «теленовеллы», созданные по мотивам моих романов, просто обречены на успех, ибо описываемые мною шлюхи пользуются всеобщим уважением и сочувствием, они, хоть и сбились с пути истинного, предстают под моим пером достойнейшими из достойных. Критик-то хотел уязвить меня, обвинить в потакании низкопробным вкусам плебейской аудитории, но зря потратил время, впустую вострил свое перо. Я воспринял это как высшую похвалу. Жители городка Жандаиры признали описанные мною улочки и переулки, тупички и площади Сант-Аны-до-Агресте своими, узнали в вымышленных персонажах самих себя.

Были, разумеется, и нарекания, и обида — с какой это, дескать, стати, заставил я Тьету жить и любить в мифической Сант-Ане-до-Агресте, когда с первого взгляда видно, что действие моего — и ее — романов разворачивается в реальной Жандаире?! Мне не впервые приходится выслушивать подобные обвинения: режиссер Бруно Баррето, снявший для «Метро-Голдвин-Майер» мою «Габриэлу», объяснил в многочисленных газетных интервью итальянский выговор Насиба, которого сыграл Марчелло Мастроянни, так: он, то есть режиссер, якобы предпринял расследование в городе Ильеусе и установил, что Насиб — никакой не араб, а чистокровный итальянец. Нет, ну вы подумайте только, сколь плачевна участь романиста — Бруно поменял национальность сотворенного мною героя, жители Жандаиры обвиняют меня в топонимическом подлоге. Скажу как на духу: когда писал я «Тьету», то ни малейшего понятия о самом существовании славного города Жандаиры не имел.

Я пообещал префекту, что непременно прибуду на церемонию переименования, да не один, а с супругой своей, доной Зелией.

## Касабланка, 1989

Вот вам истинная и правдивая история про сеньора Виейру и его супругу, а тем россказням, сплетням и небылицам, что сплелись вокруг нее — истории, разумеется, а не супруги, хотя и супруги отчасти тоже, — убедительная просьба не верить. Все эти переносчики слухов слыхали звон да... ну, и так далее.

Дело было так. Мы вчетвером — Калазанс Нето, мой друг и персонаж, с женой Аутой-Розой, Зелия и я — прибыли в Касабланку и остановились в одном из двух лучших отелей. Минут через десять после того, как разместились, Аута-Роза обнаружила в номере таракана, и отель был занесен в черный список. Поскольку мы должны были в тот же день ехать в Марракеш, то решили перейти через площадь в отель-конкурент, насладиться там роскошью и комфортом и в нем же зарезервировать номера — вернуться предполагали через неделю.

Внизу, у стойки портье, к нам приблизился молодой еще, спортивного вида, довольно красивый мужчина, с любопытством оглядел меня и осведомился, не писатель ли я из Бразилии и не Жоржи ли Амаду меня зовут. Получив утвердительный ответ, страшно обрадовался — взрыв патриотических чувств, обмен любезностями, все как полагается. Похвалил наш выбор — отель превосходный, чистота изумительная, тараканов нет и в помине — и в доказательство пригласил нас в свой номер: убедитесь, мол, сами. Я стал было отнекиваться, но дамы настояли, и мы сели в лифт, вылезли на восьмом этаже и поплелись за нашим земляком по коридору. Он стукнул в дверь номера, каковая была нам открыта девочкой лет примерно пяти. «Куда иголка, туда и нитка», — загадочно молвил наш амфитрион, и фраза эта совершенно непонятно почему заставила меня подумать, что он — вдовец, оставшийся с ребенком на руках. Номер был погружен в кромешную тьму, и продвигались мы по коридорчику ощупью и гуськом, в таком порядке: впереди сеньор Виейра, за ним — я, а в арьергарде — все остальные. Виейра сделал какое-то движение — как я понимаю, отдернул шторы, — и в комнату хлынул поток ослепительного марокканского солнца, и тотчас послышался женский крик:

— Виейра, что такое?!

— Это Жоржи Амаду, душечка! — предвкушая эффект, провозгласил мой читатель, а мне пояснил: — Моя жена.

Взглянув туда, куда указывал его палец, я увидел простертую на двуспальной кровати и прекрасно освещенную солнцем абсолютно голую молодую женщину. Что тут скажешь? Ничего. Вот и я тогда тоже ничего не сказал, а только вытаращил глаза на это небесное видение, даже не подумавшее прикрыться, — наоборот, она еще сильнее выпятила груди, словно омываемые потоками света. Аллилуйя, да и только. Как воспитанная женщина, она предложила мне присесть, почтив этим приглашением меня одного, потому, надо думать, что прочие посетители не были ей представлены: Виейра произнес ведь только мое имя.

Посидел я у нее на кровати очень недолго, ибо Зелия, осмотрев и одобрив номер, заторопилась сама и нас поволокла за собой. Я и сегодня не могу понять и принять причин такой безумной спешки. Виейра, ведя девочку за руку, проводил нас до дверей — мы поблагодарили и распрощались. Пока шли к лифту, я вполголоса спросил Калазанса:

— Ну что, потешил взор?

— Чем это, интересно?

— Как чем? Наготой сеньоры Виейра!

— О чем ты, не понимаю?!

И тут выяснилось, что Калазанс, переступив порог, так и остался стоять во тьме прихожей, в комнаты не пошел, а я этого не заметил. Ну-у, что тут началось!.. Калазанс, узнав, чтґо он потерял, чуть с ума не сошел и ринулся было обратно, в гостеприимную обитель четы Виейра под предлогом забытого там берета — а вдруг наша красавица еще не успела одеться?

— Опомнись, Кала, берет у тебя на голове. Поздно — зевать не надо было.

Мы улетели в Марракеш, где провели неделю. Считаю своим писательским и человеческим долгом заявить, что ни городские достопримечательности, включая старинную мечеть, ни шведки, в чем мать родила загоравшие у бассейна в оазисе, не смогли изгладить из памяти Калазанса горькие сожаления: главного зрелища он лишился исключительно по собственной лени.

Вернулись в Касабланку, остановились в том отеле, где не было тараканов и где у нас были заказаны номера. Еще до того, как сунуть портье паспорт, Калазанс осведомился о месье Виейре.

— Виейра? Это тот бразилец, у которого такая аппетитная жена? — портье нарисовал в воздухе что-то вроде амфоры. — Quelle femme, cher monsieur[[50]](#footnote-50), — и причмокнул губами. — Уехали. Вчера отбыли к себе в Рио.

Вот вам истинная история о супруге сеньора Виейры, а те гнусные измышления о том, что кто-то якобы лазал на пальму и заглядывал в окна номера, — злонамеренная чушь, распускаемая достопочтенным профессором Калазансом Нето.

## Прайя, 1986

Мы направляемся в зал, где состоится официальный обед, который президент Республики Острова Зеленого Мыса дает в честь президента Бразилии. Жозе Сарней прилетел в Прайю с официальным визитом.

В эту минуту Зелия сжимает мне руку. Останавливаемся. Перед нами в коридоре сеньора Арисидес Перейра, жена президента, «первая леди Зеленого Мыса». Не замечая нас, она при звуках музыки, доносящейся из банкетного зала, перед тем как войти туда, делает несколько танцевальных па — скорей всего, это самба, — так что бедра покачиваются в прихотливо-зазывном ритме, и она вращает задом, как умеют делать это лишь мулатки на карнавалах.

## Улан-Батор, 1952

Лингвистические заморочки начались сразу же, едва лишь мы приземлились в аэропорту Улан-Батора. Толпа встречающих — тут тебе и члены правительства, и партийные руководители, представители Союза писателей, Комитета защиты мира, Комитета монгольских женщин (эти явились специально, чтобы приветствовать Зелию Амаду и Росу Гильен), комсомольцы и пионеры. Наш визит в Монголию — событие огромного значения, ибо никому в целом свете нет дела до самой старой и самой маловажной страны народной демократии. Она (надеюсь, вам понятно, что речь о стране, а не о демократии) зажата между СССР и Китаем, две трети ее территории занимает пустыня Гоби, населена пастухами, строит социализм, для туристов закрыта, западным коммунистическим интеллектуалам неведома. И вот теперь принимает члена Бюро Всемирного совета мира. Мало того — член этот увенчан Международной Сталинской премией. Это я про себя. А с ним — знаменитый поэт Николас Гильен. Я, конечно, помню знамена, транспаранты, толпу у трапа, но перед глазами так и стоит огромная ледяная долина, окруженная высоченными горами. Более величественной картины я в жизни не видывал. Мороз — тридцать градусов.

Министр культуры и будущий премьер подходит к микрофону и начинает приветственную речь, которую переводят на русский. «Ну, все, вы у меня в руках!» — хвастливо говорит Зелия, единственная из нас четверых, кто знает хоть несколько слов на языке Пушкина и Достоевского. Затем следует перевод на английский, маленький переводчик глотает слова и захлебывается. «Пропадете без меня!« — продолжает ликовать Зелия, которая опять же одна может, как ей кажется, изъясняться по-английски. Ее заблуждение очень скоро рассеивается, ибо, когда я требую у этого полиглота перевести, она бестрепетно отвечает: „Нас поздравляют с благополучным прибытием и говорят: «Добро пожаловать!»» Мне остается лишь скрипеть зубами: ох, ни у кого мы не в руках, а совсем в другом месте.

Не зная монгольского, русского и английского, я не решаюсь даже произнести «мерси», но ответную речь, сказанную на родном баиянском наречии, завершаю призывом «Za mir vo vsiom mire!», эту советскую здравицу я затвердил на конгрессах и произношу ее специально для изумленных радиослушателей, которые ничего не понимают.

Нас рассаживают по машинам и везут в гостиницу. Я вижу на улицах людей в национальных костюмах из ярко расшитой дубленой овчины, в высоких сапогах и теплых шапках — мужчины кажутся мне рослыми и крепкими, женщины — хорошенькими. Министр и прочие официальные лица, сопровождающие нас, сильно проигрывают в сравнении с ними, выглядят в европейской одежде какими-то бесцветными и невзрачными. Костюмы и пальто московского пошива сидят на удивление паршиво: очевидно, их надевают лишь по необходимости — по особо торжественным случаям, вот вроде того, что выдался сегодня.

В гостинице нас знакомят с каким-то здоровяком в белой хламиде поверх костюма, который ему безнадежно мал. Как ни старается Зелия, нам не удается понять, кто этот человек и в чем состоят его обязанности.

— Парикмахер! — осеняет Росу. — Вот кстати! Николас, тебе пора подправить баки!

Дальнейшие события доказали ее неправоту.

Потом нас везут показывать город. Маленький переводчик — возраст его определить я не в силах: все монголы, за исключением детей, разумеется, кажутся мне людьми средних лет, от тридцати примерно до сорока, — переводит на английский объяснения министра, время от времени останавливающего машину перед бетонными зданиями. Зелия старается как может, и благодаря ее усилиям мы узнаем, что это вот — Совет Министров, а это Центральный Комитет, а это — Великий народный хурал, монгольский парламент. Однако гораздо интересней этих считанных домов в унылом советском стиле разбросанные по равнине шатры, многие сотни шатров: круглые, из необычайно плотной верблюжьей шерсти, просторные, удобные, с очагом посередине. Там живут длинноусые пастухи и их толстые жены: совсем другой город, воздвигшийся здесь на час или на год, он куда больше и несравненно притягательней, чем Улан-Батор из кирпича да из бетона.

Зимой, когда пастухи-кочевники стекаются сюда из пустыни, население столицы удваивается. В начале 1952 года в Улан-Баторе постоянно проживало пятьдесят тысяч человек, а зимой их становилось больше ста тысяч. Во всей Монголии было всего около миллиона. Мы останавливаемся перед деревянной, очень красивой постройкой в китайском стиле. Это дворец живого бога: перед тем как страну захватили японцы, Монголия была теократическим государством, и правил ею далай-лама — земное воплощение Будды. Лама заключил союз с Сухэ-Батором и изгнал из страны русских белогвардейцев, которые, сменив японцев, угнетали монгольский народ. А после победы оставался у власти до самой своей смерти в 1923 году, когда в независимой Монголии установился социалистический режим. Из ста тысяч буддийских монахов выжила тысяча, из тысячи монастырей уцелела сотня. В конце нашего пребывания мы посетили живого Будду — очень даже живого, если не партийного, то явно сочувствующего, — и он произнес перед нами похвальное слово коммунистическому правительству.

Бґольшую часть того, что говорил министр, мы не понимали, и через маленького толмача Зелия обратилась к нему с нижайшей просьбой — найти нам, ради всего святого, во имя Маркса и Ленина, переводчика с французского, а если с испанского — то еще лучше, ибо Роса никакого другого не знает. На это министр жалостным голосом поведал нам, что нет в народной республике человека, владеющего французским, а уж испанским — и подавно. Он выразительно и беспомощно разводил руками и, конечно, испытывал унижение. Мне даже стало его жалко. Делать было нечего, пришлось удовлетвориться познаниями доны Зелии, мы все же оказались у нее в руках, и я благодарно расцеловал их.

Раблезианский ужин проходит под внимательным взглядом того самого здоровяка в белом халатике. И все же — кто он, какую роль выполняет? Явно не парикмахер, тут Роса ошиблась. Директор ресторана, предположила Зелия. Мы с Николасом по его приглашению попробовали национальный напиток — водку из ослиного молока. Поначалу она показалась нам отвратительной, но таинственный незнакомец настаивал, мы повторили и постепенно оценили ее своеобразную прелесть.

Программа назавтра предусматривает встречу с членами правительства, визит в ЦК, затем в парламент, затем посещение университета. Что же нам делать? Как слушать приветствия и отвечать на них? Как вести беседу?

Уже подходил к концу наш завтрак, не менее роскошный, чем вчерашний ужин, когда появился министр культуры в сопровождении какого-то человека неопределенного (как все монголы) возраста и с ликованием отрекомендовал его нам: «ФРАНСУСКИ, ФРАНСУСКИ!»

— Bonjour! — вскричали мы дружным хором.

— Bonjour, — тихо, еле слышно ответствовал долгожданный и столь необходимый нам переводчик. Нашли все-таки, расстарались и раздобыли.

Сильно запаздывая, мчимся во Дворец правительства, а по дороге я пытаюсь завязать с переводчиком разговор, но разговор не клеится. И вот мы сидим вокруг длинного стола рядом с первыми лицами Монголии, очень большими начальниками, партийными тузами и шишками, и премьер-министр начинает приветственную речь. Переводчик переводит медленно, слово за словом, широкоскулое лицо бесстрастно и непроницаемо, однако я понимаю, как он напряжен и взволнован. Голос монотонный, и по-французски он говорит правильно, с русским акцентом — похоже на дикторов советского радио. Мы с Николасом благодарим, рассказываем — он про Кубу, я про Бразилию, перевод на родной язык дается нашему толмачу легче: речь его льется гладко и бойко. Министр культуры сияет.

Вскоре мы подружились с переводчиком, и он поведал нам свою историю. Он жил себе тихо и мирно, учил детишек в школе, и вот однажды на рассвете — оторопь, ужас, холодный пот. К нему вломились агенты госбезопасности, схватили и увезли, ничего не объясняя. Наша просьба достать человека, владеющего французским языком, поставила монгольские спецслужбы на уши, начались лихорадочные поиски, весь Улан-Батор перетряхнули, перевернули вверх дном, и вот наконец некая сотрудница Национальной библиотеки сообщила о том, что вот есть такой скромный и незаметный гражданин, школьный учитель, известный под прозвищем «француз» именно потому, что посвятил себя изучению этого языка. К несчастью, я не помню, как будет «француз» по-монгольски, хотя в те времена обращался к нему только так — имя его я выговорить был не в силах. А вот Зелия смогла и запомнить, и произнести.

Вообразите, он в одиночку, без учителей и учебников, овладел французским, которым пленился, слушая передачи Всесоюзного радио. Он раздобыл в библиотеке французскую грамматику, вскоре затверженную от корки до корки наизусть, и три книжки — «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» и какое-то сочинение о винах и сырах. Он читал их и перечитывал десятки раз, научился отличать д’Артаньяна от камамбера, Рошфора от рокфора, запомнил самые знаменитые марки бургундского и бордо. И продолжал каждую ночь слушать советское радио — не пропустил ни одной передачи.

В то раннее утро, когда политическая полиция увезла его неведомо куда, он чуть не умер от страха — подумал, что все кончено. Доносы, аресты и процессы — расхожая монета сталинизма — давно уже были в странах народной демократии в большом ходу. Стали расспрашивать про его интерес к французскому — и он понял, что, изучая его, совершал тяжкое преступление против партии и отчизны. Чистосердечно признался во всем.

К несказанному удивлению «француза», его не препроводили в тюрьму, а переодели в европейское платье — в брюки он еле влез, пиджак жал под мышками, был тесен в груди и не застегивался — и отвезли в Центральный Комитет, где ему дали задание: работать переводчиком при знатных иностранцах — лауреате Сталинской премии, знаменитом поэте с Кубы и их женах. Все происходило в страшной спешке, поскольку уже близился час встречи во Дворце правительства. Его поволокли в гостиницу и в дверях сдали с рук на руки министру культуры.

Так началаcь его карьера: он стал переводить с монгольского на французский речи членов правительства, секретарей ЦК и прочего начальства. Надо заметить, что его тихое «bonjour» при встрече с нами было первым словом, которое он произнес по-французски. До тех пор — никогда, нигде, ни единого. Вот какая невероятная история случилась в Монгольской Народной Республике в феврале 1952 года, когда я был там с Зелией и четой Гильенов.

Итак, как я уже говорил, мы с ним подружились, он понемножку оттаял и освоился, и от него мы узнали, что верзила в белом — никакой не парикмахер, а врач, отвечающий за наше здоровье. А звали его — копирую буква за буквой — Лудвсандердийн Золзхаргал. Желающие могут попытаться выговорить. А маленький монгол продолжал переводить с английского для Зелии, поскольку я заявил, что она не имеет прав на нашего «француза». Она пожала плечами и показала мне язык.

Мы предложили нашим переводчикам и девицам из Комитета монгольских женщин, приставленным к Зелии и Росе, носить национальные костюмы. Те с радостью согласились — и преобразились неузнаваемо. Девицы сразу похорошели, маленький переводчик прибавил в росте, да и наш «француз» расправил плечи, стал каким-то элегантным, значительным, исчезли скованность и неловкость. На прощанье я спросил, чем могу быть ему полезен, и он попросил меня выписать для него советские журналы на французском — «Temps Actuels», «Litterature Soviґetique», «Cahiers du Communisme», словом, что найдется. Я так и сделал и, прибыв в Москву, подписал его на максимальный срок — на пять лет.

А в декабре того же года в Вене, где проходил очередной Конгресс в защиту мира, я встретился с министром культуры, возглавлявшим монгольскую делегацию. И, конечно, спросил его о нашем «французе»: как, мол, он поживает и что поделывает, вернулся ли в школу?

— Да какая там школа?! Вы в своем уме?! — вскричал министр по-русски через посредство бойко щебетавшей на многих языках австриячки-переводчицы. — Неужели бы мы стали разбрасываться такими ценными кадрами?! Он — начальник Европейского департамента Министерства иностранных дел. Вскоре после вашего визита мы этот департамент и создали.

## Баия, 1965

Глубокой ночью просыпаюсь от каких-то странных звуков — кажется, они доносятся из столовой. Встаю, стараясь двигаться бесшумно, выхожу из спальни — на кухне свет. Неслышным тигриным шагом крадусь туда — застану вора врасплох, внезапность — лучшее оружие, особенно когда другого нет. Нет и никогда не было: даже в бытность мою депутатом Законодательного собрания я был единственным парламентарием, ходившим без револьвера. Помню, как поразился мой коллега Силвестре Периклес де Гоэс Монтейро, когда я распахнул пиджак, и он не увидел у меня на поясе кобуры: «Да ты с ума сошел, Жоржи!»

И что же я застаю на кухне? Моя теща, дона Анжелина, и собственная моя родная мать, Лалу, в глухих и длинных, как подобает почтенным и вдовым дамам, ночных рубашках, всасываются в истекающие соком манго — замечу, кстати, что так и только так, если хотите получить истинное наслаждение, следует есть эти плоды. Сок струится по подбородкам, заливает целомудренные рубахи, оставляя на полотне влажные желтые пятна. Они пожирают манго алчно и умело, и разбудивший меня шум производят уста этих сеньор, самозабвенно наслаждающихся только что сорванными с ветки плодами.

Я удаляюсь на цыпочках: не дай Бог, заметят — умрут обе от смущения. Старушки воспользовались глухим полночным часом, чтобы полакомиться украдкой — от этого еще божественней делается вкус манго. Хлюпанье и причмокиванье сопровождают меня.

## Баия, 1967

Моя дочь Палома врать не умеет — или считает это ниже своего достоинства. А потому нам, родителям, было заявлено прямо и честно, что сегодня она отправляется на студенческую манифестацию протеста, которую организует ее братец, второкурсник Жоан Жоржи. Будет уличное шествие, будет митинг — и все это против военной диктатуры. Паломе еще нет шестнадцати, она — в выпускном классе Колежио де Апликасан, и это ее первая политическая акция. Вид у нее очень решительный — она явно намеревается стоять насмерть, отстаивая свои права от родительского произвола. Папы и мамы многих ее соучениц, напуганные их радикальными речами, проявили благоразумие и наложили запрет на участие. Палома, сообщив, что уходит и не услышав возражений, отправляется демонстрировать.

Вслед за ней торопливо собирается Зелия, хватает ключи от машины, бросает мне на бегу слова нежного прощального привета:

— Пока!

— Куда это ты?

— Неужели ты мог подумать, что я в такую минуту оставлю дочь одну?! Разве ты меня не знаешь?

Я улыбаюсь — знаю, Зелия, знаю. Помню, как ты с обычным своим жизнерадостно-озабоченным видом шла в толпе демонстрантов в 1945-м, когда катилась к концу Вторая мировая война, как поднималась на трибуны, произносила речи на митингах, как носила транспаранты... Должно быть, страсть к политике унаследовала она от отца, Эрнесто Гаттаи, автомеханика по специальности и анархо-синдикалиста по убеждениям: он стал жертвой диктатуры — попал в тюрьму, а выйдя из нее, прожил недолго...

Зато директриса Колежио де Апликасан в ужасе пытается удержать вверенных ее попечению девиц от участия в манифестации и патетически восклицает, обращаясь к Паломе, которая всегда была примерного поведения:

— Ты бы хоть о матери подумала!

В эту минуту подкатывает Зелия, вылезает из машины.

— Слава Богу, она приехала за тобой! — облегченно вздыхает директриса.

— Мама! — вложив в это слово всю горечь своего разочарования, вскрикивает Палома.

— Я пойду с тобой на демонстрацию.

Гимназистки ссыпаются с крыльца, как спелые плоды с ветки. Рядом с крамольницей-дебютанткой идет смутьянка со стажем. Гремят песни, скандируются лозунги самого подрывного свойства — толпа требует демократии. Любопытные с балконов и из распахнутых окон удивленно гладят на элегантную даму средних лет, окруженную морем молодежи. В первых рядах — Жоан Жоржи, закоперщик и главарь, он с гордостью показывает товарищам на мать и сестру.

Домой они возвращаются как на крыльях, радость переполняет их. Глаза у них — красные и воспаленные. На Кампо-Гранде демонстрантов встретили солдаты — пустили в ход дубинки, а потом и гранаты со слезоточивым газом. Шествие разогнали.

— Больше ни одной манифестации не пропущу, — предупреждает меня Зелия.

## Рангун, 1957

Даю всем желающим два совета — причем совершенно бесплатно, ни гроша ни с кого ни за один не возьму, хотя мне самому новообретенная мудрость обошлась весьма дорого. Впрочем, в первом случае я учился на горьком опыте Зелии. Формулируется мой совет или завет так: увидев нечто привлекательное, покупайте немедленно, сию минуту и не сходя с места — откладывать на потом, рискуя никогда больше не встретить объект вожделения, рискованно.

В городе Карачи, столице Пакистана, Зелия высмотрела на витрине истинное чудо — туфельки, о которых мечтала всю жизнь, с той поры как увидела точно такие на ногах одной великосветской дамы, вместе с мужем-дипломатом долго прожившей в Индии. Она уже остановилась было, хотела зайти да купить, но я, применив, можно сказать, силу, потащил ее дальше: мы ведь только-только прибыли в Пакистан, впереди у нас — Индия, Цейлон, Бирма, и мы наверняка встретим еще тысячи таких туфелек, а может, даже и лучше и наверняка дешевле. Под напором безупречно логичных аргументов дрогнула Зелия, признала мою правоту, упорствовать перестала.

Мы объездили весь Индостан с севера на юг, с востока на запад, побывали на Цейлоне и в Бирме, повидали множество чудес и диковин, но туфелек, которые так понравились Зелии и которые не дал я ей купить, — не встретили. Она до сего дня не позабыла мне этого и время от времени с горькой укоризной напоминает мне мой проступок.

Ну-с, теперь слушайте второй совет — не позволяйте, чтобы ваш багаж путешествовал отдельно от вас, ибо может он потеряться, как случилось с нашими чемоданами в Индии. Виновата в том злосчастном происшествии была Зелия, но не только она, а еще и Пабло Неруда.

Итак, мы вылетели из Коломбо и сели в Мадрасе. Сделанная накануне прививка от холеры валила нас с ног; зал таможенного досмотра был переполнен. Мы положительно умирали от усталости, поскольку путешествие началось на рассвете, и мечтали об одном — как бы добраться до гостиницы. А ведь нам предстояло еще пролететь всю Индию, с посадками в Бомбее и Дели, а в Калькутте сменить самолет и отправляться в Рангун.

...Присев в кресло, я безучастно наблюдал, как Зелия и Неруда оживленно беседуют с таможенниками, договариваясь с ними о том, что багаж пойдет своим ходом, а в Калькутте мы, осмотрев город, его получим и дальше полетим вместе. Я попробовал было вмешаться, но голос мой был слаб и протест бессилен, я воззвал к Матильде, она меня не поддержала, и угасающим взором я проводил, мысленно прощаясь навсегда, свою пишущую машинку, которая уплывала от меня навстречу своей неведомой судьбе.

— Пабло, смотри, потеряешь рукопись своей новой книги стихов, — сказал я, но он обозвал меня мракобесом, не верящим в возможности «третьего мира».

Ладно. У каждой супружеской четы осталась так называемая ручная кладь — дорожная сумка через плечо, и больше половины места в ней занимают вещички дамы: разнообразнейшие комбинации, блузки-кофточки, косыночки-платочки, лифчики-трусики — так что кавалер может запихнуть туда лишь сорочку да кое-что из нижнего белья, да пару носовых платков.

И мы отправились по Индии — прекрасной и нищей, и вот настал момент, когда нищета сделалась такой нестерпимой и непереносимой, что заслонила собой красоту. В Бомбее, в отеле, застав меня в номере одного, горничная предложила мне за сколько-то жалких рупий — не помню точно, за сколько именно — двенадцатилетнюю девочку, а получив отказ, уведомила, что вместо девочки можно и мальчика — того же возраста и за ту же сумму, англичане порой предпочитают именно это. И протянула руку, требуя мзды за предложение и за информацию. В Дели за нами неотступно следовали несчастные нищие дети, нараспев выпрашивая милостыню. У Зелии до сих пор звучит в ушах мелодия этих жалостных песнопений. А впереди всех, быстрее всех прыгал по-лягушачьи — на руках — маленький калека. Нам приходилось спасаться от них бегством.

Что же касается нашего багажа, то, как я и предвидел, он потерялся, и нам пришлось задержаться в Калькутте в ожидании его прибытия, какового не последовало. Священные коровы в буквальном смысле слова не давали нам проходу; москиты — тоже, наверно, священные — нещадно пили нашу атеистическую кровь, обезьяны — о, эти обезьяны! — зная, что главней их в Индии никого нет, вообще делали что хотели: карабкались по нам, залезали на спину, висли на плечах, пытались сдернуть галстуки с шеи моей и Пабло, шарили по карманам, искали в голове, щипали, спасибо, хоть не изнасиловали.

Зелия и Пабло, подельники и сообщники, несшие солидарную ответственность за то, что сгинули неведомо куда наши чемоданы, сумки, саквояжи и баулы, не говоря уж о моей пишущей машинке и рукописи стихов Неруды, пришли к выводу, что багаж отправили в Рангун. «Да почему же в Рангун-то? Чего ему в Рангуне делать?» — допытывался я, но ответа не получил, и, разумеется, когда прилетели в столицу Бирмы, никаких вещей там не обнаружилось. Я был так удручен и несчастен — переодеться даже не во что! — и пребывал в таком упадке, что не хватило даже духу высказать Зелии все, что я о ней думаю, прямо в глаза — в глаза, которые она, бедняжка, не смела на меня поднять. Неруда же никаких угрызений совести не испытывал — ну да, поэты же существа высшего порядка, они парят в поднебесье.

А в Рангуне шел нескончаемый тропический ливень, плащи и прочее остались в пропавшем багаже, и я часами висел на телефоне, тщетно пытаясь дозвониться до бразильского консула в Калькутте — ни разу мне это не удалось. На улице нас принимали за янки, и националисты постоянно оскорбляли и угрожали, а то и замахивались. Что прикажете делать? Что принять? Оплеуху как вклад в дело борьбы с американским империализмом или же участие в их манифестации, за что можно было схлопотать несколько месяцев бирманской каталажки?

Там, в Рангуне, отпраздновали мы 2 июля — День независимости Баии и день рождения Зелии. Пабло по такому торжественному случаю написал стихи, но в памяти у меня осталась только первая строчка:

En este Rangoon de mierda[[51]](#footnote-51).

Пользуюсь случаем — багаж пропал, и как мне тогда в Рангуне казалось, навсегда пропал, кто ж мог знать, что спустя полтора месяца в Пекине он отыщется и к нам вернется, а уж как он туда попал, одному Богу известно, я и сегодня этого не знаю, чудеса случаются и в коммунистических странах, ибо нет Бога, кроме Будды, и Мао Цзэ-дун пророк его — так вот, пользуясь тем, что индийская таможня распотрошила наши чемоданишки, хочу публично и печатно, с гневом и отвращением заявить о своей ненависти к двум предметам дамского туалета.

Ну, во-первых, эти нагрудники! Как бы ни тщилось и не изощрялось человечество, подыскивая им более благозвучное, более пикантное имя — лифчик там, бюстгальтер, soutien или бра, но для меня эти сооружения, которыми женщины закрывают и уродуют свои груди, навсегда останутся мерзким подобием средневековых рыцарских доспехов. Даже эти маленькие, открытые, невесомые, кружевные, призванные не столько прятать, сколько являть, созданные, чтобы вводить во искушение и увлекать на стезю порока, сделанные исключительно для блуда, даже они оставляют неизгладимую печать, деформируют и портят. Груди должны свободно жить под платьем, выкатываться из декольте — о, этот мгновенный черный промельк грудей в квадратном вырезе белой баиянской блузы, когда торговка сластями наклоняется за товаром, являя взору самое главное лакомство своего лотка! — ибо чего тут стыдиться, зачем прятать это сокровище, будто есть в нем что-то непристойное или некрасивое?! Свободно колышущиеся под тканью груди соблазнительней, чем нагота topless.

И что же сказать мне о чудовищных постройках из прорезиненного полотна, с помощью коих тщится женщина стиснуть, усмирить, уменьшить в размерах зад свой и бедра в рассуждении приблизиться к модным ныне объемам топ-моделей, и кто это только ввел моду на костлявость, ведь истинно сказано было доном Эрнесто, тестем моим, понимавшим в таких делах толк, что кости собакам любы?! Эти мерзостные пояса, прямые потомки средневековых поясов целомудрия, деформируют и оскорбляют нежнейшую, красивейшую часть женского тела. Я разумею сейчас всю эту волшебную область, всю совокупность чудес явных и тайных, имеющихся спереди и сзади, сверху и снизу, — нет нужды перечислять все по отдельности. Я испытываю к этим приспособлениям мало сказать неприязнь — отвращение, они гадки и, уверен, они дурно пахнут. Я, правда, ни одного никогда не нюхал, но убежден: смердят!

Парламенты всех стран мира обязаны принять закон, запрещающий использование этих вредных для здоровья и безобразных с точки зрения эстетики штук — лифчиков и поясов-панталон. Я возвышаю свой гневный голос и требую: свободу грудям и задам, долой притеснение и угнетение! Красота должна быть выставлена напоказ, ее нельзя стыдиться и незачем прятать! Я объявляю священный поход против нагрудников и резиновых поясов, и под мои знамена стали уже трое — Карибе, Рене Депестр и мой зять Педро Коста. Все трое — люди с безупречным вкусом.

## Тайпа, 1970

В это волшебное лето Феррейра да Кастро[[52]](#footnote-52) обучает нас интереснейшему предмету под названием «север Португалии», он знает этот край как свои пять пальцев, возит из города в город, из деревни в деревню, из Оливейры-дос-Аземеис, где родился, до самой испанской границы — и о каждом местечке находится у него своя история. Несмотря на июльский зной, он не позволяет себе никаких летних вольностей — всегда в тяжелой тройке и шляпа на голове. Ни один француз не боится сквозняков и простуды до такой степени, как боялся их португальский романист.

Неподалеку от Гимарайнса, в местечке Тайпа, благодарные соотечественники воздвигли бюст в честь знаменитого писателя, чьи книги переведены на все языки, увенчанного разнообразными премиями — последнюю, «Золотого орла», ему только что присудило в Ницце международное жюри под председательством Мигеля Анхеля Астуриаса. Поставили бюст в парке этого маленького городка, в тени деревьев, рядом со скамейками, где по воскресеньям любят собираться местные жители. Я расточаю хвалы благородному деянию муниципалитета, но автор «Сельвы» не разделяет моего воодушевления:

— Да нет, они лишили меня летнего отдыха. Много-много лет подряд я приезжаю сюда хоть на несколько дней. Каждый день перед заходом солнца сижу на этой вот — он показывает — лавочке, разговариваю о всякой всячине, о жизни и смерти со стариками, и они мне рассказывают тьму интереснейших историй про людей и про обычаи, сообщают всякие мелочи и подробности, а из всего этого и складываются мои книги. Ты, Жоржи, сам знаешь, как это происходит.

Задувает легкий ветерок, Феррейра да Кастро зябко поправляет фуляр на шее.

— Они меня знали как «человека в шляпе», потому что я боюсь сквозняков и с непокрытой головой не хожу. А кто я таков, им было невдомек, и они меня не стеснялись, говорили со мной свободно — я был такой же, как они. Теперь с этим покончено — не сяду же я напротив собственного бюста, это было бы нелепо и смешно. Мне уже ничего не рассказывают, а только скажут: «Добрый вечер, ваше превосходительство» — и мимо. Это очень грустно. Жоржи, Зелия, пойдемте-ка отсюда, а то еще подумают, что я привез вас показать свой бюст, покрасоваться перед вами. Идем!

## Рио-де-Жанейро, 1970

Мой двоюродный брат Жилберто Амаду, вернувшись из Европы, приглашает меня на ужин, чтобы передать письмо от советского юриста, вместе с которым заседает в Международном суде. Жилберто, мулат из штата Сержипи, высоко поднялся по служебной лестнице — был депутатом, сенатором, послом в Чили и в Финляндии. Он видный юрист и литератор с именем и вообще — заметное явление в жизни нашего бразильского общества. Где бы ни появился он, вокруг него всегда вьются почитатели и поклонники.

Пока не собрались другие гости, Жилберто ведет меня в свой кабинет, разворачивает на письменном столе бесценную диковину, полученную в подарок в Амстердаме, — это начерченная на старинном пергаменте карта, относящаяся ко временам победы над голландцами, когда окончательно провалилась их попытка колонизовать наш Северо-Запад. На карте показаны те места в штатах Пернамбуко, Алагоас, Сержипи, Баия, в которых осели голландцы, не пожелавшие покидать Бразилию. И вот там, в Сержипи, а точнее в Эстансии, расположены земли нашего с Жилберто деда — полковника Жамеса Амаду. Кузен показывает пальцем и восклицает, дивясь и ликуя от неожиданного открытия:

— Мы с тобой голландцы!

— Ну да? — удивляюсь я и тотчас изъясняю свои сомнения: — Не забудь, что в свите принца Нассау прибыли в эту голландскую колонию и евреи, бежавшие от инквизиции из Испании и Португалии и получившие приют в веротерпимых Нидерландах. Принц привез их в Бразилию, многие тут остались. Не забудь, кроме того, что людей по фамилии Амаду в изобилии и на Пиренеях, и на Ближнем Востоке. Как знать, может, и наши предки, эти самые Амаду из Эстансии, были иудеи-сефарды? Голландцы ли, евреи — хорошие были люди.

Жилберто, поглядев на меня довольно неприязненно, сворачивает пергамент трубкой и бережно прячет в ящик стола. Насколько я знаю, больше он никогда никому карту эту не показывал.

Не было, нет и наверняка никогда не будет войны более нелепой, чудовищной и братоубийственной, чем та, которую ведут между собой евреи и арабы, — когда во множестве гибнут мирные жители, торжествуют терроризм, предрассудок, мракобесие, расизм. Нет ничего страшнее и бессмысленней войны между братьями, войны, лишенной всякого смысла, развязанной «торговцами смертью» — фабрикантами и поставщиками оружия. Их бы за решетку, а они во дворцах живут! Это они вертят правительствами и отдают приказы генералам. На Ближнем Востоке, где с обеих сторон воюют семиты, кровные и близкие родственники, евреи и арабы убивают и умирают в интересах третьих лиц, делая «холодную войну» горячей, и война эта, как никакая другая, есть отрицание гуманизма, раковая опухоль расизма, проказа нетерпимости, СПИД фанатизма. Одна сторона освящена моисеевыми скрижалями, другая — Меккой и Мединой, но на самом деле обе несовместимы с верой и культурой.

Ох, война между братьями, ночь средневековья, вдруг сгустившаяся на заре нового тысячелетия, — ее надо прекратить, и как можно скорей. Пусть живут рядом свободное Государство Израиль, отчизна иудеев, и свободное Государство Палестина, родина арабов, «Песнь Песней» и волшебные сказки Шехерезады. И Моисей, и Магомет рождены женщиной в одной и той же пустыне.

Когда разразилась Шестидневная война, на улицы Сан-Пауло вышли евреи и арабы — граждане Бразилии, где смешалась кровь многих рас, — устроили общую манифестацию во имя мира и гуманизма, вместе потребовали прекратить кровопролитие. И в тот час сердце мое наполнилось гордостью за то, что я бразилец. Потом, разумеется, вмешались посольства — израильское, египетское, сирийское, — делая все возможное и невозможное для того, чтобы примеру Бразилии не последовали другие страны. А я, старый бразилец, а значит, метис, в чьих жилах течет и арабская, и еврейская кровь, заявляю: покуда длится гнусное противостояние, я не приму приглашения ни от Израиля, ни от стран арабского мира. Я, кровный брат евреев и арабов, пересеку границу двух палестинских государств не раньше, чем воцарятся в них согласие и мир, не раньше, чем сядет племя семитов за один стол и преломит хлеб.

## Вроцлав, Польша, 1948

Своего давнего приятеля, уругвайского писателя Энрике Аморима, автора романа «Конь и его тень», я встретил в очередной раз здесь, во Вроцлаве, где проходит Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира. Он приглашает меня на просмотр документального фильма на волнующую тему — разведение лошадей на просторах пампы, а точнее — на бескрайнем пространстве его имения. Аморим — крупный латифундист, что не мешает ему при этом быть коммунистом.

У нас, в Латинской Америке, случаются и не такие чудеса: я вам назову десятки богатейших землевладельцев, которые придерживаются крайне левых, радикально-левых политических взглядов. Мой незабвенный друг Джованни Гимараэнс по секрету поведал мне: чем больше мое состояние, тем круче влево должен я «забирать», показывая, что фазендейро, достигнув зрелых лет и преуспевания, не отрекается от своих убеждений. Произнеся эту тираду, латифундист-маоист расхохотался своим неповторимым смехом — он и сегодня звучит у меня в ушах... Ах, Джованни, какая невосполнимая потеря...

В маленьком зале кинотеатра я с завистью гляжу на целый выводок юных дам, представительниц разных женских и феминистских организаций — они вьются вокруг нашего уругвайца, рослого, плечистого, сияющего красавца, истинного мачо, настоящего «латинского любовника», миллионера и коммуниста, словом, bel’uomo[[53]](#footnote-53), как сформулировал хрустальный голосок Марии... э-э... Марии-Флорентийки, которая и сама чудо как хороша. На экране — кровные жеребцы и кобылы, воплощение силы и изящества, выведенная порода, плод вдумчивой селекции: они носятся по необозримой равнине, простирающейся куда-то за горизонт, вольно резвятся на пастбищах, раздувают ноздри, топорщат гривы... И в живописном одеянии гаучо, во главе верных пеонов скачет романист Аморим по высокой зеленой траве, копытами своего скакуна топчет пампу и сердца приглашенных на просмотр дам.

Но вот стихает вольный галоп, жеребцов и кобылиц на лассо влекут на случку — улучшаем породу, искусственный отбор, поясняет не без лукавства высокий специалист Энрике. Процесс, заснятый во всех деталях крупным планом, приковывает внимание аудитории, с уст которой время от времени срываются то нервный смешок, то невольный негромкий вскрик, то истомный вздох. Мария-Пражанка, представляющая на конгрессе женщин Чехословакии, не может сдержать восторженного вопля, когда весь экран заполняет необыкновенных размеров член лоснящегося вороного коня, покрывающего припавшую на передние ноги кобылу. Энрике не упускает возможности докторальным тоном сообщить, что подобные анатомические особенности вообще присущи уругвайцам — и коням, и людям. Мария-Баиянка, самозванная корреспондентка неведомого бразильского издания, чувствует, как увлажнились ее кружевные трусики, прерывисто вздыхает и рукоплещет.

Просмотр окончен, Энрике Аморим триумфатором выходит из зала. Любопытно, которую из Марий изберет он своей первой жертвой?

— Хорошо снято, жизненно, — объясняет он, — но совсем другое дело — увидеть все это вживе, на фазенде, не хватает пьянящего аромата трав и конского пота.

## Сан-Пауло, 1944

После ужина Лазарь Сегал ведет меня к себе в мастерскую.

С этим художником меня связывает крепкая дружба, возникшая из моего давнего и искреннего восхищения его творчеством. Со щенячьим нахальством я берусь судить об искусстве, и в писаниях моих, наверно, немало чуши, но чутье меня не подводит — я превозношу этого мастера, я утверждаю, что ему нет равных, и признание льстит Сегалу — бразильцу, попавшему к нам из русских степей с заездом в Германию.

И безмерно мое изумление, когда Сегал царским жестом раскладывает на полу четыре или пять своих гуашей — одну другой прекрасней: «Выбирай любую! Хочу сделать тебе подарок!» — и качает головой, сам поражаясь собственному безрассудству. У меня глаза разбегаются, но вот наконец я останавливаюсь на картине, изображающей девушку в гамаке на фоне тропического пейзажа. Моделью для нее, несомненно, послужила Люси — ученица и натурщица.

Я протягиваю руку к новообретенному сокровищу, однако автор оказывается проворней — он снова прячет гуашь: «Не сейчас, сначала надо сделать для нее паспарту». Ладно. Я возвращаюсь в Баию с пустыми руками.

Переехав в начале 1945-го в Сан-Пауло, я снял квартиру на авениде Сан-Жоан, развесил по стенам нового жилища картины, рисунки с дарственными надписями друзей-художников. Я часто ужинаю в доме Сегала и вот однажды, победив робость, одолев неловкость, прошу вручить долгожданный подарок — уже год как он обещан да все не получен. «Конечно-конечно, ты прав, дружище, — говорит Сегал. — Я ведь не забыл: мне предлагали за него немалые деньги, но я не продал». После таких слов я надеюсь наконец унести гуашь, но надежды не сбываются и на этот раз. Потребовать понастойчивей решимости не хватает.

Еще через несколько дней Сегал звонит мне, договаривается о встрече и в назначенный час приходит в сопровождении работяги с молотком, гвоздями и еще какими-то причиндалами. Под мышкой у него картина в белой раме — с тех пор я несколько раз окантовывал ее заново, но цвет этот сохранял. Сегал выбирает для картины место — в самом центре, для чего требует снять оттуда мой портрет кисти Кирино де Силвы, производит с помощью своего спутника сложные замеры и собственноручно вгоняет в стену костыль — и от присутствия раскинувшейся в гамаке девицы комната моя становится светлее и просторней. Художник отступает, приближается, всматривается в свое произведение, поправляет, чтоб ровно висела, снова отходит на несколько шагов.

— Поздравляю, дружище, у тебя есть вкус. Ты выбрал лучшую. От сердца отрываю.

...Время от времени он появлялся у меня, и я всякий раз бывал польщен и тронут такой честью: «Благодарю, маэстро, что зашли ко мне...»

— Да не к тебе, — отвечал он. — Я к ней. Соскучился. Пришел навестить, — садился напротив и замирал в восхищении.

## Москва, 1954

Анна Зегерс звонит мне из гостиницы «Националь», что стоит неподалеку от Красной площади, в гостиницу «Метрополь», расположенную напротив Большого театра, — там остановились мы с Зелией, Пабло Неруда и Николас Гильен. Я только что приехала, взволнованно сообщает она, и мне надо немедленно с тобой увидеться, дело не терпит отлагательств. Анна, как и я, и многие другие со всех пяти континентов — гости Второго съезда советских писателей, его созыв — эпохальное событие для левой интеллигенции всего мира.

Но помимо этого, Анна должна принять участие в заседании Комитета по присуждению Международных Сталинских премий, членом коего является. А я, между прочим, лауреат этой самой премии, более высокой награды у меня до той поры не было, и меня благодаря ей принимают в СССР как «персону грата», как важную шишку. Вот насчет этой премии Анна и желает со мной говорить. Есть на нашей планете несколько человек, которые неизвестно почему свято верят в меня, считают меня значительным лицом, способным запросто решить любую проблему, в их глазах я всемогущ. В число их входит и Анна Зегерс.

А проблема, которой она так озабочена и по поводу которой ей требуется мой совет, оказывается весьма важной. Речь идет о Бертольте Брехте. Мы как-то ужинали с ним у Анны — они живут в одном доме в Восточном Берлине, если не ошибаюсь, он — на втором этаже, она — на четвертом. Анна дружит с его женой, Еленой Вайль[[54]](#footnote-54), они с ней вместе заседают в Комитете по присуждению Сталинских премий. С самим же Брехтом я познакомился ближе, когда режиссер Альберто Кавальканти снимал в Вене фильм по его пьесе «Господин Пунтила и его слуга Матти», и, кажется, я внес свой вклад в то, чтобы драматург и режиссер лучше понимали друг друга.

Вышло так, что руководители германской компартии — не помню, как она называлась: социалистическая или единая, суть дела от этого не меняется, чья твердолобая, сектантская ортодоксальность превзошла все мыслимые ожидания, стали поглядывать на Брехта косо — недоверчиво и неприязненно. Не беря в расчет то, что всю жизнь свою он посвятил торжеству идей социализма, этого удивительного писателя принялись обвинять в формализме, ибо творчество его никогда не укладывалось в прокрустово ложе ждановских понятий о соцреализме. И для начала порешили они, как шепнула мне Анна, лишить Брехта его театра, который оставили ему русские, когда покинули Берлин. В этом театре Брехт и его труппа ставили спектакли, прогремевшие на весь мир.

Анна Зегерс не могла оставить друга в беде — она тут же вступила в борьбу и сплела заговор. Они сделают его жизнь невыносимой, шепчет она мне, отравят ему существование, они затравят его, ты сам знаешь, какие они мастера на это. Есть только один-единственный способ положить этому конец, гарантировать ему спокойную жизнь, возможность работать, писать, ставить спектакли. Что же это за способ? Надо выхлопотать ему Сталинскую премию — если он станет лауреатом, никто не осмелится тронуть его и «Берлинер ансамбль», понимаешь? Ты должен мне помочь, Жоржи! Жюри соберется через четыре дня!

Времени в обрез, начинаются гонка и спешка. Загибаем пальцы, считая сторонников и союзников, тех, кто проголосует за Брехта: Неруда — раз, сама Анна — два, Эренбург — три, Арагон — под вопросом... Но тут Илья резко обрывает наши выкладки:

— Все это чепуха! Не тратьте время впустую. Нужно заручиться поддержкой Саши, — имеется в виду Фадеев, представляющий в Комитете по присуждению силу грозную и необоримую, ЦК КПСС. — Как он скажет, так и будет, наперекор его воле никто не пойдет. Надо лишь, чтобы он согласился помочь.

Он снимает трубку, набирает номер, договаривается о встрече и советует Анне: «Возьми с собой Жоржи, Саша его любит». Это правда: Фадеев относился ко мне тепло и уважительно, считал правильным товарищем, который не подведет и заслуживает доверия. И вот мы с Анной отправляемся к генеральному секретарю Союза советских писателей, чтобы уловить его в тенета нашей интриги.

Все оказалось проще, чем мы думали. Выслушав нас, автор «Молодой гвардии» без малейших колебаний обещает нам свою поддержку. Он включит Брехта в список «выдвинутых на соискание» и со своими рекомендациями подаст на рассмотрение политбюро — последнее слово за ним. Неужели это правда? Не знаю, трудно было сказать, где правда, а где игра интересов. Так или иначе, Брехт стал лауреатом, и партийные бонзы ГДР оставили его в покое, отвязались от него, перестали докучать. «Докучать»? Пожалуй, это не совсем то слово — оно далеко-далеко не исчерпывает унижения, которым бы его подвергли, хулу и брань, которые бы на него обрушились.

## Баия, 1970

В газетах напечатан проект введения предварительной цензуры на книги — плод раздумий и трудов профессора Алфредо Бузайды, министра юстиции в нынешнем правительстве. Мы переживаем самые черные дни: в стране установлена военная диктатура, пытки — хлеб насущный этого режима, кольцо вокруг демократов стягивается все туже, тюрьмы переполнены, идут повальные аресты, облавы, людей убивают без суда и следствия. Каждый день появляются новые декреты, указы и законы, от гражданских прав не осталось уже ничего. Сегодня опубликован новый законопроект — вводится предварительная цензура художественной литературы: рукопись обязательно должна быть направлена в соответствующее ведомство, а уж оно разрешит печатать полностью, либо с купюрами, либо вообще не разрешит.

Я звоню Эрико Вериссимо в Порто-Алегре:

— Читал?

— Читал. Какой ужас! Надо что-то делать!

— Я с тем тебе и звоню. Мы с тобой — самые популярные в Бразилии писатели, у нас огромная аудитория. Пришло время показать, что у нас тоже есть власть — власть над умами и душами.

И мы с Эрико сочиняем и подписываем заявление, где сказано, что никогда, ни при каких обстоятельствах не согласимся на предварительную цензуру наших сочинений, даже если из-за этого и придется отказаться от издания книг в Бразилии. Тут же, по телефону, редактируем это заявление, придавая ему стиль максимально энергический и категорический. Придумываем, как бы исхитриться и опубликовать эту декларацию. Решаем, что — Эрико в Порто-Алегре, я в Баии — разошлем ее во все местные газеты и в отделения газет Рио и Сан-Пауло. Кто-нибудь да рискнет. И быть по сему.

Затем я отправляюсь к Жоржи Кальмону, главному редактору «Тарде». Ознакомившись с нашим заявлением, он обещает сделать все, что будет в его силах. Заручившись его поддержкой, продолжаю обход всех баиянских газет и корпунктов. И вот итог — заявление Амаду и Вериссимо появляется чуть ли не во всех утренних газетах Рио, Сан-Пауло, Порто-Алегре, Баии. И на редакции обрушивается шквал телеграмм, звонков, писем: писатели выражают нам солидарность, а первым, если память мне не изменяет, поддерживает наше «благородное начинание» поэт Ледо Иво. Все больше подписей, все громче негодование, и наш протест становится чем-то вроде общенациональной кампании.

Министр печатает ответ, полный экивоков и недомолвок, обещает пересмотреть свой проект. В конце концов его положили под сукно. Власти, получив такой дружный отпор, решили не связываться с писателями, не вводить предварительную цензуру. Оказывается, читательская любовь, читательская аудитория — не столь уж эфемерны. Кое-чего стоят они, раз даже «гориллы» вынуждены с этим считаться.

## Париж, 1991

С утра пораньше звонит мне Жозе Гильерме Меркиор. Это одно из парижских удовольствий — потрепаться обо всем на свете с Зе. Дело в том, что он необыкновенно сведущ в бесчисленном множестве вопросов, где я полнейший профан, и подобный контраст придает нашим беседам особую пикантность, тем более что он никогда не высмеивает мое невежество, не разговаривает со мной с высоты своей образованности, не тычет мне в нос свою ученость.

Наша дружба знавала трудные времена, ибо некогда Зе Гильерме раздраконил, уж не помню точно, какой именно из моих романов или все разом и чохом. Газетные вырезки, содержавшие суровую критику мне, разумеется, прислали: свет, говорят, не без добрых людей, для которых нет удовольствия выше и наслаждения слаще, чем доставить ближнему какую-нибудь гадость, соболезнуя на словах и ликуя в душе, и как же упустить возможность сообщить собрату, что его обругали в печати, и прислать ему бранную статью о его творчестве — на лестную рецензию никто из этих доброхотов не станет тратить ни времени, ни почтовой марки. Я, однако, не принадлежу к тем, для кого человек, без восторга относящийся к моему творчеству, немедленно переходит в разряд злейших врагов, и потому продолжал читать юного эрудита и даже восхищаться им.

Но мы отвлеклись. Зе Гильерме живо и язвительно повествует мне, как недавно побывал на бракосочетании двух отпрысков старинных французских родов. Свадьбу играли в средневековом замке, и присутствовали там сплошь миллионеры да высшая аристократия. Рассказ уморительно смешной, но позвонил мне злоязычный Зе не затем, чтобы высмеять нравы, нет, его соседом по столу оказался Морис Дрюон, и вот от него он узнал, что...

Но прежде чем он успевает поведать мне, что же он узнал, я перебиваю его и начинаю говорить о Дрюоне. Не всем известно, что бывает не только любовь, но и дружба с первого взгляда — именно так подружились мы с французским романистом, и сразу показалось нам обоим, что мы знакомы с пеленок и что очень много общего у члена Французской академии и бедного полуграмотного баиянского сочинителя. Я ценю его виртуозный слог, восхищаюсь отточенным стилем, но милее всех иных регалий — его широкая популярность. Его любят, его читают — есть ли награда выше?!

Зе Гильерме, как природный дипломат, не перебивает меня, терпеливо дает высказаться до конца, а когда у меня истощается запас восторженных эпитетов, сообщает, что и Дрюон лестно отзывался обо мне и от него-то он узнал то, что мне, должно быть, давно известно... Да о чем речь, Зе? Как о чем? О премии, Жоржи! И, убедившись, что я и в самом деле ничего не знаю, сетует, что выболтал тайну, переводит разговор на другую тему, благо тем этих ему не занимать. Нахохотавшись вдосталь, я прощаюсь — ничего нет лучше с утра, чем поболтать с Зе Гильерме: заряжает бодростью на целый день. О вскользь упомянутой премии я забыл.

Но дня через три-четыре на коктейле в издательстве «Галлимар» Жан д’Ормессон[[55]](#footnote-55), еще один мой друг, еще один владетельный герцог французской словесности, человек, чьим творчеством я восхищаюсь — и не со вчерашнего дня, поздравляет меня с только что присужденной мне премией Чино дель Дука. Д’Ормессон был членом жюри, возглавляемого Дрюоном, и отдал свой голос за меня. Зе радостно тормошит меня — об этой самой премии он и проговорился накануне по телефону.

...На вручении диплома и чека в конверте он тоже присутствовал — сидел в первом ряду, бессильно подперев голову рукой, неузнаваемо изменившийся, исхудалый, бледный, с запавшими глазами, изглоданный страшной болезнью. Я видел его тогда в последний раз. Смертельно больной, обреченный, он все равно пришел поздравить и обнять собрата по перу. Из всего того, что происходило на этом торжестве, ничто не растрогало меня сильнее, чем появление Зе Гильерме, — жить ему оставалось тогда меньше месяца. Какая жестокая несправедливость судьбы: он ушел в полном расцвете сил, в пору наивысшей своей творческой зрелости...

## Рио-де-Жанейро, 1954

Збигнев Зембиньский[[56]](#footnote-56), узнав, что я собираюсь в Старый Свет и планирую побывать в Польше, просит меня помочь в одном деликатном деле. Правительство ПНР уже некоторое время настойчиво приглашает режиссера вернуться на родину, Министерство культуры торопит его, назначает сроки, требует немедленного ответа. Должно быть, польским властям неизвестно, что больше нет подданного Речи Посполитой Зембиньского, а под этим именем живет актер и режиссер, которого можно счесть бразильцем с куда большими основаниями, чем многих из тех, кто родился здесь.

К нам его, Туркова и пани Стипинску забросила война. Все знают, чем стало его пребывание в стране для нашего театра — он не то чтобы возродил, он создал его. В Польше у Зембиньского остался сын — студент Варшавской консерватории. Я уже дважды, бывая там, передавал ему деньги от отца, представил его Ярославу Ивашкевичу, который, насколько мне помнится, взял парня под свое покровительство.

Турков после нескольких нашумевших постановок уехал в Израиль, пани Стипинска блистала на сценах Рио, но зов родины оказался сильнее — она вернулась домой, сделалась примадонной польского театра и звездой польского кино. После этого ее соотечественники еще сильнее возжаждали возвращения великого режиссера — они взывали к его патриотическим чувствам, и мэтр просто не знал, куда деваться, как спастись от такого напора. Он видел единственное средство спасения: пусть-ка бразильская компартия напрямик скажет своим польским товарищам, что Зембиньский нам самим нужен, те, глядишь, и отвяжутся — для чего-то ведь существует пролетарский интернационализм?! Разумеется, роль вестника, который сообщит ЦК ПОРП о том, что ЦК БКП крайне неодобрительно смотрит на отъезд Зембиньского на родину, режиссер решил поручить мне. Я видел, что он и вправду в смятении, и поспешил успокоить его: раз надо, значит, надо.

Давая ему это обещание, я почти ничем не рисковал, ибо знал, как делаются дела в высших партийных эшелонах, и не сомневался, что наши руководители согласятся исполнить его просьбу. Все так и было: получая последние предотъездные инструкции, я изложил проблему и повез в Варшаву наше решительное «нет». Так что и у нас не сплошь были провалы — случались и удачи. Ну, а о том, что я твердо заверил Зембиньского в благоприятном исходе, я, верный партийной дисциплине, скромно умолчал.

## Баия, 1991

Звонок из Парижа. Мне заказывают статью для специального выпуска «Нувель Обсерватер», посвященного 500-летию открытия Америки. Тема: Бразилия — страна латинской культуры. Ладно, говорю я, напишу и, повесив трубку, задумываюсь.

Бразилия — страна латинской культуры? Что же, мы, бразильцы, — латиняне? Если это и так, то относимся к редкому их подвиду. На самом деле мы — метисы, мулаты, кто побелей, кто почерней, да еще с медным индейским оттенком. Зелия, родившаяся в Сан-Пауло от итальянца-отца и итальянки-матери, она что — латинянка? По крови — вроде да, а по культуре — нет, конечно.

У нас в Баии в ходу два выражения, пущенные, кажется, американским антропологом Дональдом Пирсоном, чтобы поточнее определить нашу широко объявленную принадлежность к латинскому миру и нашу потаенную — или похищенную — африканскую натуру. «Белыми баиянцами» называют светлокожих метисов, занимающих высокое положение в обществе. «Белыми баиянцами» были, к примеру, братья Мангабейра — виднейший юрист Жоан и Отавио, депутат, министр иностранных дел, губернатор штата. А «белые мулатки» — это опять же светлокожие, а порой и белокурые полукровки, чью негритянскую суть выдают мочки ушей, толстые губы, оттопыренный крепкий зад. Нагляднейший пример «белой мулатки» являет собой Мария Роша, красавица баиянка, не ставшая «Мисс Вселенной» потому лишь, что бедра ее оказались круче, чем требовалось, на два дюйма — о, бессмертные два дюйма, за которые ей следует благодарить африканскую кровь, смешавшуюся с кровью тевтонской.

## Эскориал, 1990

Нас пригласили в Испанию читать лекции на летних курсах при университете Алькала-де-Энарес и поселили в одном из тех зданий, которые еще в стародавние времена выстроил Франко для знатных иностранцев, приезжающих посмотреть на Долину павших.

Мне предстоит участвовать в «круглом столе», посвященном португалоязычной литературе и проходящем в рамках семинара по проблемам испанского романа. Культурный колониализм свел португалоязычные литературы до одной-единственной, да еще и пристегнул ее к испанским делам. Зелия же будет работать на другом семинаре, который называется «Политика и эмиграция». Кроме меня, на «круглый стол» приглашены — португальский писатель Жозе Кардозо Пирес, испанский профессор Перфекто Куадрадо, бразильский поэт Клаудио Мурило.

Кто-то из моих сотоварищей осведомляется, заплатили ли мне оговоренную за участие скромную сумму — 45 тысяч песет. Кардозо, например, уже их получил. Да нет пока, отвечаю я жалобно, и добрый португалец предлагает проводить меня к месту выдачи cachet. И мы бредем туда, и я получаю свои песеты, а Зелия робко спрашивает, не причитается ли и ей чего-нибудь за ее эмигрантов. А как же! И ей тотчас выплачивают девяносто тысяч — ровно столько, сколько вдвоем огребли маститые баиянец с лузитанцем. Мы гневно бичуем испанский колониализм за подобную дискриминацию, а Зелия ехидно осведомляется, не одолжить ли нам немножко?

Я пришел к выводу, что слишком во многих областях некомпетентен и неспособен: список вещей, которые все умеют делать, а я нет, ужасно длинен. Перечислю лишь несколько пунктов — я не умею танцевать, петь, свистеть, плавать, умножать и делить, правильно употреблять и произносить слова, водить машину (правда, ездить на велосипеде научился). В общем, я мало на что гож.

## Париж, 1948

Я встречаю Пикассо у входа и в лифте говорю ему спасибо, что пришел. «За что ты меня благодаришь? — улыбается он. — За то, что я друг Пабло?» Кабинет Арагона, в ту пору занимавшего пост главного редактора газеты «Се Суар», как всегда переполнен пишущей братией, близкой к левым кругам. Литераторы приходят сюда за благословением Его Святейшества папы Луи.

Представители компартий Аргентины, Бразилии и Чили, мы условились о встрече с Арагоном и Пикассо, чтобы обсудить, какие меры можно принять для защиты Пабло Неруды, который подвергается невиданной доселе травле — его лишили сенаторской неприкосновенности, он скрывается в подполье, опасаясь неизбежного ареста. Надо действовать без промедления. Решено для начала отправить президенту Чили Габриэлю Гонсалесу Виделе телеграмму протеста, возложить на него ответственность за все, что может случиться с Пабло, потребовать, чтобы поэту гарантировали жизнь, свободу и безопасность. Подписать эту телеграмму должны гранды французской культуры, чьи имена произведут впечатление на чилийского диктатора. Латиноамериканские коммунисты, живущие в Париже, соберут подписи, а мы пока сочиняем текст нашей петиции, больше похожей на обвинительный акт или на ультиматум. Теперь надо сообразить, к кому обращаться — составить список из самых громких имен.

Но первое же названное мною имя — Жан-Поль Сартр — вызывает вначале оторопь, а затем взрыв негодования. Мне в лицо смеются соратники Арагона, которому я наступил на мозоль: «Сартр? Он — наш враг! Он никогда не подпишет!» В те годы отношения мэтра экзистенциализма с французской компартией были хуже некуда — противники не упускали случая как-нибудь насолить друг другу и достигали в этом больших успехов. Однако я отваживаюсь возражать Арагону, ибо считаю, что Сартр не откажет нам в своей подписи: как бы велики ни были его расхождения с коммунистами, он не примкнет к реакционерам. Арагон, скрежеща зубами, обвиняет меня в вопиющем политическом невежестве, в непоследовательности, в шаткости моих взглядов. Не знаю, чего больше в его отпоре — ярости или презрения, твердость его в защите партийных позиций легко перепутать с грубостью по отношению к тем, кто на эти позиции покушается. Но и я не уступаю ни пяди и предлагаю, что сам лично отправлюсь просить ренегата Сартра и его жену Симону де Бовуар подписать наш документ, ибо ни минуты не сомневаюсь, что подписи эти получу. Предлагаю пари. Арагон с прежним сарказмом, но чуть сбавив накал своего негодования, принимает: он, в свою очередь, совершенно уверен, что не получу я никаких подписей и вообще ничего, кроме решительного и однозначного отказа. «Пусть это послужит вам уроком: когда вернетесь с пустыми руками, надеюсь услышать от вас, товарищ, самокритику по вопросу вашей самонадеянности». Экзистенциализм и самокритика — вот два самых ходовых словечка той поры.

А я виделся-то с Сартром всего однажды — в издательстве, которое собиралось выпустить в свет его пьесы и одновременно — перевод моего романа «Бескрайние земли». Меня представили ему, он был более чем любезен, с похвалой отозвался о «Землях» — читал, дескать, прочел, и мне понравилось, — и я воспарил от таких слов, ибо тщеславие заставило меня им поверить. Как и все, сколько-нибудь причастные к литературе, я знал о привычках Сартра — знал, что он неизменно обедает «У Липпа», где у них с Симоной постоянный столик, туда-то я и направил свои стопы. Он узнал меня, что еще раз приятно пощекотало мое самолюбие, и, когда я поведал о мытарствах Неруды и показал текст телеграммы, ни секунды не колеблясь, подписал ее и передвинул листок жене. Я рассыпался в благодарностях, разве что в пояс не поклонился — радость переполняла меня, и не было в тот вечер в Париже человека счастливей.

И в том же кабинете газеты «Се Суар» вновь сошлись три латиноамериканских коммуниста, чтобы вручить Арагону собранные нами подписи. Абсолютной чемпионкой оказалась Зелия — в ее списке было чуть ли не половина палаты депутатов и, разумеется, чернокожие сенаторы in corpore[[57]](#footnote-57) — Эме Сезер, д’Арбуссье, Уфуэ-Буаньи и прочие. Я же, не выказывая чрезмерного ликования, скромно — кто я такой есть, чтобы злорадствовать?! — выложил бумажку с подписями Сартра и Симоны де Бовуар. Арагон взял телеграмму, покачав головой, что должно было означать самокритику, и предложил: «Его фамилия должна стоять в списке первой». Но нет — первой в списке оказалась фамилия автора «Les Yeux d’Elsa»[[58]](#footnote-58) — я знал эти стихи наизусть, — конклав кардиналов настоял на этом: «Нет, Луи, сначала ты, а потом уж он».

А с Сартром и Симоной мы подружились — вместе путешествовали по Европе, с юга на север пересекли всю Бразилию, в 1950-м он опубликовал в «Тан Модерн» мой роман «Какао», в 1961-м пришел черед «Двум смертям Кинкаса-Сгинь-Вода». А где-то в 70-е мы обедали «У Липпа», и Жан-Поль рассказал мне, что знал о нашем пари с Арагоном — кто-то из кардиналов проболтался. Да разве можно им доверять?

## Рио-де-Жанейро, 1932

Ночь была бурная, буйная, пьяная, а под утро, оказавшись на Копакабане, мы с Раймундо[[59]](#footnote-59) обнаружили, что за нами неотступно следует собачка — беленькая, хорошенькая, расчесанная, надушенная болонка. Накануне мы получили гонорар, а потому и отправились в бордель из дорогих. Раймундо, хоть и был уродлив как сатана, всегда слыл в таких заведениях желанным гостем и высоко котировался среди девиц и «мамочек». Я же пробавлялся горничными Копакабаны и прилегающих кварталов — иногда для разнообразия судьба посылала мне и хозяйку.

«Пансион», где мы пили и блудили, помещался в противоположном конце города, на улице Конде-де-Лаже — это я помню точно, но на какие уловки пустились, чтобы подманить собачку, каким способом сделали это, а главное — зачем нам это понадобилось, изгладилось из пьяной нашей памяти начисто. Обнаружив рядом болонку, мы протрезвели, весело развернулись в противоположную сторону и отправились на поиски собачкиной владелицы. В «пансионе» царило смятение: белокурая, как спелая пшеница, хозяйка — по всей видимости, француженка — рыдала в голос, оплакивая болонку. При нашем появлении она зарыдала с новой силой, но теперь уже от счастья, прижала собачонку к груди, осыпая ее всяческими ласками и нежными словами. Магальяэнс рассудил, что человек, вернувший драгоценную пропажу, имеет полное право претендовать на благодарность и остался. А я, печальный и похмельный, побрел в предутреннем тумане куда глаза глядят.

## Луанда, 1979

Я гощу в Анголе по приглашению Агостиньо Нето. Встреча наша не состоялась — президент улетает в Москву, откуда уже не вернется: предстоявшая ему операция окажется роковой. Известие о его смерти глубоко опечалит народ. Ангола переживает тяжелейшие времена, люди голодают, вид страны печален — Нето, поэт и президент, внушал надежду на скорые перемены к лучшему. В него верили, ему доверяли.

Но все это будет потом, а пока я брожу по Луанде, пересекаю ее из конца в конец и чувствую себя, словно в Баии. И в Луанде, и в Лиссабоне я дома: мы, баиянцы, — смесь ангольцев с португальцами, в нас поровну от тех и от других. Я побывал и в провинции, не слишком, впрочем, отдаляясь от столицы — гражданская война, особенно не разъездишься, — но и того немногого, что предстало моим глазам, хватило для печальных умозаключений. Боже, как губительна идеология! В кооперативном агрохозяйстве, в которое превращена огромная латифундия — а так ли это? может быть, поменялись лишь название да владелец, — вижу, как ни черта не получается у болгар, прибывших сюда во имя интернационализма и солидарности, не могут они найти общий язык с местными крестьянами. А вот бразильские специалисты по сельхозтехнике, приехавшие деньги зарабатывать, — могут, и они отлично работают вместе. Управляющий отелем, в котором мы остановились, — белокурый югославский товарищ, присланный помочь африканскому социализму, держится надменно, как принц, обдает ледяным высокомерием, и солидарность его — сверху вниз.

— Ну а кубинцы? — спрашивал меня в Лиссабоне писатель Фернандо Намора. — К ним относятся с симпатией?

— Да не сказал бы.

— Так называемых освободителей не любят, — с глубокой убежденностью говорит Намора. — От освободителя до завоевателя — один шаг, один шаг солдатских сапог.

Ангольские товарищи везут меня в настоящий пролетарский квартал — муссек, по-здешнему — на встречу с «кадрами» и активистами. Собирается много народу. Я думал, что придется обсуждать политику, рассказывать о Бразилии, о социальной несправедливости, о военной диктатуре, о «проблемах мира и социализма», к чему и готовился. Однако об этом было задано — чтобы задать тон обсуждению — лишь два-три вопроса. Никакого обсуждения не получилось, как ни старались местные руководители. Всех собравшихся, и мужчин, и женщин, по большей части молодых, интересовал лишь телесериал «Габриэла, гвоздика и корица», шедший в это время по государственному (и единственному) каналу.

— Скажите, товарищ Амаду, а правда, что грузовик перевернется и Габриэла погибнет?

Меня спрашивали о моих героях, о том, что было с ними раньше и что будет потом, как сложатся их судьбы, выдуманных мною Габриэлу, Насиба и прочих считали совершенно реальными людьми. Сопровождавшая нас высокопоставленная дама, сестра министра обороны, допытывалась у Зелии, женится ли Мундиньо Фалкан на Жерузе. «Нет, не женится, бессердечный автор расстроил этот брак».

Мне рассказывали, что, блюдя идеологическую чистоту масс, каждую серию предварял вступительным и завершал заключительным словом теоретик из ЦК, растолковывавший зрителям, что тут не то и не так, неверно и неправильно. Послесловие было очень коротким, а потом его и вовсе отменили, ибо заметили, что аудитория дружно выключает телевизоры. Предисловия сопровождали весь сериал — зрители боялись пропустить начало и потому волей-неволей приобщались к марксистской политграмоте. Полагали, видно, что за все надо платить.

Для меня мои романы существуют лишь до тех пор, пока я их сочиняю, а когда внизу страницы появляется слово «конец», то роман, не дававший мне покою, занимавший все мои мысли и чувства... перестает существовать, хотел было написать я и спохватился. Нет это не так — он продолжает жить, но он уже не мой. Теперь он принадлежит другим — издателям, критикам, переводчикам, читателям, читателям в первую очередь. Моим, моим исключительно, моим и больше ничьим остается он, лишь пока я выстукиваю его на машинке, двигаясь путем повествования, пока я зачинаю, вынашиваю и ращу его героев, взятых мною Бог знает откуда — из головы, из сердца или еще из какого места, пока я, то смеясь, то плача, смотрю, как живут они передо мной на бумаге. Тяжкое, трудное, сладостное у меня ремесло. Одни говорят, что я им владею недурно, другие — что из рук вон плохо. Так или иначе, но я стараюсь как могу и не думаю заняться чем-нибудь другим, потому что ничего другого не умею.

У меня нет обыкновения перечитывать мои книги, разве что изредка возникнет необходимость что-нибудь освежить в памяти — страничку оттуда, абзац отсюда. Нет, я их не перечитываю и, не в пример другим сочинителям, не переписываю. На мой взгляд, у книги есть точная дата — час, день, год, когда она была задумана и написана, и дата эта закрепляет связь книги с тем, что представляла собой в тот день и год, когда он трудился над нею, личность автора. Отразились в книге и нажитый к этому времени житейский и художнический опыт, и отношение к миру, к жизни, и способ этот мир и эту жизнь видеть, и мера их постижения, и идеи — весь их букет — сказались и косность, и высокие порывы. Ни время, ни обстоятельства никогда больше не повторятся. Возьмись я переписывать какой-нибудь свой роман в другие времена, при других обстоятельствах, и роман вышел бы совсем другим. И пусть бы даже лучше он был написан, стройнее была бы его композиция, рельефней — образы, убедительней — поступки персонажей, все равно я потерял бы его, задумав улучшить, и, совершенствуя его, я бы от него отрекся.

И переиздания моих книг ничем не отличаются одно от другого, разве что опечаток становится все больше: Палома говорит, что они исчисляются уже тысячами. И так же не исправляю я посвящения, ибо и они тоже связаны с точной датой. Даже если человек, которому некогда посвятил я книгу, затем лишился моего уважения, я скорее вычеркну его из памяти, чем со шмуцтитула. Разумеется, речь о бразильских изданиях, а те, что выходят за границей, я проконтролировать не могу. Так что остается вереница имен — тех людей, которых я уважал, которыми восхищался, а если человек впоследствии оказался мерзавцем, пусть останется посвящение памятником тому времени, когда я еще этого не знал и был доверчив и наивен.

## Сан-Пауло, 1968

«Глазам своим не верю!» — воскликнул сраженный изумлением Жозе Олимпио, увидев фотографию в газете «Эстадо де Сан-Пауло».

Снимок и в самом деле казался невероятным. Запечатлена на нем была длинная очередь, выстроившаяся в книжную лавку Тейшейры и состоявшая из тех, кто желал получить на только что вышедшем в свет первом издании «Лавки Чудес» автограф ее автора. На переднем плане рядом с вашим покорным слугой стоит в ожидании читатель. И читатель этот — не кто иной, как Жулио де Мескита Фильо во всем величии своем. Да-да, рассказать — не поверят: главный редактор «Эстадо де Сан-Пауло» пришел получить автограф Жоржи Амаду!

Объясню, чем вызвано было наше ошеломление. Четыре дня назад я послал ему экземпляр романа — да не просто с автографом, а с прочувствованной дарственной надписью. Почему же его снова принесло в книжный магазин, зачем он пристроился в хвост длиннейшей очереди, к тому же привел с собой фоторепортера из своей газеты? Он купил книгу, настоял на том, чтобы заплатить за нее, хотя продавец и пытался дать ему экземпляр бесплатно, а потом занял новую очередь — из тех, кто жаждал получить автограф. Продавец и владелец магазина сочли, что это уж, пожалуй, чересчур: извлекли его из очереди и подвели к столику, за которым сидел я. Он приветствовал меня, протянул мне книгу, я расписался на титуле, мы обнялись, фотограф сделал снимок.

На следующий день «Эстадо» поместила его на всю полосу — не на первую, разумеется, но и далеко не на последнюю, — снабдив пространным репортажем, где встречались такие лестные для меня выражения, как «новый успех», «новая крупная работа маститого романиста», «читательский ажиотаж». Лучшей рекламы для «Лавки Чудес» и представить нельзя. Лучшего доказательства высокого уважения, которое питает ко мне Жулио де Мескита Фильо, — тоже. Жозе Олимпио в Рио, развернув газету, не поверил своим глазам.

И вот почему. Накануне или даже в самый день выхода книги та же самая «Эстадо» напечатала бранную рецензию влиятельного литературного критика Арналдо Педрозо д’Орты, где и «Лавке Чудес», и ее автору досталось по первое число, причем в самых отборных выражениях. Арналдо я числил среди злейших своих недоброжелателей со времени выхода «Подполья свободы» — по причинам политическим, и он не упустил случай в очередной раз пнуть меня. Газета же, демонстрируя предметно и наглядно завидную беспристрастность и полную «неангажированность», напечатала этот разнос. Жулио, однако, хотел показать читающей публике, что «мнения редакции и авторов могут не совпадать», и в сопровождении фоторепортера явился за автографом. Легко понять изумление моих друзей. Вот потому и восклицал Жозе Олимпио: «Глазам своим не верю!»

Пришлось поверить. Мы с главным редактором «Эстадо» давно и хорошо знакомы. Его присутствие в лавке Тейшейры польстило мне, но не удивило нимало.

## Рио, 1961

Когда новоиспеченный «бессмертный» в мундире с иголочки вступает под сень Бразильской академии, ему всегда кажется, что уж он-то сумеет реформировать это почтенное учреждение, вымести из него пыль и паутину, навсегда покончить с предрассудками, косностью и мелочностью, сделать Академию такой, какой она должна быть. Ничего из этого не выходит.

Я был избран в 1961 году на место романиста, принадлежавшее когда-то самому Машадо де Ассизу, основателю Академии, а непосредственным моим предшественником был Жозе де Аленкар. Впервые облачась в мундир, шитый золотыми пальмовыми ветвями, я почувствовал, что высокий жесткий воротник нестерпимо врезается в шею, просто душит. Я потребовал у Зелии ножницы и, не давая ей времени опомниться и воспрепятствовать подобному кощунству, сделал его вдвое короче. Лишь после этого стал я дышать свободно.

В те времена наша главная литературная премия, носившая имя Машадо де Ассиза, призванная ежегодно увенчивать лучшее опубликованное прозаическое произведение, составляла мизерную сумму в 25 тысяч крузейро. А год спустя «Эдитора Насьонал» решила присуждать за лучшую неизданную книгу стихов в шестнадцать раз больше — 400 тысяч. Не колеблясь я решил покончить с такой несправедливостью и, едва войдя под священные своды Академии, написал, подписал и вручил президенту официальное предложение увеличить размер национальной премии хотя бы до полумиллиона.

Президент взял бумагу, прочел ее, покачал головой и сказал: «В надлежащее время представлю на обсуждение академиков». С тех пор минуло тридцать лет, а мое первое и единственное предложение так и не удостоилось ни обсуждения, ни голосования. Не пришло еще, как видно, надлежащее время.

## Лиссабон, 1953

Спросите меня, какую награду я считаю в своей литературной жизни главной, какой миг моей творческой биографии — кульминационным, и я отвечу без размышлений и колебаний: ужин в зале для транзитных пассажиров лиссабонского аэропорта.

На фотографии, запечатлевшей этот знаменитый ужин и опубликованной сначала в моей книге, а потом в лиссабонском «Жорнал де Летрас», я сижу между Феррейрой да Кастро и Марией Ламас, а на заднем плане виден инспектор ПИДЕ, печально известной тайной полиции, Роза Казако. Мой португальский собрат по перу Марио Дионизио, который тоже присутствовал там, написал статью, где вспоминал подробности этой демонстрации солидарности, этой антисалазаровской акции. Кто бы мог подумать, что она окажется возможной?!

Я возвращался на родину из Москвы через Стокгольм и телеграммой уведомил Феррейру да Кастро о том, что проведу час в аэропорту Лиссабона. Мне, изгою, целых восемь лет не давали португальскую визу и дальше зала для транзитных пассажиров хода в страну не было.

А я имел поручение обсудить с Феррейрой один политический вопрос: согласится ли он принять премию Комитета в защиту мира? Я рассчитывал, что его международная известность поможет пробить брешь в глухой стене изоляции, возведенной вокруг меня. Рассчитывал, но не слишком — с салазаровским режимом шутки были плохи. Но на сей раз он вдруг дал слабину, а, может быть, просто хотел установить, идентифицировать своих врагов, понаблюдать за ними на этом ужине, узнать, кто же осмелится на такую беспримерную дерзость.

И представьте же, каковы были мои удивление и радость, когда я увидел в зале для транзитных пассажиров не одного Феррейру, а нескольких португальских писателей — кое с кем я был знаком, других знал только по именам, рискнувших многим, чтобы приветствовать и обнять собрата, которому въезд в страну закрыт. Меня усадили в центре длинного стола: слева Феррейра, а место справа по очереди, на несколько минут, занимали остальные. Время летело стремительно, никто не прикоснулся к стоявшим на столе яствам — иная пища потребна для борьбы, для мечты...

Помню, как поразило меня количество фотографов, беспрестанно щелкавших и слепивших «блицами», желавших заснять всех до единого участников этой встречи.

— Откуда столько? — спросил я у Алвеса Редола[[60]](#footnote-60).

— Один наш, остальные из ПИДЕ, — ответил он.

Не было в моей жизни вечера лучше, чем этот вечер в лиссабонском аэропорту, в зале транзита. Я сел в самолет, сердце мое полнилось благодарностью ко всем этим людям, которых тотчас окружили, задержали и принялись допрашивать.

Читатели часто спрашивают меня, как я отношусь к переделкам моих романов в киносценарии, пьесы, либретто, телеинсценировки. Такая судьба постигла несколько моих произведений — по одним сняли фильмы, по другим поставили драматические спектакли и даже балеты, третьи стали основой комиксов. Были и телесериалы, и радиоинсценировки.

Могу лишь повторить уже сказанное однажды: всякая переделка, всякий перевод прозы в другой жанр — это насилие над автором. Как бы ни старались следовать букве и духу книги, при попытке перенести ее страницы на сцену ли, на большой киноэкран или на маленький экран телевизора, непременно претерпит изменения что-то самое главное: что-то выпятится, а что-то, наоборот, исчезнет.

Это естественно, иначе и быть не может. Сочинительство — сродни ремесленничеству, романист, каким бы мастером он ни был, остается мастеровым. Он — кустарь-одиночка. Когда я начинаю роман, у меня ничего нет, кроме машинки да дести чистой бумаги. Когда же произведение адаптируется для кино, для театра, для радио или телевидения, то какая уж тут кустарщина — вступают в свои права законы производства и коммерции, предлагаемый товар должен отвечать требованиям рынка. Тут мало машинки и бумаги (впрочем, это я, старый и косный ретроград, стучу на машинке — молодые дарования вроде доны Зелии Гаттаи, Фернандо Сабино, Жоана Убалдо Рибейро набирают свои тексты на компьютере, честь им и хвала!). Чтобы снять фильм, нужна целая, извините, орава людей: продюсер, режиссер, сценарист и художник, оператор просто и звукооператор, композитор и музыканты, бутафоры и костюмеры, маляры и плотники и осветители — и несть им конца, и имя им легион! А на телевидении к ним добавляются еще и зрители — сидят по домам перед своими ящиками, смотрят очередную серию, а воздействие на развитие сюжета, на характер и место персонажей оказывают решающее: какой-нибудь третьестепенный фигурант, если попадет в струю, потрафит зрительским вкусам и симпатиям, может обернуться главным героем, да и фабула раскручивается и перекраивается в угоду запросам публики. Автор ежеминутно чувствует себя обобранным: в один прекрасный день он сам перестает узнавать свою книгу.

«Зачем же вы соглашаетесь на экранизацию или инсценировку, если вам это сулит верные страдания, уязвленное самолюбие, досаду и горечь?» — резонно спросят меня. Зачем? По трем причинам, и все три одинаково важны. Во-первых, даже в самых скверных «переделках для...», в тех, которые бесконечно далеки от содержания и духа оригинала, от истин, милых сердцу автора, остается все же что-то из того, что он хотел сказать, от чувств, которые хотел передать другим. Нет, все же что-то — и быть может, самое главное — пребывает в неприкосновенности.

Во-вторых, книга может рассчитывать, что прочтут ее несколько тысяч человек: десятитысячный тираж уже можно назвать значительным. Правда, бестселлер в Бразилии — это вдвое больше, и бывают, конечно, исключительные случаи — сто-двести тысяч, но крайне редко. У фильма же огромная, а у сериала вообще необозримая аудитория: его увидят миллионы людей, и среди них — сотни тысяч неграмотных. Мне рассказали, что телесериал «Тьета де Агресте», созданный по мотивам моего романа, каждый вечер собирал у экранов по пятьдесят миллионов восторженных зрителей. Значит, пусть часть, пусть крохи из того, что я хотел сказать, дойдет до такого множества душ.

Не кривя душой и не лукавя, приведу третью причину — не менее существенную. Я кормлюсь исключительно плодами своих рук, я существую на те деньги, которые дают мне авторские права на издания, перевод, экранизацию или инсценировку моих книг. Иного источника дохода у меня нет.

Предваряю ваш следующий вопрос: спорю ли я со сценаристами и либреттистами, покладисто соглашаюсь с изменениями или стою насмерть, требуя неукоснительной верности, одним словом, принимаю ли я участие в «переделке для...»? Отвечаю: ни малейшего. Я не вмешиваюсь в инсценировку, предоставляю мастерам этого дела полнейшую свободу. Ничего не знаю и знать не желаю, меня это никоим образом не касается. Я считаю, что хороший сценарий или инсценировка — самостоятельные произведения, а не выжимка, не пастиш[[61]](#footnote-61). Не лезь, говорю я себе, это уже не твое.

И напоследок. О, милый собрат по перу, прими мой добрый совет, плод горького опыта: не хочешь страдать и мучиться — не ходи на фильмы и спектакли, не смотри телесериалы, поставленные по твоим книгам. Заламывай за предоставление «прав на...» цену повыше — как можно выше! — пусть деньги компенсируют тебе все тяготы и издержки, но Боже тебя упаси любопытствовать, что же в итоге вышло на экран или на сцену, во что превратили твое дитя. Побереги себя.

## Рио-де-Жанейро, 1939 — Сан-Пауло, 1944

Неподалеку от театра «Феникс» встречаю великого актера и давнего друга Прокопио Феррейру. Но что это? Отчего он так хмур, еле цедит слова в ответ на мой сердечный привет? В чем дело, Прокопио?

— Я вчера заметил тебя на той стороне улицы, окликнул, позвал, завопил что есть мочи «Жоржи! Жоржи!», а ты даже не посмотрел в мою сторону, будто оглох. Вот я и решил, что ты меня больше знать не хочешь.

Драматург Жораси Камарго тоже обижен: не далее как третьего дня столкнулся со мной, я же прошел мимо и ухом не повел, не подумал поздороваться.

Друзья мои, не обижайтесь, не обвиняйте меня в невоспитанности. Это был не я, а младший мой брат, Жамес Амаду.

Жоэлсон, средний брат, пошел в родню по материнской линии, где все мужчины высоки ростом и хороши собой. Мы же с Жамесом удались в полковника Амаду. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, мы с ним похожи как две капли воды, как близнецы-двойняшки. Немудрено, что нас так часто путают, отчего и проистекают всяческие недоразумения и обиды.

...В 1944 году в Сан-Пауло на многолюдном приеме по случаю выхода в свет «Городка Ильеуса» некая дама — Мария... ну, скажем, Мария-Умелые Руки — подобралась поближе, придвинулась вплотную и, воспользовавшись невообразимой толчеей, принялась искусными пальчиками «заряжать аркебузу» — извините, ради бога, не я придумал это манерное и витиеватое иносказание, а Доривал Каймми, — так вот, взялась за дело, полагая, что дело имеет с виновником торжества, а не с юным и безвестным литератором.

И вот тут-то обнаружился во всей красе, в полной мере проявился — нет, вовсе не то, о чем вы подумали — вздорный и переменчивый нрав сеньора Жамеса Амаду. Когда великий Прокопио махал ему рукой с противоположной стороны проспекта, когда даровитый Жораси выжидательно глядел на него, он не сообщил им, что его приняли за другого, а гордо прошествовал мимо. А вот в этой ситуации он не преминул сообщить: «Сударыня, это принадлежит не Жоржи Амаду. Я его брат, я на десять лет моложе и тоже пишу. Поверьте, от замены вы только выиграете. Поверьте и попробуйте. Не пожалеете».

## Луанда, 1979

На прощальном, устроенном ангольскими писателями по случаю нашего отъезда, обеде Луандино Виейра[[62]](#footnote-62), произнося тост, сообщает мне:

— Я заплатил за твои книги кровью.

И рассказал, как было дело. 1954 год, португальский колониализм, свирепое преследование всякого вольнодумства, беспощадная цензура, трудная и тяжкая борьба. Луандино как-то раз, возвращаясь домой, заглянул в книжный магазин, так просто, поглядеть, и продавец сделал ему знак подождать, пока уйдет посетитель. Потом с тысячью предосторожностей достал бесценную редкость — только что вышедшее в Бразилии, только что доставленное в Анголу трехтомное издание «Подполья свободы». Книга запрещена, ее провезли контрабандой, книготорговец сильно рискует, а потому заламывает несусветную цену.

Луандино выгребает из карманов все, что там брякало и шуршало, пересчитывает — не набирается и половины требуемой суммы. Как быть? Где добыть остальное? «Отложите ее для меня, я достану денег», — просит он продавца и отправляется на поиски человека, который дал бы ему взаймы. Поди-ка найди такого. Тут он видит, что стоит у дверей донорского пункта. Ни минуты не колеблясь, заходит, закатывает рукав, протягивает руку, подставляет вену. Продает кровь, получает деньги — теперь хватит на три тома — и чуть ли не бегом возвращается в книжный магазин.

— Брат мой, за чтение твоего романа я расплатился собственной кровью.

## Рио-де-Жанейро, 1945

Зелия, повергнутая в глубочайшее изумление, настоящий шок, еле-еле сдерживает рвущийся со дна итальянской души протест. Ее лишь позавчера представили свекру и свекрови — и вот какую, выражаясь по-баиянски, жабу приходится глотать. Да, я привез свою избранницу в Рио, показать родителям, получить малость запоздалое благословение. Полковник Жоан Амаду встретил ее горячо и сердечно, а дона Эулалия пока еще смотрит на новую невестку настороженно и недоверчиво.

Вступая в битву за покорение мужниной родни, Зелия, искусная повариха, взлелеянная и воспитанная отцом, итальянцем Эрнесто Гаттаи, вывезшим с Апеннин строгие понятия о настоящей кулинарии — его не проведешь, что попало не подсунешь, готовит по старинному, из поколения в поколение передающемуся рецепту настоящие итальянские макароны. Отведав их, доктор-педиатр Жоэлсон Амаду признает за невесткой истинный дар, не скупясь на похвалы, наваливает на свою тарелку еще и еще, потирает руки в чистой радости обжорства. Дона Эулалия, попробовав, скривилась, привздернула плечико — ничего, мол, особенного, — что, однако, не помешало ей съесть все без остатка и потянуться за новой порцией. Но самая большая порция — макароны свисают с тарелки — предназначается главе семьи, полковнику Жоану Амаду, ибо он знает толк в еде и требует, чтобы еды было много.

Зелия следит за движениями свекра, ждет, когда он отправит в рот ее макароны и похвалит ее стряпню: ясно, что умение вкусно готовить станет решающим и определяющим фактором, поможет определить окончательно, правильный выбор сделал старший сын, связавшись с итальянкой из Сан-Пауло, или же маху дал. Полковник, однако, в нерушимости своих воззрений на еду заткнет, пожалуй, за пояс автомобильного механика Гаттаи: он отвергает тертый сыр, нарезает кружочками банан и венчает ими гору спагетти, потом щедро и бестрепетно засыпает изысканное итальянское кушанье маниоковой мукой — любимым своим гарниром, он у него идет ко всему, что бы ни подали на стол. Перемешав все это — бананы! маниоку! — патриарх набивает рот и одобрительно кивает.

Ни восторженное урчание, ни похвалы, облеченные в слова, не в силах восстановить душевное равновесие Зелии, умерить ее изумление, граничащее со священным ужасом: «Mamma mia! Макароны с бананами! Какое святотатство!»

Может, и святотатство, а может, новый поворот традиционного сюжета. Я-то никогда не решался на такие эксперименты, ибо дорожу миром и покоем в семье, но почти уверен, что маниоковая мука и банан кружочками придают итальянской кухне особый, ни с чем не сравнимый вкус. Слабо попробовать?

## Монте-Эсторил, 1992

По просьбе издателя Сержио Машадо звоню Оскару Нимейеру[[63]](#footnote-63) — спрашиваю, не согласится ли он проиллюстрировать посмертный сборник эротической лирики Карлоса Дрюммона де Андраде «Естественная любовь», который желает выпустить в свет «Рекорд». «Объединить под одной обложкой Дрюммона и Оскара — это было бы грандиозно!» — восклицает юный издатель, не сомневающийся, что ответ будет положительным.

Эта идея заинтересовала Нимейера, он обещает подумать, но все зависит от того, выкроит ли он время для оформления книжки. Выполнив поручение, я принимаюсь обсуждать с ним мир, окончательно перевернувшийся вверх дном, с ног на голову — интересно, что еще в нем стрясется?! Дымом рассеялось то, что казалось еще недавно гранитной твердости, зыбким маревом стала былая непреложность, исчезают с карты мира нации, федерации, государства, бесследно исчезают идеологии, в могиле покоятся доктрины и теории, считавшиеся научными, погас маяк, указывавший человечеству, куда ему плыть. Нам с Нимейером выпало на долю пережить Советский Союз, рассыпавшийся на составные части; хорошо, что Престес умер раньше, не увидел, как сгинула мечта, определявшая его — и наши — жизни.

Я прочел в газетах, что Оскар первым подписал манифест новой компартии, старая же сменила название. «Там, где есть нищета и бесправие, там должен появиться коммунист, чтобы попытаться построить новый мир», — заявляет архитектор. Я не знаю человека более последовательного, менее склонного к метаниям и колебаниям, чем он. Я помню, как мы возвращались с ним из Старого Света, плыли на итальянском пароходе. В России только что прошел ХХ съезд, наступила эра Хрущева, во всеуслышание заявившего про ошибки и преступления Сталина. Ничто не могло поколебать убежденности Оскара:

— Нет, Жоржи, что ни говори, а Усатый Зе[[64]](#footnote-64) был великий человек!

С ним можно — и должно — не соглашаться, но заслуживает уважения то, как один из величайших художников современности, архитектор Оскар Нимейер — «архитектура — это моя жизнь!» — сохраняет верность своим убеждениям.

## Баия, 1956

Я сговорился с моей давней и доброй приятельницей Марией де Сан-Педро-дос-Сантос, лучшей в мире баиянской кулинаркой, о том, чтобы при посредстве ее волшебного искусства как следует угостить наших гостей, португальских писателей. Ее ресторан находился на рынке «Модело», на старом, на первом, на истинном рынке «Модело», и в ту пору еще не был так популярен, и потому приходили к ней только местные — мелкие торговцы, матросы и рыбаки, а из так называемой интеллигенции лишь человека три-четыре, и я среди них, благо Мария приходилась мне кумой. В это самое время и началась громкая слава ее заведения, и ныне ресторан, гордящийся именем великой кухарки, переехал на новый рынок «Модело» и сделался приманкой для туристов, достопримечательностью Баии. Теперешний его владелец, сын Марии, Луис Домингос, не посрамил седин матери, хранит и приумножает славу той, что не знала себе равных в тонком и сложном искусстве кулинарии.

Ну, так вот: я предложил Марии с часу дня закрыть ее ресторанчик для публики, тем паче, что обычные ее посетители к этому времени уже бывали накормлены, — и принять наших португальских гостей. Это все люди именитые: Жоакин Пасо д’Аркос и супруга его Мария да Граса, Жоан Гаспар Симоэнс со своей тогдашней женой Изабел да Нобрега, Жоржи де Сена, Урбано Таварес Родригес, всех не помню, но микроавтобус был набит до отказа. Обед вышел выше всех похвал, превзошел самые смелые мои ожидания, стал подлинным триумфом баиянской кулинарии, и застольная беседа текла весело и сердечно, хоть я и рискнул собрать за одним столом непримиримых политических противников, и рядом с теми, кто был связан с правительством, сидели враги салазаровского режима, к числу коих отношу и себя. Впрочем, я всегда оставляю за человеком право на собственные взгляды и убеждения и остракизму никого не подвергаю.

...Так или иначе, обед прошел мирно: собравшиеся были достаточно хорошо воспитанными людьми, да и сама наша баиянская атмосфера необыкновенно располагает к снисходительности и терпимости. На обратном пути в отель я попросил водителя притормозить на минутку на Ладейра-да-Монтанья перед «заведениями с девочками», которые стояли в дверях, лежали на подоконниках, зазывно улыбались и делали приглашающие жесты.

— Итак, господа, — тоном экскурсовода обратился я к достопочтенным участникам лузитано-бразильского действа. — Вы находитесь в одном из так называемых «кварталов красных фонарей». Подобные дома существуют также на Праса-да-Се, на Ладейра-де-Сан-Франсиско, на Барра-Авениде — это заведения высшего разбора, класса «люкс», и цены там соответствующие. Здесь — подешевле, а на площади Пелоуриньо и на Карне-Сека можно найти подружку и совсем за бесценок.

Португальцы и португалки в сосредоточенном молчании внимали мне, а я с полным сознанием важности своей просветительской миссии продолжал:

— Вот это — знаменитый бордель «Мамочки», где работают француженки, аргентинки и наши мулатки, — и, чуть понизив голос, добавил: — налево от вас один из самых посещаемых публичных домов, он принадлежит Одорико Таваресу.

— Здание? — осведомилась одна сеньора.

— Кому принадлежит здание, сказать затрудняюсь, а заведение — Одорико Таваресу.

— Кому-кому? — поразился романист Пасо д’Аркос.

— Одорико Таваресу.

— Вы имеете в виду нашего друга, поэта и журналиста, главного редактора «Диариос Ассосиадос»?

— Именно его, нашего милого Одорико.

— Быть этого не может! — возмутился кто-то, не помню кто.

В разговор встрял Сисеро Диас:

— А чего вы так удивляетесь?! У Одорико не только этот бордель, а еще три в разных частях Баии. Дело поставлено на широкую ногу и процветает. От клиентов отбою нет.

Португальцы были поражены, их дамы — скандализованы.

— А вы что же думали, что Одорико Таварес купается в роскоши, покупает картины старых мастеров, коллекционирует антиквариат, ведет жизнь набоба — и все это на свое ничтожное жалованье? А? Да нет, господа: источник его благосостояния — эти падшие женщины, — и я велел шоферу ехать дальше.

В холл гостиницы португальцы вошли в том же подавленно-недоуменном настроении. Дамы не скрывали глубокого разочарования: подумать только, доктор Одорико Таварес! Производит впечатление такого достойного, высокопорядочного человека и вот, пожалуйста, кем оказался! В этот миг я увидел, что к дверям отеля направляется он сам, так горячо обсуждаемый поэт. Оставив португальцев наедине с их смятением, я поспешил к нему навстречу, рассказал ему всю историю. Он приблизился к португальцам, потерявшим дар речи при его появлении, дамы удалились, не ответив на его «Добрый день!». Одорико заговорил вполголоса:

— Очень кстати, что ваши прелестные спутницы пошли отдохнуть после обеда. Хочу сообщить вам, друзья мои, что владею несколькими домами — терпимости или публичными, называйте как хотите, — и уже распорядился, чтобы наших дорогих гостей, иностранных участников встречи, обслуживали с пятнадцатипроцентной скидкой. — После каждого произнесенного им слова все бездонней становилась тишина. — Я лично гарантирую высочайшее качество моих девочек, их несравненную компетентность и профессионализм. Мед, господа, мед! Верх изысканности, море страсти. Француженки... Это обойдется несколько дороже... Со своей стороны, я обратил бы ваше внимание на негритянок... Рекомендую, господа.

Писатель и журналист, редактор двух ежедневных газет, член Академии, задушевный друг губернатора, один из «отцов города» Одорико Таварес не знает себе равных ни за карточным столом, ни с лирой в руках, он любит искусство и умеет радоваться жизни. Обаяние его безгранично, противостоять ему невозможно. Начни я перечислять все наши с ним бесконечные розыгрыши, получился бы толстый том.

Круг португальцев редеет. Атмосфера сгущается.

...Карлос Эдуардо де Роша, поэт и критик, рассказал мне, что кое-кто из португальцев, зная о его дружбе с Одорико, расспрашивал, надо ли будет предъявлять при входе карточку участника встречи, а заодно уточняли адреса.

## Берлин, 1992

Юрген Грюнер, директор берлинского издательства «Фольк унд Вельт». рассказал мне в письме о той драме, которую переживает он после воссоединения Германии. Крупнейшее в ГДР издательство, выпускавшее иностранную литературу, того и гляди, не переживет приватизации, не выдержит трудностей, порожденных свободной конкуренцией.

Письмо меня огорчило. О «Фольк унд Вельт» я могу сказать лишь самые хорошие слова. Издательство это приобрело права на перевод моих книг на немецкий язык и выпустило их в свет — все. Хорошие переводы, хорошие издания, первоклассная полиграфия, колоссальные тиражи... И платили в срок — все, словом, было как полагается.

Впрочем, насчет того, что немцы перевели и издали все мои романы, я наврал. Было одно исключение, была книжка, которая так и не вышла в свет. В 1972 году получил я от них письмо: сообщалось, что «Терезу Батисту, уставшую воевать» издать не представляется возможным по одной-единственной, но очень важной идеологической причине: проститутка не может быть положительным героем романа.

А вы помните, вы знаете, что это такое было — «положительный герой» и какое место занимал он в мире развитого социализма, того самого, что теперь исчез бесследно? Если не знаете — ваше счастье, я тогда и объяснять не буду.

## Париж, 1948

Обед у Пикассо. Мы уговариваем его принять участие в Конгрессе деятелей культуры в защиту мира, который соберется в польском городе Вроцлаве. Нас несколько человек — Луи Арагон, Александр Корнейчук, Пьер Гамарра, Эмилио Серени и — рядом с хозяином — Ванда Якубовская, чей фильм с огромным успехом идет сейчас в Париже[[65]](#footnote-65).

Пикассо непреклонен. Он не поедет на конгресс. Все что угодно, только не это. Хотите, картину подарю? А во Вроцлаве ему делать нечего, зряшная трата времени, ему есть чем заняться — он должен писать, лепить, рисовать. Мы выкладываем один аргумент за другим — все впустую. Вроде бы надо смириться, признать поражение: автор «Герники» во Вроцлаве не появится. Пьем вино, едим сыры, обсуждаем фильм Ванды Якубовской.

В эту минуту взгляд Пикассо падает на ее обнаженную по локоть руку, и художник спрашивает, что это за цифры у нее на предплечье.

— Мой лагерный номер. Во время войны я была в Освенциме.

Пикассо осторожно дотрагивается кончиками пальцев до руки Ванды, смотрит на нас, поворачивается к Арагону:

— Ладно, я еду! Можете рассчитывать на меня.

И он поехал, и произнес там речь, и пробыл в Польше до конца конгресса. Потом — уже для Всемирного конгресса — нарисовал голубку, ставшую символом движения за мир. Вот что значит прикоснуться к ужасу войны.

## Рио-де-Жанейро, 1954

Затаив дыхание, я слушаю разговор двух старых анархистов — писателя и работницы, — вслух мечтающих о мире, избавленном от несправедливости и предрассудков, от всепроникающей власти государства, от жестокости закона. Пройдет тридцать лет, я напишу роман «Токайа Гранде — Большая Засада», а замысел его возник в ту минуту, когда теща моя, дона Анжелина, со слезами радости обнимала Томаса да Фонсеку[[66]](#footnote-66).

Томас — видный, а в Португалии и знаменитый, прозаик, живая легенда, символ сопротивления фашизму, воплощение свободной, незашоренной мысли. Общество, лишенное всяких границ, — вот его идеал и мечта. Анжелине Д’Аколь было четыре года, когда ее родители, итальянские крестьяне из Пьеве-ди-Кадоре приехали в Бразилию вскоре после отмены там рабства и стали работать на кофейных плантациях штата Сан-Пауло. В девять лет поступила она на текстильную фабрику. Анархисткой же сделалась после знакомства с автомехаником Эрнесто Гаттаи. Его семейство перебралось к нам из Флоренции, в грязном вонючем трюме переплыло океан. Их вела мечта основать в дикой сельве штата Парана свободную колонию «Цецилия» — идея принадлежала Обществу анархистов Америки, состоявшему под августейшим покровительством Педро II, императора Бразилии. Видите — мы уже и тогда были абсолютно сюрреалистической страной.

Просуществовала эта колония четыре года, столкновения с жестокой и убогой повседневностью не выдержала, но идеи не захирели, выжили и принялись. Пригодились они для организации первых рабочих профсоюзов. Анжелина повстречала и полюбила Эрнесто на одном из собраний, частых в ту пору, — испанские, итальянские, португальские эмигранты встречались, обсуждали свои проблемы, произносили горячие речи, читали стихи, ставили любительские спектакли, и на этих пролетарских подмостках она была примадонной. Стихи были, например, такие:

Шаг поспешен твой, взор твой неистов,

ты куда так проворно бежишь?

— Я спешу на конгресс анархистов,

предъявляющих право на жизнь.

Анархистка, будь сильной и гордой,

до последнего стой и держись,

пролетарской стальною когортой

отстоим себе право на жизнь!

Томас да Фонсека стихов не писал, но итальянка Анжелина, ставшая бразильской анархисткой, знала наизусть целые страницы его пламенной прозы. Даже после того, как вышла она замуж за Эрнесто Гаттаи, а тот из личного шофера семейства Прадо, первые представители которого поселились в Сан-Пауло еще в XVI веке, превратился в представителя компании «Альфа Ромео», а из вольнодумца — в активиста компартии, не рассталась она с пламенными мечтами, в неприкосновенности сохранила химеры юности.

Когда же престарелый, длинно- и седобородый Томас да Фонсека, оказавшись проездом в Рио, пришел ко мне в гости — я ведь тоже был «проклятым» писателем, и мои книги были запрещены в Португалии, а кроме того, дружил с его сыном Бранкиньо, — я принял его с восторгом и восхищением, в буквальном смысле слова с распростертыми объятиями, никто и никогда не оказывал мне такой чести. Покуда мы с ним обсуждали дела литературные и политические, Зелия побежала сказать матери, тоже, по счастью, в это время гостившей у нас в Рио, что ее идол и кумир пьет кофе в соседней комнате.

Дона Анжелина не поверила: Томас да Фонсека? Сам, во плоти? Да быть того не может! Она строго укорила дочь за такую вопиющую непочтительность — решила, что та насмехается над ее девическими грезами. Мне пришлось самому отправиться за тещей, привести ее в гостиную, где она, заливаясь слезами, стала целовать иссохшие руки старца. Завязался разговор.

Когда же она принялась декламировать особо любимые пассажи — ибо знала наизусть целые страницы его книг, — засветились глаза старого писателя. Так идиллически продолжался этот семейный вечер. Мы с Зелией наслаждались молча.

## Рим, 1985

В заснеженном Париже в зимний вечер обрушивается на меня весть о смерти Васко Пратолини[[67]](#footnote-67) — и сразу вслед за ошеломлением налетает целый рой воспоминаний. В последний раз мы виделись в 1985-м в Риме, в доме Джузеппе Де Сантиса, и ужин получился какой-то меланхолический, проникнутый светлой грустью. Сидели за столом три пожилые пары, два писателя и режиссер с женами, и столь многое связывало нас... Послевоенное время, творчество, предназначенное для народа, воспевающее человеческое достоинство. Три старых коммуниста, мечтавших некогда о всеобщем братстве, о празднике надежды, обернувшемся похоронами иллюзий.

Не многие из современных произведений проникали мне в душу так глубоко, как «Повесть о бедных влюбленных», флорентийская «лавстори». Она вышла в 1948 году, сразу обрела шумный и заслуженный успех и поставила своего создателя в первый ряд итальянских писателей. Потом появился «Горький рис», по которому в конце 40-х Де Сантис снял фильм, очаровавший меня истинно народным гуманизмом, лукаво-плутоватым изяществом.

Минуло сорок лет, и вот — вино и сыры, к сроку приготовленная pasta... Три старика, три друга, три уцелевших и выживших обломка cидят за столом. Нас связывают не только литература и кино — нет, у нас за плечами целая жизнь, события, свидетелями которых мы были и в которых принимали живейшее участие.

Помнишь, как Гуттузо выступал во Вроцлаве, на Конгрессе деятелей культуры? Помнишь фильм, который Альберто Кавальканти снимал в Вене? Помнишь нашу бессильную ярость, когда в Будапеште травили Лукача? А тот нежный взгляд, а тот дружеский жест, а твердая и непреходящая уверенность, что есть плечо, на которое всегда можно опереться, помнишь? В этих вопросах и воспоминаниях пролетает ночь, и уже на заре мы приходим к выводу — несмотря ни на что, жизнь все-таки прожита была не зря.

## Рио, 1947

В один прекрасный день, не то в марте, не то в апреле 1947 года — я ведь честно предупредил, что за точность дат не ручаюсь, — в Законодательном собрании, в комитете по образованию и культуре, членом коего состоял пишущий эти строки, состоял и даже пользовался уважением коллег, ибо от работы не отлынивал, появился Эйтор Вилла-Лобос.

Великий композитор, один из тех немногих, кто прославил Бразилию во всем мире, в то время самозабвенно и упоенно создавал во всех муниципальных гимназиях Рио детские хоры — прекрасное начинание, не всегда, к прискорбию, находившее поддержку у властей. Спросите лучше, какое начинание находило кого-либо, что-либо у кого-либо? В поисках сторонников Вилла-Лобос и пришел в наш комитет.

Автор «Бразильской бахианы» был широко известен не только как замечательный музыкант — все знали его пристрастие к сигарам, к бильярду и его необыкновенную, патологическую лживость. Помнится, Эрико Вериссимо сильно развеселил меня одной историей, связанной с маэстро.

Дело было, если не путаю, в Вашингтоне, где Вилла-Лобосу предстояло читать лекцию — на родном языке, естественно. Тут выяснилось, что переводчика нет, а время идет, и публика волнуется. Устроители воззвали к Эрико, и тот оказался на трибуне рядом с великим соотечественником, покорно переводя все, что тот говорил...

— А говорил он нечто совершенно несусветное — причем с самым непринужденным видом, — уверял меня Вериссимо. — Боже, что это было! Такого чудовищного вранья мне в жизни еще слышать не приходилось. Для затравки он оповестил всех, что родился в сельве, в племени диких и воинственных индейцев, а дальше уже понес не останавливаясь...

А в тот день, когда Вилла-Лобос посетил наш комитет и обрел в моем лице горячего своего сторонника, он, зная мои политические убеждения, решил сделать мне приятное.

— В Москву приглашают, — сказал он, попыхивая сигарой. — Буду дирижировать, дам несколько концертов с тамошними оркестрами.

Об этом, впрочем, было в газетах. Я его поздравил, заверил, что произведения его знают и любят в Cоюзе, часто транслируют по радио и что мировое признание его творчества идет на пользу нашей отчизне. Маэстро выпустил еще один клуб дыма.

— А знаете, кто подписал приглашение?

— Да откуда ж мне знать?! Наверно, руководитель симфонического оркестра Москвы или России.

— Ну-ка, угадайте.

— Шостакович? — брякнул я.

Вилла-Лобос снова попыхтел сигарой, улыбнулся и сообщил:

— Ленин! Собственноручно.

Напоминаю, разговор происходил в 1947 году. Увидев, что я замер с открытым ртом, маэстро добавил:

— Не верите? Я вам принесу письмо — сами убедитесь.

## Рио-де-Жанейро, 1956

Валерио Кондер, мой добрый приятель, в отличие от многих не раззнакомившийся со мной после того, как я перестал быть активистом компартии, поведал мне, что пребывавшее за границей руководство БКП развязало против меня, выражаясь газетным языком, беспрецедентную кампанию травли, а по баиянскому выражению — наслало жаб и змей. Иначе как предателем и продажной шкурой меня не аттестовали. В ту пору в партии всем заправлял персонаж по имени Диоженес де Арруда Камара, считавший, что обладает истиной в последней инстанции. На одном из пленумов ЦК он заявил: «Через полгода Амаду перестанет существовать как писатель и как человек, некогда считавшийся левым. Мы с ним покончим».

Его приспешники бросились исполнять директиву с веселой охотой и хищной готовностью: интеллектуалы из верхних эшелонов БКП всегда косились на меня с недоверием, и другого я от них не ждал, а потому нимало не был и огорчен.

А если говорить по совести, удивило меня то, что и по сей день обещание Арруды Камары не стало реальностью, и пророчество не сбылось. Я выжил. Кто бы мог подумать?

## Париж, 1985

Оказываясь в двухэтажной квартире парижского издателя Пьера Сегера, мы с Зелией всякий раз восхищались огромным полотном Ди Кавальканти[[68]](#footnote-68), висящим на площадке лестницы. На миг мы вновь оказываемся в Бразилии, под ее солнцом, среди ее мулаток. Ди подарил ее чете Сегеров, когда те в 1956 году гостили в Рио.

...Однажды супруги уехали отдыхать на лоно природы, в местечко Кретёй, в дом забрались воры — не простые громилы, а взломщики-интеллектуалы, знатоки искусства — и вынесли все картины, всю коллекцию живописи, оставив пустые стены. Неведомо почему они не удостоили вниманием полотно нашего Ди, оставив его в гордом одиночестве висеть на пустой стене. Очевидно, эрудиция главаря не простиралась на бразильскую живопись.

Валдемар Занески, которого в ту пору, когда он был бедным и безвестным футбольным судьей, все звали просто Линдиньо, приехал как-то в Сан-Пауло на матч. Городок ему понравился, он там осел, сменил профессию и стал собирать живопись, специализируясь на Панцетти, Кавальканти и Карибе. Он мгновенно разбогател — теперь у него миллионы, дома с площадками для гольфа и теннисными кортами, более того — он сочиняет стихи и кладет их на музыку собственного же изготовления. И это еще не все: принадлежащий по рождению к племени Моисееву, Линдиньо сделался «сыном святого», объединив Иегову и Ошала. С полными карманами долларов он колесит по европейским столицам, покупает произведения искусства, которые потом с большой выгодой перепродает в Бразилии. Зелия имела неосторожность рассказать ему о происшествии с Сегерами, о полотне Ди Кавальканти, оставшемся висеть в разоренной квартире издателя. Линдиньо бросился в атаку — а когда он атакует, сопротивление бесполезно, — перевез холст в Бразилию и здесь уступил его — он никогда не продает картины, он их уступает — за астрономическую сумму.

По ценам международного рынка картина Ди досталась ему дешево, однако далеко не даром, и Пьер Сегер, пряча в карман объемистую пачку долларов, самокритично заметил:

— Я и не знал, что Ди Кавальканти столько стоит. Ни я, ни этот ворюга.

## Москва, 1954

На видном месте, на первой полосе «Правда» напечатала список очередных лауреатов Международной Сталинской премии «За укрепление мира и дружбы между народами», и я счастлив увидеть среди удостоенных этого высшего отличия имена Брехта и Гильена. К награждению немецкого драматурга приложили руку мы с Фадеевым, что же касается кубинского поэта, то в мучительные часы ожидания мы с Зелией поддерживали его дух.

Оставивший Росу в Гаване Николас приглашает Зелию на вручение медали и диплома, он их получит на пленарном заседании съезда советских писателей. Мы присутствуем там в качестве гостей, живем в отеле в номерах по соседству, и кубинец по всякому поводу, а чаще — безо всякого повода присылает нам записочки, подписанные «Monsieur le Prix»[[69]](#footnote-69). Он счастлив как дитя, и мы рады его радости.

Его имя не сходит со страниц газет. По радио и телевидению передают его стихи в исполнении артистов. И совсем хорошо было бы в Советском Союзе, если б не беспрестанная декламация: Гильен тащит нас к себе, усаживает перед экраном, с которого завывает толстая и хриплоголосая мастерица художественного слова, не женщина, а динозавр. Николас упивается звучанием своих стихов по-русски, угадывает, что читается сейчас, приходит от мегеры в полный восторг, и я, чтобы не омрачать его ликования, расхваливаю ее, добавив несколько слов на баиянском наречии.

Потом я сочиняю телеграмму Николасу, прошу нашу переводчицу Марину Кострицыну составить русский текст и посылаю ее в «Метрополь», благо для удобства делегатов писательского съезда почтовое отделение открыто тут же, в фойе Колонного зала. Телеграмма, подписанная некой Наташей, поклонницей поэта, дышит непритворной страстью, содержит пылкое объяснение в любви, высказанное без ханжеских экивоков: «Мой гений, мой тропический поэт, я слышала твои стихи по радио... музыка твоих строк пьянит меня, заключенный в них жар опаляет... я горю и сгораю... мечтаю о встрече и чем скорей, тем лучше...» и так далее, в том же решительном и недвусмысленном роде. Помню финал: «...люблю, люблю, люблю тебя... позвони мне, позвони мне!!! Я жду!» — и подпись.

Гильен с телеграммой в руке, в сопровождении Марины врывается к нам в номер:

— Жоржи, Зелия, в меня по уши влюбилась одна москвичка, вот, телеграмму прислала, просит, чтобы я ей позвонил, а номера своего не дала... Вот дуреха!

## Баия, 1960/1980

Бессчетное число раз я разыгрывал своих приятелей, а они — меня, сплетались интриги, строились козни, довольно, впрочем, безобидного свойства, хотя случались и обиды. Как же без этого? Толстая книжка получилась бы, если перечислить все каверзы, которые устраивали мы с Карибе друг другу. Ограничусь лишь двумя, а об остальных пусть он вам расскажет. Итак, с вашего разрешения...

Не успели мы обосноваться в Баии, как оказалось, что садовник наш ничего в своем деле не понимает, и пришлось уволить его, выражаясь официальным языком, за «профессиональную непригодность». Узнав об этом нашем деянии, Карибе затеял грандиозный розыгрыш и повел дело так блистательно и правдоподобно, что мне поначалу было совсем не до смеху.

Карибе подговорил своего приятеля, юриста Тибурсио Баррейроса, и вскоре я получил официальную, со всеми подписями — подделанными очень искусно — и печатями, на фирменном бланке «Трудового Трибунала» бумагу весьма грозного содержания. Мне предписывалось на следующий день к 14:00 явиться в присутствие и дать объяснения, на каком основании не заплатил я уволенному мною без должных оснований служащему причитающуюся сумму. Тот, дескать, подал на меня жалобу, вчиняет мне иск. Вот меня и вызывают в суд. Помимо того что я был огорошен таким оборотом событий, мне вовсе не хотелось оказываться пауком-эксплуататором, сосущим кровь из трудового народа. И грозил мне здоровенный штраф. Да и вообще, история некрасивая, чтобы не сказать, позорная.

А самое главное, садовнику-то все было уплачено и даже больше, чем следовало. В панике бросился я к адвокату Вальтеру да Силвейре, цивилисту и специалисту по трудовым спорам. Все ему рассказал, все показал, включая и грозную повестку. Тот посмотрел и удивился: все неправильно, не по форме и незаконно! Вальтер по натуре забияка и, увидав подпись судьи, вскричал:

— Я его знаю, он мерзавец и мой личный враг. Даром ему это не пройдет! Я воспользуюсь его оплошностью и покончу с ним. Ни о чем не тревожься, Жоржи, положись на меня.

Договорились в назначенный час встретиться в Трибунале.

Однако когда я вернулся домой, Зелия рассказала мне, что все это шутка и розыгрыш. Тибурсио, как новичок в таких делах, не выдержал характера, позвонил и с хохотом признался в своей проделке. Зелия в ответ сообщила, что я уже призвал к себе на помощь Вальтера, чем повергла шутника в трепет: Вальтер с нас шкуру спустит, если он за нас возьмется всерьез, неприятностей не оберешься. Пусть Жоржи объяснит ему, что это шутка. «Я позвоню попозже».

И позвонил. Но я попросил Зелию взять трубку и сказать, что в отместку за такие шуточки я решил дать делу ход, и что завтра мы с Вальтером отправляемся в Трибунал требовать ответа. Оба шутника заметались — стало припекать по-настоящему: Тибурсио за подделку официального документа вполне мог распрощаться со своей должностью, Карибе совестился того, что подвел приятеля.

...Целый день я поджаривал обоих на медленном огне и лишь поздним вечером милостиво согласился исполнить их покорнейшую просьбу и сыграть отбой.

Самым трудным оказалось убедить неумолимого Вальтера не ходить в Трибунал, адвокат был твердо намерен устроить там большой юридический скандал и свести с судьей, якобы подписавшим бумагу, давние счеты, благо повод для этого представился замечательный. Только после того, как я объяснил ему, что он погубит карьеру и репутацию Тибурсио, он несколько остыл и утих.

...В другой раз Карибе явился в мастерскую Мирабо Сампайо, хозяина не застал и утащил жемчужину его коллекции — деревянную статую Приснодевы, одну из тех четырех скульптур, на которых стоит клеймо великого мастера Фрея Агостиньо да Пьедаде, величайшую редкость, предмет восхищения знатоков и вожделения многих музеев. Изваянная в XVIII веке статуя стоит астрономических денег, это настоящий уникум. Карибе погрузил ее в машину, привез ко мне на Рио-Вермельо, поднялся на крыльцо, позвонил и скрылся, оставив бесценную деревянную мадонну у дверей. Я открыл, увидел рарирет, сразу понял, что имею дело с очередной проделкой Карибе, забрал статую и спрятал ее у себя дома в надежное место.

Спустя небольшое время позвонил разъяренный Мирабо:

— Наглость нашего дружка Карибе переходит все границы, представь, он уволок работу Агостиньо, а теперь отнекивается, говорит, что это ты хотел надо мной подшутить, утверждает, что видел статую у тебя в доме.

— У меня? — очень естественно изумился я. — Разве ты не знаешь, что такие шуточки — не в моем вкусе. С драгоценностями не шутят. Конечно, мадонна у него.

Мирабо забеспокоился:

— Я сейчас же позвоню ему, это вовсе не смешно, тем более что он проделывает подобные фокусы не впервые. «Скорбящую богоматерь» он крал у меня уже раз десять. Но подлинник Агостиньо — это уж слишком!

Я подлил масла в огонь: представь, что будет, если бесценное сокровище и в самом деле пропало, что если его украдут не понарошку, а взаправду? А может, Карибе решил присвоить шедевр? С него станется. Помнишь, как он на глазах у прислуги уволок у тебя из кабинета полотно Дженнера Аугусто и до сих пор не вернул? И не вернет.

Вслед за тем, как ни в чем не бывало, позвонил сам Карибе, поговорил о том, о сем, а потом осведомился вскользь и мимоходом, не находили ли мы — Зелия, я, дона Эунисе — кое-чего у дверей?

Кое-чего? У дверей? Ничего мы не находили. Да мы сегодня из дому не вылезали, а звонка в дверь, похоже, не слышали. Подожди, Карибе, у телефона, схожу посмотрю. Да, ты слушаешь? Ничего там нет. А что должно быть? Какую шкоду ты учинил на этот раз?

Карибе, потеряв на миг дар речи, признался, что — в шутку, в шутку! — оставил у моих дверей мадонну Агостиньо да Пьедаде. Я сделал вид, что взволнован и встревожен: «Ты что же, бросил, можно сказать, на улице уникальное произведение искусства, ему место в Лувре, ему цены нет, ты что, забыл, в какое время мы живем, сколько жулья и ворья вокруг? С ума сошел?!»

Мне он не поверил, но когда Зелия подтвердила, что мы ничего у дверей не находили, душевное равновесие его поколебалось значительно. Он тотчас примчался к нам, обшарил и перерыл весь дом, но мадонну, запрятанную в комод доны Лалу, о чем и сама она, матушка моя, не ведала, не обнаружил. Я тем временем позвонил Мирабо, уже собиравшемуся заявить в полицию, успокоил его — не зверь же я, в самом-то деле?! — и пригласил приехать к нам. Он не замедлил появиться, и мы некоторое время вместе любовались безграничным отчаянием нашего общего друга, в ужасе метавшегося по дому. Наконец Зелия, мягкосердечная, жалостливая Зелия, не вынесла зрелища этих адских мук и призналась во всем.

Два этих случая я записал в свой актив, но в десятки раз чаще становился я жертвой бесчисленных розыгрышей и довольно жестоких шуток друга и кума, художника Карибе, чье настоящее имя — Эктор Хулио Париде де Бернабо — отдает фанфаронадой и мистификацией.

## Рио-де-Жанейро, 1960

Время к полуночи, в нашей гостиной Антонио-Мария, композитор и журналист, перебирает струны гитары, исполняя только что сочиненную пьесу. Обрывая назойливую и такую неуместную трель телефона, хватаю трубку, и женщина на том конце провода осведомляется: имеет ли она честь говорить с Жоржи Амаду. Да! Да! Он самый! В чем дело?

— Я ваша читательница, у меня есть все ваши книги... Сейчас я читаю «Старых моряков» и вот бросила буквально на полуслове... Решила позвонить вам...

Издатель объединил под одной обложкой и под названием «Старые моряки» две мои повести: одну про таинственную кончину Кинкаса-Сгинь-Вода, другую про капитана Васко Москозо де Арагана. Книжка только вышла из печати.

— ...позвонить, — бьется в трубке взволнованный голос, — чтобы узнать... Я остановилась на той странице, где ваш капитан напивается в каком-то убогом притоне... Теряет мужество и уже готов все бросить... Так вот, я вас предупреждаю: если вы не вернете ему достоинство, не вытащите из грязи, не заставите вновь обрести радость жизни, я в руки больше не возьму ни одну из ваших книг! Так и знайте! — и бряк трубку.

Возвращаюсь к гостям, рассказываю об этом странном требовании. Композитор хохочет и делает мне такое признание:

— Не поверишь, но я тоже остановился на этой странице... Целых два дня не мог заставить себя вновь взяться за чтение. Боялся, что капитан покончит с собой.

## Рио-де-Жанейро, 1953

Я получил письмо от Говарда Фаста: речь в нем идет об авторских правах, за которые якобы я ему не плачу.

Мы познакомились с ним в 1949-м, в Париже, на Конгрессе в защиту мира. Он и Поль Робсон были звездами американской делегации. Великий певец стал и до самой смерти оставался моим другом, с Говардом Фастом я имел мало дела, хоть и распускал восторженные слюни по поводу «Спартака» и «Дорог свободы». В 1956-м, когда Хрущев разоблачил сталинизм, появился среди прочих и роман Фаста «Голый бог» — роман выстраданный, нервный, очень мне пришедшийся по душе.

А за три года до этого я затеял в партийном издательстве, которое тогда возглавлял Алберто Пассос Гимараэнс, серию «Народный роман», сам отбирал для нее книги, подыскивал переводчиков. Опубликовали мы немало хороших произведений, и в том числе фастовских «Спартака» и «Сакко и Ванцетти».

И вот письмо от Фаста: его литературный агент обнаружил пиратские издания его романов — двух, по крайней мере, — держал в руках эти экземпляры, выпущенные в свет жульнически, «Спартак» же сейчас, по его сведениям, выходит вторым изданием. Агент приводит название издательства, фамилию директора, собирается подавать в суд, от которого нам не приходится ждать ничего хорошего, но он, Говард Фаст, увидев мое имя, попросил подождать с иском, покуда он не напишет мне и не получит ответ с объяснениями.

Вот я и отвечаю: отвечаю, что отвечаю только за выбор книг и переводчиков, а прочее — договоры, покупка прав, условия издания, сумма вознаграждения — не моя печаль. Обращаться следует не ко мне, а в издательство «Витория», а оно, честно уведомляю я, принадлежит бразильской компартии, и потому у меня к Фасту покорнейшая просьба — уведомить меня срочной телеграммой, буде ему или его агенту удастся слупить с издательства хотя бы ломаный грошик. Лично мне оно должно весьма и весьма значительные суммы, ибо мой «Мирный мир» выходил у них пять раз, «Рыцарь надежды» — вообще без счета. И все за «спасибо».

Нет для меня ничего более изнурительного, раздражающего, тягостного и бессмысленного, чем так называемое вращение в обществе: приемы, коктейли, званые ужины, официальные обеды, презентации и тому подобная мура.

Надо быть умным — присутствующие ждут от тебя звонких фраз, метких слов, глубоких мыслей и блеска. Если не удается отговориться, я впадаю в глубокую панику. Попробуй-ка быть умным в час, когда все добрые люди предаются сиесте, а ты как дурак, в пиджаке и при галстуке, преешь за столом! В такие минуты я тупею до такой степени, что меня можно счесть слабоумным, теряю дар речи, словом, становлюсь еще большим дурнем, чем обычно.

## Пекин, 1986

Алфредо Машадо стало известно, что я написал президенту Сарнею, отказываясь занять пост посла Бразилии во Франции. В ту пору я был в Пекине, и Жозе Сарней позвонил мне туда с этим лестным предложением: друга я поблагодарил, главе государства — отказал. Я считаю, что не гожусь на эту должность, несведущ и некомпетентен, а в экономике вообще полный ноль, а ведь это — всего лишь одна из сфер, в которых послу надлежит разбираться. Сарней не сразу принял мой отказ: он продолжал уговаривать меня еще целый месяц с лишним, но я был неколебимо тверд, и он сдался.

— Только ты мог отказаться от такого. Подумать только — посол во Франции! Ты спятил, Жоржи! — говорит мне Машадо.

— Подумаешь, посол! Случались в моей жизни виражи и покруче. Забыл, как в 1950-м я порвал с издательством «Галлимар»?

Да, это было решение куда более серьезное, и отказ дался мне куда тяжелей. Когда в 1938 году меня, безвестного бразильского писателя, перевели на французский язык, и крупнейшее парижское издательство выпустило мою книгу, я чуть не лопнул от гордости, я был на седьмом небе от счастья, я считал себя богачом и знаменитостью. После войны, в 1949-м, «Галлимар» переиздало «Жубиабу» и купило права на французские издания «Капитанов песка». Покуда книгу переводили, Роже Кайуа[[70]](#footnote-70) затеял серию под названием «Южный Крест» — в ней должны были печататься произведения писателей Латинской Америки.

А я перед самым отъездом в Чехословакию разыскал Клода Галлимара и попросил не включать перевод «Капитанов» в новую серию. И объяснил, почему. Дело тут было не в Кайуа — я был с ним в превосходных отношениях, — а в моей неприязни ко всяческим гетто. «Южный Крест» же, по моему мнению, был самым настоящим гетто, куда писателей загоняли по территориальному признаку. Галлимар счел мои резоны убедительными, пообещал просьбу мою исполнить. Однако не исполнил. Я уже был в Праге, когда под маркой «Croix du Sud» («Южный Крест») вышли «Capitaines de Sable». Клод явно забыл о своем обещании. И тотчас же в этой серии выпустили очередное издание «Жубиабы». Вот тогда я прекратил сотрудничество с крупнейшим французским издательством, и минуло немало лет, прежде чем возобновились наши отношения.

Алфредо Машадо — сам издатель, а потому не может не признать, что это был шаг куда более рискованный, чем отказ от посольской должности. Это уж, пожалуй, не сумасбродство, а сумасшествие.

— Ты не забудь — я был тогда молод, мне было тридцать с чем-то, а теперь — семьдесят пять. Не знаю, не знаю, хватило бы у меня сейчас духу рассориться с «Галлимаром».

## Баия, 1980 — Париж, 1990

Парижский романист и критик Тони Картано всегда относился к моим творениям, вышедшим во французском переводе, с великодушной снисходительностью и не раз печатал в газетах лестные для меня рецензии. Однако в помещенной в «Магазин Литтерер» статье по поводу приснопамятного «Подполья свободы» он вдруг показал зубки и, что называется, раздраконил эпопею — обвинил автора в том, что тот рабски следует канонам социалистического реализма, установленным товарищем Ждановым. Тони недавно рассказал мне, как удивило его мое письмо, в котором я полностью признавал его правоту.

Через десять лет Доминик Фернандес посвятила целую полосу в «Нувель Обсерватёр» одобрительному разбору моих романов. Поводом для этого послужил выход книги Алисы Райяр «Разговоры», где немало страниц посвящено мне. Помимо превосходных переводов «Лавки Чудес» и «Терезы Батисты», я благодарен Алисе, дружбой с которой так дорожу, и за эту книгу.

Однако Доминик высказалась весьма нелицеприятно по поводу моей «Страны карнавала», появившейся в Париже ровно через шестьдесят лет после того, как я ее сочинил. Доминик упрекала меня в подражании европейским образцам, в том, что я слишком подвержен чужим влияниям, а от этого недалеко и до эпигонства. Я и ей написал письмо, признавая столь строгую критику вполне справедливой, а упреки — заслуженными. В оправдание свое сказал лишь, что «Страна карнавала» — мой литературный дебют, и спустя два года появился роман «Какао», уже вполне свободный от заимствований.

С Тони мы уже были друзьями, когда я написал ему, кротко признавая его правоту по поводу «Подполья». С Доминик мы подружились после того, как она получила мое письмо.

## Франкфурт, 1970

Где только не сводила меня судьба с Габриэлем Гарсия Маркесом, на каких только мировых перекрестках не сталкивались мы с ним! Скажем, в Барселоне он встречал нас в аэропорту вместе с Кармен Бальсельс, своим литературным агентом, чей непреклонный нрав хорошо известен издателям всего мира — она горой стоит за права своих авторов, в обиду их не даст никому... Был и другой случай: приплыв в Картахену, мы с Зелией известили об этом Габо, и, сойдя на берег, пили несравненный колумбийский кофе в доме его родителей. А в Гаване ужинали с ним и с Фиделем Кастро.

Мы познакомились лично лет двадцать с лишним назад — на франкфуртской книжной ярмарке, в рамках которой устроена была встреча латиноамериканских писателей. Германские литературоведы и университетские профессора проявили тогда завидную осведомленность — здесь отлично знали наше творчество, хотя большей части испаноамериканцев нужен был не анализ, а издатель. Они беззастенчиво пристраивали свои рукописи и книги... Недавно мы с Эдуардо Портеллой вспоминали, как кипел тогда от негодования наш соотечественник Адониас Фильо, возмущенный тем, какие бои развернулись за место под солнцем, за расширение жизненного литературного пространства. «Я не за этим сюда приехал!» — сказал он Портелле и мне. Три бразильца были инородными телами в сообществе испаноязычных коллег, устроивших неслыханную свистопляску. Я обратил тогда внимание на Гарсия Маркеса, молча пристроившегося в уголке и не принимавшего участия в этой книжной ярмарке тщеславия.

...Приехав из Москвы в Париж, он звонит мне. Я спрашиваю, в каком отеле он остановился, и слышу в ответ смех:

— Жоржи, латиноамериканский писатель, если он дожил до определенного возраста и не полный олух, должен последовать твоему примеру и купить себе квартиру в Париже, — и он диктует мне свой адрес и телефон.

## Рио, 1946

Новоизбранные члены палаты депутатов и сената образовали конституционную комиссию, и, покуда налаживалась ее работа, в течение целой недели всходили на трибуну представители разных фракций и партий, произносили речи во славу демократии. Всех уже не помню, но выступление Отавио Мангабейры врезалось мне в память. Это было истинное произведение ораторского искусства, каскад блестящих импровизаций, исполненных с подлинным артистизмом и мастерством. Впрочем, вскоре выяснилось, что Отавио свои речи сначала пишет, потом правит и шлифует, потом учит наизусть и произносит перед зеркалом, отрабатывая жестикуляцию и модуляцию. И только потом дарит восхищенным парламентариям очередной экспромт.

Говорить от имени коммунистической фракции на этом пиру парламентской риторики доверено было Клаудино Жозе да Силве — первому настоящему чернокожему, ставшему депутатом Федерального собрания. Это был человек малограмотный, читал по складам, и при этом он, как бывает с самородками, обладал настоящей интеллигентностью, видимо, врожденной. У него был один-единственный костюм, одна рубашка, но он слыл чуть ли не самым элегантным парламентарием, а по просвещенному мнению Иветты Варгас, не «чуть ли», а самым элегантным.

Мне и Маригеле — исходя, очевидно, из нашего с ним баиянского происхождения — поручили писать речи для наших товарищей, не вполне владевших литературным языком. Мы дебютировали на выступлении Клаудино, и его речь вошла в анналы бразильского парламентаризма, на пять корпусов обойдя все прочие речи, ибо была невероятно пространной. Мы разделили предполагаемый текст на четыре равные части: две взялся писать Маригела, две — я. Принялись за работу, довели ее до конца, а когда уже вместе начали сводить концы с концами, дописывая то, что Маригела назвал «стыками», количество страниц удвоилось. Речь вышла пламенная, патетическая и — длины нечеловеческой.

Результатом нашей самоотверженной и довольно занятной работы, итогом плодотворного сотрудничества явилась не речь, но речуга, речище: славный Клаудио произносил ее на совместном заседании обеих палат — мы засекли время — четыре часа двадцать пять минут. Парламентарии, получившие свои мандаты после восьмилетней диктатуры «Нового государства», еще пребывали в послевоенной эйфории и потому пленарные заседания посещали исправно, отсиживали зады на скамьях, носом не клевали, не кашляли, слушали ораторов со всем вниманием, рукоплескали громко и дружно. Клаудио же удостоился особого отношения — он был представителем коммунистической фракции, да еще и негром: не прийти на его выступление значило расписаться в своей реакционности, сильно сдобренной расизмом.

Покуда он с запинкой читал свою эпопею, Маригела, в качестве четвертого секретаря редакционной комиссии оказавшийся в президиуме — правда, с краешку, — кивал мне, подмигивал, радуясь, как мы с ним умыли социал-демократов и демократических националистов. Мы первыми, с двух концов зала, принимались аплодировать, и коллеги-депутаты единодушно подхватывали. Когда же наконец Клаудио завершил выступление и, сойдя с трибуны, упал в объятия товарищей, спешивших поздравить его, Нестор Дуарте, который любил называть вещи своими именами, шепнул мне на ухо:

— Ну и х—ю же вы состряпали!

## Баия, 1985

Вместе с Жаком Шанселем, который снимает для французского телевидения фильм о Баии, мы идем вниз по Ладейра-до-Пелоуриньо. Беспризорные мальчишки — «капитаны песка» — в обмен на мелкую монетку сообщают туристам всякие исторические сведения, показывают достопримечательности, окружают нас плотным кольцом, тычат пальцами в сторону особнячка, где ныне отель, а в 1927 году мне какое-то время пришлось жить, и говорят хором:

— В этом доме в 1500 году родился Жоржи Амаду.

Можно не переводить. Жак Шансель и так все уже понял:

— Оказывается, твоя слава гремит здесь уже пятое столетие! — хохочет он.

Но тут один из «капитанов» узнает меня и шипит остальным: «Прикусись, пацаны, это ж папаша Профессора!» Профессором они давно прозвали известного социолога, заметного человека в Фонде культурного наследия — моего сына Жоана Жоржи. Он много занимался проблемами этого и прилегающих кварталов, населенных в основном бродягами, проститутками и прочим маргинальем. Главной же его заботой были дети — вместе с актрисой Айдил Линьярес он даже создал для них театр, кажется, он и сейчас еще существует.

Очень довольный такой популярностью своего сына, я веду Жака Шанселя дальше — на площадь Пелоуриньо, где он будет снимать парад карнавальных групп-афоше. А на площади — толпа французских туристов. Они узнают именитого земляка, обступают его плотным кольцом и радостно приветствуют: вы подумайте только, прилететь за столько тысяч километров, чтобы увидеть вживе и въяве телерадиозвезду. Жак раздает автографы.

— Так вот, оказывается, где она — главная баиянская достопримечательность! — говорю я.

На площадь, слепя смуглой наготой и буйством красок, со штандартом и змеей, вступает афоше «Дети Ганди». Гремит музыка. Шансель отдает распоряжения своей группе. Начинается съемка.

## Рио, 1960

Сознавая свою популярность, ощущая любовь народа, благодарного за прогрессивный, демократический курс правительства, за то, что появилась в стране автомобильная промышленность и воздвиглась на пустом месте новая столица Бразилиа, президент наш Жуселино Кубичек, когда приблизился срок уйти с поста, стал подумывать о переизбрании. Дело было непростое, конституция не позволяла, но... Кубичек вопросил оракула, и тот — звали его Отто Лара Резенде — ответил: «Может быть, если видные деятели культуры подпишут воззвание по сему поводу, то, как знать, глядишь, это даст толчок общенациональной кампании за перевыборы...»

Перво-наперво мы с Эдуардо Портеллой составили список самых необходимых и безотлагательных шагов во внешней и внутренней политике, перечислили все, чего требовали и интеллигенция, и народ. Если Жуселино эти шаги сделает, может быть, мы и запустим кампанию за переизбрание его на второй срок. Получилось у нас не то пятнадцать, не то двадцать пунктов, точно не помню. Президент ознакомился с нашими условиями и согласился выполнить все — все, кроме одного. А это было требование, чтобы Бразилия заняла иную позицию по отношению к национально-освободительной войне, которая все жарче разгоралась на португальских «заморских территориях» — в Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау, чтобы мы прекратили поддерживать салазаровский режим, перестали раболепствовать и объявили о своем нейтралитете. Жуселино, с большим воодушевлением принимавший нашу программу, дошел до этого пункта и сказал «тпр-р-ру»:

— На это я пойти не могу. Не могу подложить такую свинью доктору Антонио.

Доктору Антонио, как почтительно называли бразильские политики, даже мнившие себя прогрессистами, португальского диктатора Антонио де Оливейру Салазара, они лизали сапоги. Первым, кто отказался от этого исторически сложившегося, но от того не менее унизительного занятия, кто сделал внешнюю политику нашей страны более или менее независимой, был Жанио Куадрос.

## Вена, 1956

Мой старый друг, композитор и активист парагвайской компартии Хосе Асонсьён Флорес[[71]](#footnote-71) пролетом в Москву оказался в Вене, где я тогда жил: он хотел есть и — женщину, о чем объявил с порога. В Москву же он направлялся по приглашению советских товарищей, благосклонно отнесшихся к его творчеству и к его политической деятельности. Они выправили ему все документы, прислали билет на самолет Буэнос-Айрес—Лондон—Вена—Москва, а больше у него для межконтинентального вояжа ничего с собой и не было: композитор был беден, как настоящий индеец гуарани, чья нищета вошла в поговорку, а те жалкие песо, что вручил ему перед отлетом товарищ Эльвио Ромеро[[72]](#footnote-72), он истратил прямо в Буэнос-Айресе на какие-то конфеты, бутерброды и фрукты, поскольку был обжорой и сластеной. Его ничуть не смущало, что в кармане — ни гроша: он приглашен Союзом композиторов СССР, а это страна могущественная и богатая, стоит ему лишь ступить на ее территорию, и он ни в чем не будет знать отказа и недостатка. Как видим, Хосе Асонсьён Флорес доверял первому в мире государству рабочих и крестьян беспредельно.

Однако человек предполагает, а Бог располагает. Неприятности начались уже в Лондоне, куда он прибыл около полудня после утомительнейшего перелета, занимавшего в те времена часов тридцать, если не больше. Опытный путешественник Эльвио Ромеро наставлял его:

— Как приземлитесь, отведут тебя в зал для транзитных пассажиров, самолет на Вену будет через час. Сиди и слушай, а услышишь, что посадку объявили, — иди в самолет. В Вене тебя встретят, так что ни о чем не волнуйся.

Как бы не так. Хосе Асонсьён понимал на гуарани и по-испански: он прилетел, сел и стал ждать, когда объявят рейс на Вену, что должно было произойти примерно через час. Но не произошло. Кто ж мог знать, что пригласят на посадку пассажиров, вылетающих в какую-то загадочную «Вин», а о Вене не обмолвятся и словечком. Поди-ка догадайся, что это она и есть. Композитор, прижимая к груди папку со своими опусами, сидел и внимательно слушал, но заветного слова так и не дождался. Сел он в кресло около полудня, а в шесть, томимый голодом и нестерпимым желанием опорожнить мочевой пузырь, наконец не выдержал и пошел выяснять что к чему.

Эльвио рекомендовал ему не покидать транзитного зала, но Флоресу ничего другого не оставалось, как открыть дверь, подойти к стойке с надписью «INFORMATION» и обратиться к сидевшей за ней юной леди. Он объяснил ей свои проблемы, но та не понимала по-испански, и композитор, еле-еле сдерживаясь, чтобы не намочить штаны, перешел на звучный язык индейцев гуарани. И плохо было бы его дело, если бы проходивший мимо элегантный господин, привлеченный истошными криками «Я — композитор Хосе Асонсьён Флорес», не приблизился и не осведомился бы, что происходит. Флоресу сказочно повезло: господин оказался аргентинским послом, только что прилетевшим из Манчестера. Он принял в нашем герое живейшее участие: выслушал его и первым делом указал, где находится туалет.

Дождавшись возвращения повеселевшего Флореса, посол отрекомендовался ценителем его дарования и вообще парагвайской музыки, сообщил, что жена всегда напевает его мелодии, когда стоит под душем, попросил автограф и мгновенно решил все проблемы: выправил въездную визу сроком на сутки, зарезервировал билет на завтрашний самолет в Вену, отвез композитора в ближайший отель, снял ему номер, заказал ужин, обещал утром прислать шофера — словом, облагодетельствовал.

В результате Флорес прилетел в Австрию с опозданием на двадцать четыре часа. Никто его, разумеется, не встречал. Но по адресу на конверте переданного для меня письма он разыскал местное отделение Комитета защиты мира, приехал туда на такси и, когда я уплатил водителю, упал в мои объятия.

Он умирал от голода — это случалось с ним ровно через пять минут после любой трапезы, — и я повел его в ресторан. С нами была сотрудница комитета, приставленная ко мне в качестве переводчицы, — толстенькая, кругленькая, веснушчатая венка. Хосе Асонсьён, отрываясь на секунду от гуляша, посматривал на нее с вожделением, ибо прежде всего успел сообщить мне, что смертельно хочет есть и переспать с кем-нибудь. Он надеялся, что я помогу ему исполнить оба желания, ибо принадлежал к тем, кто считает меня всемогущим. Было заявлено, что парагваец, на четыре дня оставшийся без бабы, уже не принимает в расчет ни возраст, ни внешность, ни даже пол, а он, Хосе Асонсьён, пребывает в столь бедственном положении пятые сутки.

Переводчица, увидав его выразительную жестикуляцию, пожелала узнать, о чем идет речь и чем так озабочен парагвайский товарищ. Я честно довел до ее сведения смысл последнего высказывания — парагваец... четыре дня... и т.д., — а потом спросил, не расположена ли она споспешествовать решению этой проблемы, ибо представляется редкая возможность применить в действии принцип пролетарского интернационализма.

Толстушка выслушала меня с интересом, потом внимательно оглядела тучного композитора, чей лысый череп поразительно напоминал головку швейцарского сыра, и осведомилась:

— А он правда такой знаменитый?

— Правда-правда! В Буэнос-Айресе женщины дерутся за право отдаться ему, — наша беседа шла по-французски.

Она снова стала изучать его внешность и, судя по вопросу, пришла к неутешительным выводам:

— Но знают его только в Южной Америке, да?

Увидев, что парагвайцу, кажется, не обломится, я воззвал к ее сознательности:

— Ты не забудь, что его музыку будут исполнять в Москве, а это — мировая слава.

Она заколебалась, и я добавил:

— Считай это партийным поручением.

Аргумент подействовал, венка улыбнулась лысому полуиндейцу. Я уплатил по счету и незаметно удалился, оставив их тет-а-тет. В конце концов Флорес считал меня человеком, чьи возможности безграничны. Мог ли я разочаровать его?

## Баия, 1987

Анжело Калмон де Са обнимает меня на прощанье:

— Я глазам своим не верил — ты один мог устроить такое.

Он имеет в виду обед по случаю торжественного открытия Фонда Жоржи Амаду, на коем — на обеде, разумеется, не ловите меня на слове — сошлись оппоненты, противники, враги, иными словами, приверженцы разных политических взглядов и люди, не переносящие друг друга. Словом, греки преломили хлеб с троянцами.

И было их триста три человека, не считая тех, кто втерся без приглашения: по местному обычаю гость приводит с собой всех чад и домочадцев. Ладно. Место всем нашлось. Только что завершились выборы в правительство штата, в сенат и Законодательное собрание, люди еще не остыли и не сложили оружия. Много чего было на этих выборах, много грязи вылили друг на друга претенденты. Но мы с Зелией принимали гостей, будто знать не знали, что думает губернатор бывший о свежеиспеченном, и чего именно желает префект, уходящий в отставку, префекту, вступающему в должность. Паломе и Педро было поручено рассаживать гостей по взаимной склонности и политическим симпатиям, следя, чтобы враги все же не оказались рядом, — это было бы, пожалуй, чересчур. Один депутат, ничтожный внук великого баиянца, дал интервью в газетах: заявил, что не придет на обед по политическим мотивам. Я же подозреваю, что дело проще: он не придет потому, что его не позвали. А приглашенные явились в полном составе — и обошлось без скандала, без драки, без скрежета зубовного. На пиру царил мир и торжествовало хорошее воспитание.

Итак, здесь было правительство и оппозиция, политики и интеллектуалы, богачи и бедняки, «отец святого» Камафеу де Ошосси и Евгений Евтушенко, француз Франсис Комб и баиянец Карлос Капинам. Словом, как написала в своей колонке светской хроники великодушная обозревательница Жюли, тоже, разумеется, приглашенная: «Успех! Грандиозный успех!»

Ах, нет-нет, не очень-то грандиозным успехом ознаменовался для меня обед, который мы с Зелией давали в честь Жермано Табакова и Мириам Фраги, президента и директора-распорядителя Фонда. Какой там успех! Провал, а не успех, и от позора мне не отмыться до могилы. На предварительном совещании решено было не подавать виски, ибо свободный художник слова, живущий исключительно гонорарами, не может накачать бурбоном и скотчем три сотни человек. Для создания непринужденной обстановки хватит батиды[[73]](#footnote-73) и пива. И было заказано уж не знаю сколько вагонов пива — половина для обеда, половина для вечернего приема в Фонде. Дома, в холодильнике лежал обычный дневной запас, на посторонних не рассчитанный.

...Я встал из-за стола и начал по своему обыкновению обходить гостей, чтобы узнать, всего ли у них в достатке и не нужно ли чего, вышел на веранду, спустился в сад, добрался до бассейна, приветствуя всех и осведомляясь, нет ли каких пожеланий. Антонио Карлос и Вальтер Морейра Салес, сидевшие за одним столиком, ответствовали, что, мол, попросили официанта принести им еще пива, а он и пива не несет и сам запропал куда-то.

Я двинулся на кухню, и на кухне узнал, что исполнить пожелание гостей никак невозможно по причине полного отсутствия пива: все, что было в доме, подано и выпито, а то, что было заказано, не прибыло. По ошибке все это разлитое в бутылки пивное море отправили в Фонд, для вечернего приема. Сделать ничего было нельзя, исправить положение не представлялось возможным, я впал сначала в растерянность, затем в смятение, а потом и в такое отчаяние, что не нашел в себе отваги для того, чтобы вернуться на свое место. Министр и банкир ждали меня напрасно. Срам!

А Вальтер Морейра Салес — старый друг! Он летал в столицу подписывать акт об учреждении Фонда, он приехал в Баию на инаугурацию, остался на обед!.. С того дня я стал избегать его, а потом, когда над нашим Фондом нависли черные тучи, и исполнительная директриса Мариам Фрага предложила обратиться к Салесу за помощью и содействием, я умолил ее не делать этого. Вальтер Морейра Салес в моем доме страдал от жажды и остался совершенно трезв. Мыслимо ли пережить больший позор?!

## Порто-Алегре, 1942

В Монтевидео — торжественные проводы бразильских политэмигрантов на родину. Бразилия объявила войну третьему рейху и его сателлитам, и мы, изгнанники и изгои, сочли своим долгом сотрудничать с правительством и готовы бестрепетно идти в тюрьму. Наш порыв не остался незамеченным, и несколько тысяч жителей уругвайской столицы пришли проводить последних романтиков. Речи, гимны, здравицы в честь союзных держав и их лидеров — Рузвельта, Черчилля, Сталина. «Вива Эсталин!» — звучит громче всего. У Господа Бога обнаружились усы, а родился он, оказывается, в грузинском городке Гори. Когда же митинг подходит к концу, меня призывают к лидеру аргентинской компартии Родольфо Гиольди, и он сообщает мне решение руководства:

— Ты с ними не едешь.

Я взрываюсь праведным гневом: на каком основании меня пытаются лишить чести и славы, отделить от патриотов, добровольно кладущих голову на плаху?! Чем я хуже других?! Родольфо успокаивает меня: «Не кричи, ты завтра тоже отправишься в Бразилию, только отдельно от остальных; они поедут поездом, а ты полетишь самолетом в Порто-Алегре с важнейшим партийным поручением». Он начинает объяснять его суть, я внимаю. Дело касается Престеса, я чувствую всю меру возложенной на меня ответственности.

В должности интервентора[[74]](#footnote-74) штата Рио-Гранде-до-Сул состоял в ту пору генерал Кордейро де Фариас, в будущем — маршал, а в прошлом — один из командиров «Колонны Престеса». В своей книжке «Рыцарь Надежды» я более чем лестно отозвался о его мужестве и таланте военачальника, надо думать, он остался доволен. Ну, так вот, мне следует встретиться с ним, разъяснить позицию коммунистов, решивших поддержать режим Жетулио Варгаса, раз уж тот объявил войну нацизму, а также сообщить, что было бы очень желательно и полезно, если бы он, Кордейро де Фариас, нанес визит Престесу, благо повсюду называет себя его другом. Визит этот нарушил бы ту глухую изоляцию, в которой уже семь лет пребывает главнокомандующий «Колонной» — ой, вру: главнокомандующим был генерал Мигел Коста, Престес же — начальником штаба, но заправлял всеми делами, распоряжался и отдавал приказы всем, включая Косту, он, и никто другой. Руководящие товарищи из аргентинской и уругвайской компартий сочли, что если подобное предложение Кордейро сделает известный писатель, воспевший, можно сказать, его и обессмертивший, то шансов на успех будет больше. Родольфо вручает мне билет на самолет, прижимает меня к груди: «С Богом!»

В Порто-Алегре я остановился у Энрике Скляра. Старый анархист принял меня со всегдашним своим радушием и лишних вопросов не задавал. А у меня, покуда я летел, окончательно созрел план действий, обдумать же его раньше я не мог, ибо весь вечер и всю ночь прощался с Марией-Лимонные Груди, графиней, между прочим. Она приехала из своего имения, чтобы помахать мне вслед, привезла в подарок от мужа, ценившего мое дарование, самопишущую ручку с золотым пером. Чтоб не забывал, она подарила мне трусики — маленькие, черные и благоуханные. Графиня была ярой католичкой, а потому не просто спала со мной, а прелюбодействовала, свершала смертный грех, зная, что за гробом уже приготовлены две-три вязаночки хвороста для костра, на котором гореть ей во веки веков. В самые патетические моменты стонала она: «Mea culpa, mea maxima culpa!»[[75]](#footnote-75) и из постели бежала прямо на исповедь.

Но я отвлекся. Вернемся к плану, который созрел у меня в самолете. Мануэлито д’Орнеллас, писатель и мой друг, был начальником департамента просвещения. Я раздобыл адрес и под вечер не спеша отправился к нему по пустынным улицам. В открытое окно увидел Мануэлито — он читал за столом. Я постучал, жена отворила, узнав меня, не удержалась от вскрика, втащила в переднюю, поспешно заперла дверь, побежала звать мужа, а заодно — закрыть окна. На меня смотрели, как на привидение.

Покуда хозяйка варила кофе, мы с д’Орнелласом беседовали, не зажигая света. Я изложил свой план, он изъявил полную готовность и заявил, что поступает в мое распоряжение. «Сейчас же поговорю с генералом, а ты сиди тут и жди». Пришла жена с чашечками: «Я до сих пор дрожу, до чего ж вы меня напугали...» Муж сказал, что скоро вернется, и мы будем ужинать. В ожидании его возвращения мы коротали время в приятной беседе, жена оказалась умненькой и начитанной, расспрашивала про Уругвай. Появился Мануэлито — генерал ждет меня в полночь, во дворце.

И с полуночи до половины четвертого мы с Кордейро обсуждали дела внутренние и международное положение, строили прогнозы. Начали, разумеется, с хода военных действий. Мы с Мануэлито, который отправился со мной, чтобы представить генералу, пытались что-то вякать, но говорливый симпатичный хозяин показал себя крупным военным теоретиком и наше штатское блеянье не слушал. Затем, когда мы остались с ним наедине, я передал ему, что было велено.

Я говорил ему, что война заставила коммунистов во всем мире изменить свои позиции, забыть былой радикализм и непримиримость, что в случае надобности они готовы даже убрать из названия своей партии слово «коммунистическая», нечто подобное уже произошло на Кубе, где они объединились с диктатором Батистой в единый антифашистский фронт, ибо самое главное сейчас — разбить Гитлера, а все прочее отходит на второй план. Мы снимаем наши недавние призывы к свержению режима Варгаса, сворачиваем нашу агитацию и пропаганду, прекращаем борьбу за социальные права бедняков, наши забастовки и митинги — все это потеряло актуальность. Надо сплотить всю нацию вокруг правительства. Кордейро, генерал и политик, слушал меня внимательно и с интересом.

Я перешел к Престесу, заговорил о посвященной ему книге «Рыцарь надежды», написанной, чтобы помочь амнистии политзаключенных. Интервентор поблагодарил меня за лестную оценку его полководческих дарований и человеческих качеств, припомнил кое-какие эпизоды, доброжелательно отозвался о Престесе, сказав, что хоть марксизм всегда был ему чужд, а себя он считает антикоммунистом, никогда не переставал высоко ценить и уважать Капитана... Сказано это было так веско и твердо, что я воспрял духом и предложил устроить им встречу.

Тут генерал задумался, словно взвешивая все «за» и «против». Да, ему хотелось бы навестить старого товарища, он считает, что к тому отнеслись с неоправданной и незаслуженной жестокостью... Есть в правительстве люди, которых он терпеть не может и не скрывает этого... Что ж, он попытается добиться разрешения Варгаса, но сумеет ли тот сломить сопротивление этих самых людей, всех этих центурионов «Нового государства», из которых самый отпетый негодяй — полковник Афонсо де Карвальо, мулат и нацист, можете себе представить такое дикое сочетание?

Он припоминает, как Орландо Лейте Рибейро тоже пытался прорваться к Престесу, добиться разрешения посетить его — и не добился. А ведь у Рибейро было два ближайших друга — Престес и президент Жетулио Варгас. Попытается теперь и он, генерал Кордейро де Фариас, но за успех не ручается.

— Оставайтесь пока здесь, — сказал он мне на прощанье. — Но предупреждаю: если поступит приказ из Рио, мне придется вас арестовать. Что же до визита к Престесу, я прозондирую почву. Поглядим.

Он проводил меня до самого выхода, и стоявшие у ворот часовые взяли на караул.

Рано-рано утром я вернулся к Энрике Скляру и застал его в сильном беспокойстве. Старик решил, что меня, как он изящно выразился, взяли за это самое место. Нет, покуда не взяли. Я иду из дворца, мы всю ночь интриговали с генералом, плели заговор, строили козни, только смотри — никому ни слова. Сую руку в карман за носовым платком, а достаю какую-то черную тряпицу — боже милосердный! это графинины трусики! — и по комнате распространяется запах мускуса. Старый Скляр раздувает ноздри, одобрительно кивает: «Какой аромат!» Я согласно киваю, я уже стосковался в разлуке, хоть еще и суток не прошло, как мы разомкнули объятия. Пожелав анархисту доброй ночи, иду спать, унося с собой реликвию.

## Баия, 1974

Случилось так, что в одно и то же время, в одном и том же городе, более того, на одной и той же площади Пелоуриньо, сиречь Позорного Столба, где разворачивается действие многих моих романов, происходили разом съемки трех фильмов, в основу которых легли сочиненные мною книги. Нельсон Перейра дос Сантос при содействии сына Нея и племянницы Тизуки снимал «Лавку Чудес»; Бруно Баррето — «Дону Флор и двух ее мужей», а Марсель Камю, набив карманы не боящимися инфляции франками, — «Пастырей ночи».

Все трое снимали натуру на вышеупомянутой площади и на прилегающих к ней улочках. Марселю и Бруно, кроме того, по сценарию надо было снять несколько эпизодов в церкви Розарио-дос-Негрос. Для этого следовало испросить позволения кардинала-архиепископа Баиянского. Я испросил. Примас Бразилии любезно согласился дать соответствующие распоряжения. И дал. Бруно снял финальные кадры на паперти и в приделах храма.

Дело было в воскресенье, ближе к вечеру, и пришлось сделать не меньше десяти дублей, ибо толпа зевак взрывалась восторженным ревом, когда из-за колонны появлялся в чем мать родила Гуляка — его играл Жозе Уилкер, — брал под руку дону Флор, которую с другого боку вел ее законный супруг фармацевт Теодоро, и вся троица спускалась по ступеням на площадь. Вопли и улюлюканье заглушали колокольный перезвон и музыку. Бруно был близок к отчаянью и не знал, как унять ликующих зрителей.

Спустя несколько дней, утром, мне позвонил встревоженный Марсель. Прихожане не пускали группу и многочисленную, человек в пятьдесят, массовку — мужчин и женщин в белых баиянских одеяниях — не то что в церковь, а даже и на паперть. Марсель в смятении воззвал ко мне: надо вновь обратиться к кардиналу, пусть подтвердит свое разрешение, и как можно скорее, ведь каждая минута простоя стоит чудовищных денег.

Не так-то просто было добиться, чтобы меня соединили с доном Авеларом Бранданом, кардиналом-примасом Бразилии: секретарь упорно сообщал, что его высокопреосвященство предается благочестивым размышлениям и тревожить его уединение он не смеет. Наконец терпение мое лопнуло, и под шквалом баиянской брани секретарь дрогнул, предпочел не связываться с таким грубияном, пошел доложить. Кардинал отвлекся от медитаций, взял трубку. Я поведал ему о драме, переживаемой Марселем Камю, который торчит с полусотней статистов, со всей аппаратурой и прочим перед запертыми церковными вратами.

— Все правильно, — сказал кардинал. — Разрешение отменено из-за того, что в воскресенье на съемках «Доны Флор» во храме все сплошь были голые. Произошла совершенно непристойная, откровенно порнографическая сцена, устроили какую-то вакханалию. Прихожане возмущены, уже были шествия протеста, а самые набожные престарелые дамы собирались святотатцев бить.

Я объяснил, что именно произошло в действительности, заверил, что и порнография, и вакханалия, и «сплошь все голые» — суть плоды воспаленного воображения ополоумевших святош. Голым был один Гуляка, да и у него срам был прикрыт, и в церковь он не входил, а прятался за колонной, притом закутанный в балахон, до той минуты, пока ему не настало время подойти к новобрачной доне Флор и взять ее под руку. Я поклялся спасением души покойной матери и убедил кардинала. Спустя четверть часа Камю впустили в храм, и началась съемка. Негр Массу крестил сына, позвав в воспреемники Огуна, африканского бога-оришу, повелителя железа, покровителя кузнечного ремесла. Никто не протестовал, старые ханжи, богомолки-святоши молчали, не взывали к небесам, не требовали божьей кары за богохульство. Религиозный синкретизм, не в пример голизне Гуляки, скандала не вызвал, лишний раз подтвердив, что у нас в Баии все возможно, даже языческое радение на таинстве крещения, даже впадающие в транс жрицы и шестеро Огунов у купели.

## Баия, 1962

Это Зука научил меня никогда никуда не спешить. Если не считать Аурелио, который, можно сказать, поседел у меня на службе, уже больше тридцати лет исполняя не только свои шоферские, но и прочие разнообразнейшие — он в каждой бочке затычка — обязанности, никто не служит у нас дольше Зуки. Боже, сколько прошло через наш дом в Рио-Вермельо секретарш, библиотекарей, горничных и кухарок, прачек и мальчиков на побегушках! Кое с кем мы остались в превосходнейших отношениях. Вот, скажем, Валдомиро — на его попечении находится наш бассейн, с которым у него существует некая таинственная связь, — скоро побьет рекорд Зуки, но пока еще тот впереди, больше двадцати лет занимая важный пост садовника.

В садоводстве он разбирается слабо (или совсем не разбирается), но зато в результате непрестанных и упорных боев покончил с муравьями, от которых житья не было, когда мы купили этот участок земли. Зука изничтожил муравьев не только у нас, но и во всем квартале. Золотое сердце, вырастил и воспитал десять человек детей — собственных и приемных: может, порою не всегда бывало вдоволь хлеба, но ни лаской, ни заботой он их не обделил.

Зука — истый баиянец: весел, доброжелателен, несуетлив. Вот уж о ком можно сказать, что время над ним не властно, он им распоряжается по собственной воле и своему вкусу, и никаких расписаний не признает. Как-то раз я купил саженцы питангейры, привез их домой и велел Зуке посадить. Он сложил их у изгороди пока что... Пока — что? Это известно ему одному.

— Зука, когда посадишь питангейры?

— Сегодня у нас понедельник, — принялся он загибать пальцы. — В пятницу посадим. В пятницу, профессор. — Он почтительно называет меня «профессором».

— В пятницу?! — я тоже принимаюсь считать на пальцах. — Через пять дней? Да ты что, Зука?! Отчего ж так долго?!

— Что ж, можно и пораньше. В четверг, скажем.

— Нет, Зука, это немыслимо! Слишком долго!

— Долго? — поражается он, но тотчас обретает душевное равновесие. — Ладно, в среду.

— Нет, и в среду поздно.

— Зачем торопитесь, профессор? К чему горячку пороть? Завтра посадим.

— Нет, Зука, не завтра, а сегодня, сейчас, сию минуту!

Зука смотрит на меня с уважительным состраданием, как на больного:

— Интересный вы человек, профессор... Каждый на свой лад с ума сходит.

И вот, покоряясь насилию, он отправляется сажать питангейры. Они принялись и выросли, вот только плодов так никогда не принесли. Я потребовал у Зуки объяснений, и он с безмятежным спокойствием промолвил нараспев:

— Наверно, почва не та. Да и потом, зря, что ли сказано: «Поспешишь — людей насмешишь»?

## Баия, 1967

В книжной лавке Деме время от времени приходится мне сильно раскошеливаться, оплачивая счета за те книги, которые без счета забирает мой сын Жоан Жоржи — «запишите на отца!» — за целую библиотечку начинающего марксиста-ленинца.

Знаменитая во всем мире фотография Че Гевары, снятая Кордой, — первое, что бросается в глаза, когда входишь к нему в комнату; полки заставлены сочинениями основоположников диалектического материализма, отцов научного коммунизма, все здесь, все без исключения, весь синклит — Маркс и Энгельс, Ленин, Сталин и Бухарин. Два издания «Капитала» — одно португальское, в кратком изложении, так сказать, дайджест, другое полное, каноническое, по-испански. Еще и еще разрозненные тома основоположников, они попадают в лавку Деме окольными путями, торгует он ими из-под полы, а потому дерет за них с покупателя три шкуры. А вот сочинение Мориса Тореза «Сын народа» с прочувствованной дарственной надписью «бразильскому товарищу Ж. Амаду» — оно похищено из моих книжных завалов.

Отечественная же литература почти вся выпущена издательством «Сивилизасан Бразилейра», которое принадлежит моему другу Энио Силвейре. Он пережил уже несколько судебных процессов, его то и дело тягают на допросы в цензуру, однако он не сникает, а снова лезет на рожон, доказывая свою беспримерную отвагу, продолжает печатать запрещенных авторов, верно служит правому делу, личным примером вдохновляет интеллигенцию, ну, и деньги зарабатывает.

Я рассматриваю полку, гнущуюся под тяжестью политической литературы, и прихожу к выводу — не скрою, с большим удовлетворением, — что мой сын не прочел ни единой строки из произведений вождей и учителей: книги пребывают в том же девственном виде — даже страницы не разрезаны, — в каком были куплены и принесены домой. В этом Жоан Жоржи, сам того не подозревая, действует в точности как наши партийные руководители — не читают они классиков марксизма-ленинизма, клянутся ими, ссылаются на них, но не читают! А кто, позвольте спросить, читает? И не эту ли картину наблюдаем мы с наимоднейшими романами, нашими и иностранными, расхваленными учеными критиками? Много продается да мало покупается.

А Жоан Жоржи, студенческий вожак и заводила, постоянно чего-то организующий против пришедших к власти «горилл», юный непримиримый коммунист, в котором природное добродушие пересиливает, слава Богу, ортодоксальность и догматизм, пишет пьесы для детей, сам их ставит, сам в них играет, крутит бесконечные романы, в свободное от всего этого время — выпадает оно крайне редко — слушает лекции на своем философском факультете и читает книги, прозу и поэзию. Они, не удостоенные чести стоять на полке, раскиданы по всей комнате, громоздятся в углах, валяются на полу, на стульях, под кроватью. Это круг чтения подростка: Дюма, Кастро Алвес[[76]](#footnote-76), Эса де Кейрош[[77]](#footnote-77), Машадо де Ассиз[[78]](#footnote-78), Стейнбек, набоковская «Лолита» и «Мать» Максима Горького. Ну, и что же тебе больше всего нравится? «Эса де Кейрош», — отвечает он не раздумывая. Одобряю его вкус, но продолжаю допытываться: «А что именно?» Оказывается, «Реликвия». Я советую сыну взяться за Диккенса, за Марка Твена. «Тома Сойера» он уже прочел. Я иду к себе в кабинет, хочу принести ему «Записки Пиквикского клуба»...

Так совпало, что в эти дни появляется у нас вышеупомянутый Энио Силвейра, да не за чем-нибудь, а получить звание почетного гражданина Баии. Он рассказывает, как трудно в наше время и при нашем режиме выжить его издательству, как его преследуют и травят. Я помогаю ему продать Антонио Карлосу Магальяэнсу, губернатору штата, целую библиотеку хороших книг, благо Энио издает не одних только классиков — основоположников единственно верного учения. Губернатор наш не так наивен, чтобы не понимать — покупая Стейнбека, Набокова, Хемингуэя, Гильерме Фигейредо[[79]](#footnote-79), он способствует переводу и распространению подрывной марксистской литературы, но все же делает заказ. Энио рассыпается в благодарностях — в трудную минуту я пришел на выручку «Сивилизасан Бразилейра», да здравствует пролетарская солидарность!

— Да я давно уж ее демонстрирую! Это не вчера началось. Твое издательство только на мне и держится. Знаешь, сколько денег я ухлопал в угоду марксистским воззрениям своего сыночка?! Целое состояние! Ты живешь за его счет, дражайший Энио!

## Рио, 1946

Только-только приехав в столицу с депутатским мандатом, я обнаружил в палате письмецо на свое имя.

Жду тебя к девяти вечера. Собираемся снимать фильм о Кастро Алвесе — супербоевик, ставит Марио Пейшото, сценарий — твой. В девять вечера без опоздания.

«Сегодня познакомлю тебя с Кармен Сантос, — обещаю я Зелии, — это моя закадычная подруга, прекрасный человек и кинодива». Я еще долго расписываю красоту, изящество, несравненный шарм и талант этой чудной актрисы и владелицы студии на «Бразил-Вита-филмс». В 1934-м она приобрела права на экранизацию «Какао», в 1938-м — на «Мертвое Море», а в 1943-м — на «АВС Кастро Алвеса». Ни один из замыслов так и не был осуществлен, но денежки все три раза приходили ко мне необыкновенно вовремя — трудно жить одной литературой.

И вот мы подъезжаем, я высаживаю разодетую Зелию из такси. Пара на загляденье, кавалер — воплощенная элегантность, а дама — просто мадонна. Входим, и я представляю:

— Зелия, моя жена.

— Ой!

Зелия улыбается. Кармен в некотором замешательстве прикрывает грудь. Она не то чтобы нагишом, но вроде того: в прозрачной блузке, не скрывающей ничего, чем одарила ее природа, в легких брючках, обрисовывающих все ее пленительно-женственные обводы и изгибы, никаких тебе комбинаций, лифчиков, поясов с подвязками и прочей отвратительной дамской сбруи.

— Простите, ради Бога, я в такой затрапезе — думала, Жоржи придет один, да я и не знала, что он женился!..

Зелия не теряет самообладания:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, вы очаровательны... А с Жоржи мы познакомились в Сан-Пауло, когда объявили амнистию...

Кармен, предложив нам выпить, исчезает из комнаты:

— Пойду позвоню Марио, скажу, что вы пришли!

Через минуту она возвращается в уже совсем ином обличье — в элегантнейшем костюме, черном и строгом. Вскоре приезжает и знаменитый режиссер Марио Пейшото.

## Нью-Дели, 1957

Пабло Неруда с видом жертвы злосчастного стечения обстоятельств появляется в моем номере, тыча пальцем в какую-то газетную статейку на английском языке:

— Немыслимо, невозможно! Эти советские — просто несерьезные люди! Ну что ты будешь с ними делать, кум?!

А на фотоснимке над статьей Хрущев в белградском аэропорту целуется с Тито.

После громового успеха «Всеобщей песни», главной книги Неруды, поставившей его в первый ряд современных поэтов, он выпустил «Виноградники и ветры»[[80]](#footnote-80) — сборник политических стихотворений, гневно бичующих американский империализм, который несет народам мира войну и нищету, воспевающих героизм советского народа и новорожденных стран народной демократии, обязанных своим появлением на свет победам Красной Армии. Есть среди этих стихотворений получше, есть похуже, но ни одно из них, хоть они и не идут ни в какое сравнение с «Песнью», нельзя счесть бездарным — в каждом есть, пусть одна, талантливая строчка, Пабло всегда и всюду остается поэтом. Ну так вот, самое, пожалуй, яркое во всем сборнике — это похвальное слово Иосипу Броз Тито, вождю народов Югославии, отцу отечества, чье величие, того и гляди, затмит величие его кремлевского тезки. Стихотворение немедленно было переведено на все языки СФРЮ.

Аргентинское издательство «Лосада» уже объявило о выходе второго издания «Виноградников и ветров», как вдруг распространилось известие о том, что два Иосифа рассорились насмерть. Неруда, осердясь на отступника и предателя Тито, заменил уже сверстанный и набранный панегирик спешно сочиненной яростной диатрибой, где к вящему восторгу советских — и нас всех — сорвал маску народного героя с цепного пса американского империализма.

Немало воды утекло с тех пор — на ХХ съезде КПСС разоблачили культ личности, поведали о преступлениях Сталина, реабилитировали Тито, Хрущев с пальмовой ветвью слетал в Белград, а чилийское издательство «Насимьенто» подготовило к печати «Виноградники...» И вот теперь Пабло показывает мне речь, которую произнес Никита, когда вылез из самолета и упал в объятия югославского маршала — дорогого товарища Тито.

— Нет, ты послушай, — горячится бедный поэт, окончательно запутавшийся в хитросплетениях политики, виноград его стихов осыпается под ветром, непредсказуемо меняющим курс. — «Дорогой товарищ Тито»?! Посоветуй, что мне теперь печатать в сборнике? Похвальное слово или брань? Я, конечно, ангажирован, но это уж слишком! Разве можно так?

Я советую Пабло вообще, раз и навсегда, выкинуть Тито из сборника, чтоб не зависеть больше от колебаний генеральной линии. А главное — не торопись сочинять оду Хрущеву: мало ли как дело обернется?!

## Прага, 1950

Проездом из Софии в Париж у нас в Праге оказывается Мария-Баиянка — назовeм ее так, потому что в нашей общей с нею отчизне она жила в квартале Кампо-Гранде на улице Корредор-да-Витория.

Она на голубом, что называется, глазy представляется крестницей Грасилиано Рамоса на том лишь основании, что, как и он, родилась в штате Алагоас, в Палмейра-дос-Индиос, объявляет себя моей родственницей — «Ты разве не знаешь, что лейтенант путался с моей сестрой?» Лейтенант — прозвище моего брата, Жамеса Амаду, в ту пору главного редактора «Моменто», баиянского органа бразильской компартии. Что ж, это и в самом деле родство, хоть и не кровное, но близкое, и я с удовольствием слушаю ее душевные излияния, касающиеся сердечных бурь и плотских утех.

Благодаря своему статусу специальной корреспондентки «Моменто» и активистки компартии, благодаря рекомендательным письмам, которыми снабдил ее Лежебока (чертовка! знает даже, как Жамеса дразнили в детстве), но главным образом благодаря смуглой гладкой коже, отличной фигуре и огненному темпераменту, Мария колесит по странам народной демократии, а там уж и не знают, куда ее усадить, чем угостить, какие дива показать. Какие ложа стелили ей в Будапеште и Бухаресте, в Восточном Берлине, в Варшаве и Вроцлаве, в Братиславе и Софии! Год назад она по секрету шепнула мне, что судьба занесла ее даже в президентскую опочивальню Иосипа Броз Тито, маршала Югославии и народного героя, — правда, нет ли, судить не берусь. Для полного комплекта не хватает лишь Москвы: Эренбург пообещал устроить ей приглашение от Союза писателей СССР, но обещания пока не сдержал. И вот сейчас она в Праге, где ее принимают руководители Союза журналистов Чехословакии, а попала она сюда из Софии, где гостила у родственника самого Димитрова — с ним, с родственником то есть, она познакомилась в Париже, в болгарском посольстве. Мария-Баиянка — свой человек при дворах социалистических государей.

В баре пражского отеля мы чокаемся сливовицей за скорейшее возвращение бразильской журналистки в родные пенаты. Мария-Баиянка ждет не дождется этой минуты, она ужасно тоскует по отчизне, и я удивляюсь — не замечалось за ней раньше такого пламенного патриотизма.

— Больше не могу слышать в постели венгерскую или словацкую речь, — объясняет она. — Хочу, чтобы меня называли тем словом, которое в ходу у нас дома, хочу слышать его, понимать, чтґо оно значит, только тогда я получаю наслаждение. А этих социалистических языков я не знаю, а потому пропадает какая-то самая главная изюминка.

Она устремляет на меня мечтательный взгляд непорочной барышни, допивает свою рюмку и идет к выходу. У подъезда отеля в длинной черной «татре», которая полагается только высокому начальству, ждет ее генеральный секретарь Союза журналистов Чехословакии.

Я выбегаю следом — но поздно: лимузин скрывается в надвигающихся сумерках. А выбежал я затем, чтобы помочь Марии-Баиянке вновь найти изюминку, без которой любовь делается пресной и не завершается победным оргазмом, я вспомнил, что по-чешски ее любимое слово звучит очень красиво и совсем на наш манер — курва[[81]](#footnote-81)! Может быть, оно пригодилось бы ей сейчас?

## Сан-Пауло, 1945

— Уверяю тебя, друг мой, это сущее чудовище, форменный бандит...

С этими словами появляется в моей квартире на авениде Сан-Жоан художник Лазарь Сегал. Он предупреждает, что пришел вовсе не ко мне, а к своей картине, которую подарил мне в 1944-м, а отдал — лишь год спустя, да и то с неимоверным трудом, не то что «скрепя сердце», а набив на него стальные обручи. Он рассказывает мне о страшной угрозе, нависшей над ним в облике некоего американского миллиардера.

Сегал, еврей из России, впервые приехал в Бразилию в 1912-м, в год своего рождения. В 1939-м вернулся и тут уж обосновался навсегда. Вторая мировая вдохновила его на создание трех грандиозных, прекрасных и страшных полотен — «Погром», «Эмигрантский корабль», «Война», причем первая картина, даром что меньше других по размеру, мне лично кажется самой выразительной и удачной.

Тут из Соединенных Штатов приехал миллиардер еврейского происхождения, король уж не помню чего — мешки с долларами катили за ним, наверно, на тележках, — и, остолбенев при виде «Погрома», решил во что бы то ни стало купить картину. Спросил, сколько стоит, услышал в ответ не продается, и тогда его, что называется, заело. Продается или не продается, но картину он увезет, сказал он и сам предложил цену — немыслимую. Сегал отказывается. Американец ежедневно, как на службу, является к нему в мастерскую, усаживается в кресло перед подрамником, на котором стоит «Погром», и предлагает все больше и больше. Расплата не сходя с места, наличными — деньги у него с собой в портфеле, доллары. И он садистски шуршит пригоршнями зеленых бумажек. Сегал сидит, как в окопе под жестоким артогнем, но держится, держится из последних сил, отвергая баснословные суммы, ибо решил оставить «Погром» у себя.

— Друг мой, — говорит он мне, и голос его дрожит, — это не человек, а сатана в образе человеческом, змий-искуситель, он каждый день повышает цену, я таких денег в жизни своей не то что в руках не держал, а вообще не видал. Боюсь, что не выдержу и сдамся.

Однако не сдался. Сегал любил деньги, но еще больше — свои картины. Он выстоял под долларовой лавиной, совладал с искушением. Драгоценное полотно осталось национальным достоянием Бразилии.

## Париж, 1991

За столиком бистро на берегу Сены Кристина Хёринг рассказывает сюрреалистическую историю — удивительную даже по нашим временам, когда невозможное стало повседневной реальностью.

— Я была уверена, что сошла с ума.

Кристина переводит с французского, испанского и португальского (у нее безупречное «коимбрское» произношение) на свой родной немецкий и теперь приехала в Париж познакомиться со своими авторами. Ей и самой еще не больно-то верится, что можно купить двухдневный тур, в Берлине сесть в автобус, а вылезти из него — у Нотр-Дам.

Чтобы понять толком историю Кристины, надо принять к сведению вот что: во-первых, до воссоединения Германии она была гражданкой ГДР, жила в Восточном Берлине со всеми вытекающими из этого обстоятельства ограничениями. Во-вторых, в Советском Союзе и в странах социалистического блока существовала такая практика — раз в год переводчиков, достойных этой высокой чести, посылали на месяц в страну, литературу которой они переводили. Им оплачивали билеты туда и обратно и выдавали некую мизерную сумму на личные расходы — так называемые карманные деньги.

Ровно пятнадцать лет Кристина была кандидаткой на поездку в одну из тех стран, где говорят по-французски, по-испански, по-португальски. Первой в списке приоритетов значилась Франция, за нею следом шли Испания и Бразилия. Пятнадцать лет Кристина ждала — и вот наконец, на шестом десятке, дождалась, удостоилась месячной стажировки на Кубе. Куба ей была вроде бы ни к чему, ибо тамошних писателей она не переводила, однако загранпоездками не бросаются, и Кристина собрала чемодан и села на самолет Берлин — Гавана.

Остров Свободы она облазила из конца в конец, пришла от него в полный восторг, завела полезные и приятные знакомства, кое с кем просто подружилась, возникли у нее, стало быть, плодотворные творческие связи, а когда минул срок стажировки, полетела домой, в Восточную Германию. Тут надо сказать, что хоть Куба и ГДР и принадлежат к одному содружеству развитого социализма, есть между ними значительные различия. Куба — это все же тропики. Родственники, встречавшие Кристину в берлинском аэропорту, первым делом с волнением осведомились, как восприняла она ошеломительное известие.

— Какое?

— Насчет стены.

— Да какой еще стены?

— Да нашей же! Берлинской стены!

А до ее отъезда полиция стреляла в тех, кто пытался перебраться в Западный Берлин. Десятки убитых, сотни арестованных.

— Ну, так что же там случилось? Я ничего не знаю. — Она понизила голос. — Скольких застрелили за этот месяц?

Тут и выяснилось, что за месяц, проведенный ею на Кубе, стена, рассекавшая Берлин надвое, отделявшая одну Германию от другой, рухнула, перестала существовать. Кристина же и понятия ни о чем не имела. Если в кубинских газетках и появилось что-то по этому поводу, то она пропустила заметку, а те, с кем она общалась, ни словом об этом не обмолвились — падение стены было на Кубе табу. Подробности ей стали рассказывать там же, в аэропорту, но только она отказывалась верить. Даже когда ее усадили в машину, повезли туда, где на месте стены лежала груда развалин, перевели через границу, на ту сторону, Кристина все равно не верила.

— Я смотрела, бродила вдоль руин и все равно поверить не могла. Мне казалось, что я уже умерла, что я на том свете и попала в рай. Потом подумала, что сошла с ума, и с большим трудом убедила себя в том, что не спятила, что у меня нет галлюцинаций, что я и в самом деле расшвыриваю носком башмака камни Берлинской стены.

Она полной грудью вдыхает парижский воздух — воздух свободы.

— И все же порой мне по-прежнему кажется, что я грежу и брежу, а вот очнусь — и увижу перед собой стену и услышу пулеметные очереди. Я не хочу становиться нормальной, пусть лучше это сладкое помрачение рассудка длится вечно.

## Гамбург, 1968

С хмурого германского неба падает снег. Промозгло. Холодно. Однако ярчайшая пышногрудая — во вкусе янки — блондинка, намалеванная на афише у входа в кинотеатр, вовсе не зябнет и не унывает: рот до ушей, заливается хохотом, прижимая к упругому, торчком стоящему соску пластинку с портретом Жоржа Мустаки на обложке. Девица близка к оргазму — вот какое действие производит даже виртуальный образ этого человека, вот какую страсть вселяет он. «Страсть» — одно из двух любимых его слов. А второе — «свобода».

Когда я бываю в Париже, а это происходит регулярно, мы с Жоржем почти не расстаемся, вместе ходим по любимым им и нами ресторанчикам, отдавая предпочтение марокканскому, китайскому, итальянскому, греческому, который содержит некий Юра и где подают после обеда удивительное vin de paille[[82]](#footnote-82) — по французским бистро: это он открыл для нас волшебное заведение «О пон Мари». Его друзья стали нашими, наши всей душой прикипели к нему, и число общих друзей растет год от году. Мы поднимаемся — Зелия вспархивает как газель, я карабкаюсь, одолевая одышку, — на шестой этаж в его двухуровневую квартиру на улице Сен-Луи-ан-л’Илль, где этот греческий пастырь пестует свою юную и многочисленную паству — ударение на «юная». Самой старшей из этих его овечек и козочек только что исполнилось восемнадцать.

Александрийский грек, Вечный Жид, бедуин-кочевник, ставший благодаря Эдит Пиаф оседлым парижанином, соленый морячина, избороздивший Средиземноморье, Жорж Мустаки ошвартовался однажды в порту Сальвадора, главной столицы африканского побережья и Карибского архипелага, сошел на берег, окутанный тайной, исполненный мудрости, посетил Баию — сестру-двойняшку Александрии. Он приплыл к нам в 60-е годы, по приглашению поэта Винисиуса де Мораиса, который попросил актрис Александру Стюарт и Сузану Виейра встретить гостя в аэропорту.

...Они искали такси, когда сидевший за рулем «Мерседеса» незнакомец предложил их подвезти. Артистки рассказали, кого они едут встречать, и любезный водитель, оказавшийся еще и поклонником Александры, почитателем Сузаны, отдал себя в полное их распоряжение — ему, дескать, все равно нечего делать, он просто так катался по Ипуане, а потому отвезет в аэропорт, подождет и доставит, куда будет сказано, вместе с композитором, коего он, кстати, тоже очень любит. И в доказательство засвистал последний шлягер Мустаки «Метек»[[83]](#footnote-83). Девушки доверчиво погрузились в машину, а водитель спросил Сузану, не узнает ли она его. «Нет, — отвечала та, — а кто вы?»

Незнакомец, чье самолюбие явно было задето, представился: «Мариэл Марискот». Александре это имя ничего не говорило, Сузане же говорило, и очень много, но она не поверила, решила, что он ее разыгрывает, хотя теперь припомнила, что видела его фотографию в газетах. Дабы развеять последние сомнения, водитель откинул коврик под правым сидением и предъявил своим пассажиркам автомат, лежавший так, чтобы до него легко и быстро можно было дотянуться. Тут она все поняла и по-французски объяснила подруге, тоже слегка удивленной видом оружия, что господин, столь любезно вызвавшийся подвезти их, «самый знаменитый бразильский бандит, главарь шайки, осужденный на тридцать лет тюрьмы и бежавший из заключения». Беспечная французская кинозвезда только расхохоталась: «Ну и страна эта ваша Бразилия, другой такой нет, хоть весь атлас перерой!»

Мариэл Марискот — воплощенная любезность — доставил Мустаки до самого дома Винисиуса, но уклонился от приглашения посетить шоу с участием композитора, имевшее быть через два дня в театре «Кастро Алвес». Он очень благодарен, но просит извинить: не может злоупотреблять снисходительностью полиции. Вот каким манером прибыл Жорж Мустаки в нашу сюрреалистическую отчизну — как же было не полюбить ее, как не признать своей?! Именно так и случилось: он стал бразильским композитором, и когда Жак Шансель снимал здесь, в Баии, свою программу «Le Grand Echiquier»[[84]](#footnote-84), он выступал рядом с Каймми, Каэтано, Жилем. Здесь черпал он вдохновение, здесь сочинил две песни, облетевшие мир. Сколько раз приезжал он сюда, сколько раз приедет?!

Он появляется всюду, где надо защитить и поддержать свободу, он поет для палестницев, для курдов, для ливанцев, для Нельсона Манделы — для всех, кто этого заслуживает и в этом нуждается. Страсть и свобода — вот краеугольные камни его философии, вот вечный источник его творчества. Я мог бы рассказать о нем десятки историй (иные я наблюдал собственными глазами), но ограничусь лишь одной: довольно будет, чтобы вы поняли, кто таков мой друг Жорж Мустаки.

Случилась у него как-то раз скоропалительная любовь с одной арабской девушкой. Она провела у него пять дней, сказала «Пока!» и удалилась, не оставив адреса. Однако через несколько дней Жорж узнал о ней из газет: девушку арестовали в аэропорту Тель-Авива, ибо обширный ее багаж состоял, главным образом, из взрывчатки, которая, будучи приведена в действие, разнесла бы в клочья пол-Израиля. На допросе террористка заявила, что она — жена всемирно известного композитора Жоржа Мустаки.

Прочитав об этом, он удивился, но не смутился. Да, они прожили с ней неполную неделю, не обвенчались ни в церкви, ни в синагоге, ни в мечети, и в книге не записались, и кольцами не обменялись — была только взаимная страсть, взаимное обладание, но наш композитор (всемирно известный) не считал, что этого мало. Он не стал разоблачать самозванку, назвавшую его мужем, а принялся помогать ей.

Ее приговорили к длительной отсидке, и несколько раз появлялся в тюрьме Жорж, устраивал концерты для нее и для других арестанток и даже подружился с директрисой этого исправительного заведения. Он нанял адвокатов, он хлопотал, чтобы ей скостили срок, и добился своего. Через три года ее выпустили. Он снял ей квартирку неподалеку от собственной. Она пожила там некоторое время и отправилась навстречу своей судьбе.

## Баия, 1965

В те времена излюбленным моим развлечением было дарить на память о Баии кустарные глиняные кувшины для воды — самые огромные и самые уродливые из всех, какие только можно было отыскать на рынке. Я держал дома не менее десятка этих чудищ, чтобы в час проводов не оказаться с пустыми руками.

Тогда, в 60-е годы был у нас в городе единственный приличный отель, располагавшийся на Кампо-Гранде, — там и только там останавливались знатные чужестранцы. И когда подходил к концу срок пребывания в нашем волшебном городе, и гость собирался уже ехать в аэропорт, ему приносили исполинских размеров глиняное корявое страшилище, художественной ценности не представлявшее, но завернутое в нарядную бумагу, перехваченное ленточкой с подсунутой под нее визитной карточкой — я пошел и на этот расход, где было написано: «Примите, любезный друг, на добрую память о путешествии и пребывании в Баии эту амфору — творение народных умельцев». Вручался дар в самую последнюю минуту, и любезному другу ничего не оставалось, как кротко и смиренно присовокупить его к прочему багажу. Иным изменяла выдержка: я своими ушами — ибо почитал своей непременной обязанностью присутствовать при этой сцене — слышал, например, как Афранио Коутиньо, заскрипев зубами, пробормотал: «Могло бы быть поменьше и полегче...» Но дальше сдавленных проклятий дело не шло. Забыл вам сказать: на визитных карточках стояли имена наших баиянских грандов — губернатора штата, префекта, редактора крупнейшей газеты, директора музея, банкира... У кого же хватит духу оставить в холле такой трогательный знак внимания со стороны столь видных лиц, тем паче, что уж они-то дрянь какую-нибудь не подсунут...

## Рио-де-Жанейро, 1970

По случаю приезда португальского издателя Франсишко Лиона де Кастро главный редактор газеты «Маншете» Адолфо Блох устраивает обед в его честь, созывает весь цвет нашей литературы и журналистики. Затеваются совместные проекты, запускаются новые серии.

За столом, после того, как отдана дань приличествующим случаю темам, живо интересующим гостя, — дела издательские, взаимоотношения с цензурой, которая не дает дыхнуть ни издателям, ни писателям, беседа плавно перетекает к вопросу, греющему душу хозяев, близкому им с юности, знакомому и теоретически, и — в большей или меньшей степени — практически. Речь заходит о таком животрепещущем предмете, как публичные дома — не какие-нибудь грошовые грязные притоны, нет, фешенебельные и уютные, закрытые для посторонних, гарантирующие, что никто без надежных рекомендаций туда не войдет и никто не потревожит клиента, баснословно дорогие, высшего разбора заведения, бордели для миллионеров и знаменитостей. Участники обсуждения наперебой демонстрируют искушенность и всеобъемлющую осведомленность: как поставлено дело в разных странах, какими фирменными блюдами угостят тут, что предложат там. Приводятся подробности и примеры, вспоминаются особо врезавшиеся в память эпизоды, называются имена и клички, адреса и пароли.

Раймундо Магальяэнс Жуниор, проживший много лет в Соединенных Штатах, широкими размашистыми мазками набрасывает панораму распутства североамериканского, и если собрать все его познания воедино, выйдет объемистый том. Наш хозяин Адолфо — человек всеядный, истый гражданин мира, globetrotter[[85]](#footnote-85), исколесивший Европу и Азию. Фернандо Сабино уснащает свой рассказ подробностями столь живописными, что невольно закрадывается сомнение в правдивости его слов. Карлос Эйтор Кони проявил обширные познания относительно нашего, исконного, не заемного, бразильского товара.

Шико Лион слушал терпеливо, но мне показалось, что он чувствует себя неловко и не разделяет общего оживления, ибо потоки фривольностей уже начали переливаться через края, беседа же стала приобретать попросту скабрезный характер. В какой-то момент один из знатоков — кто именно: издатель? литератор? напрягусь, так вспомню, но стоит ли? — уставив вилку в грудь лузитанского гостя и продолжая жевать нежнейшее филе, произнес сурово и печально:

— А в вашей стране, друг мой, сложилась практика поистине нетерпимая... Это какой-то ужас...

— Что вы имеете в виду? — оживился Шико, явно обрадовавшись тому, что беседа приняла иной оборот и перешла на политику. — Преследование инакомыслящих, произвол, тюрьмы, цензуру?

— Нет-нет, есть кое-что похуже. Невыносимо, невыносимо, друг мой... Представьте, я вхожу в заведение, выбираю девицу, поднимаюсь с нею в комнату, и тут она спрашивает: «Какие будут пожелания у вашего превосходительства?» И все! Это действует на меня оглушительно и мгновенно. Как только я слышу «ваше превосходительство», мне уже ничего от нее не надо, ничего не хочется, я становлюсь импотентом! И так — всякий раз!

Подождав, пока смолкнет дружный хохот, я спрашиваю португальца:

— Скажите, Шико, когда вы устраиваете обед с писателями и коллегами в своем издательстве «Эуропа — Америка», у вас за столом такие темы обсуждаются?

Там, за морем, на Пиренеях, люди ведут себя чопорно и сдержанно, их с детства приучают к притворству и скрытности, но португальский издатель, застигнутый врасплох, окончательно сбитый с толку, вздрагивает всем телом и отвечает как на духу:

— Никогда! Ни в издательстве, ни дома! У нас такие вещи обсуждать не принято.

— Ваше превосходительство... — бурчит один из бразильцев. — Такое обращение действует лучше брома.

## Прага, 1950 — Вена, 1952

Мой парижский приятель, гаитянский поэт Рене Депестр, нынешняя знаменитость, тогда был еще совсем юным. Тот год принес ему череду неприятностей: с Гаити он, коммунист и активист, бежал, из Франции его выслали, и только что женившийся Рене надеялся обрести приют в братской Чехословакии, где власть в руках коммунистов. Он-то думал найти там тихую пристань — посвятить себя поэзии и борьбе за освобождение своей далекой и нищей отчизны.

Не тут-то было! Он в полном смысле слова угодил из огня да в полымя: Прага в ужасе и оцепенении, идет процесс Рудольфа Сланского и других видных коммунистов, страх и доносы, переполненные тюрьмы. Депестр больше всего боится за жену, очаровательную румынскую еврейку Эдит — над ее головой сгущаются тучи, ей грозит обвинение в шпионаже. Вздор и чушь, казалось бы, но страна больна манией преследования, и тучи все гуще. Круг людей, связанных с Рене, редеет, всяческие союзы и комитеты, обещавшие оказать ему гостеприимство, от обещаний своих отказываются. Ему уже некуда деться, и тут некий доброжелатель подсказывает выход, дает совет вполне в духе времени. Надо развестись с Эдит и «отмежеваться» — тогда все будет хорошо, его-то ведь никто ни в чем не подозревает. Рене отклоняет заманчивое предложение и делает это так грубо, кратко и резко, что оказывается со своим изгнанническим барахлишком и красавицей Эдит, внесенной в проскрипционные списки, на улице. Верней сказать, в глухом тупике. Им в буквальном смысле негде было голову приклонить.

Тут мы с ними и повстречались. И я пригласил его приехать в местечко Добрис, под Прагой, где стоял так называемый «Замок писателей» и где жили тогда мы с Зелией. Рене с радостью соглашается, но что скажут руководители Союза писателей? Обещаю потолковать с Яном Дрдой, генеральным секретарем этого учреждения, членом ЦК, героем Сопротивления, автором книги «Немая баррикада» и моим другом. Дрда погружается в размышления: он человек безупречной порядочности, но жуткий политический климат страны воздействует и на него, он и в своем-то завтрашнем дне не слишком уверен... Пригласить Рене Депестра с его Эдит стать гостем Союза — это, пожалуй, чересчур... И тут меня осеняет: я найму Рене себе в секретари, и вся ответственность — на мне! И это позволит чете Депестров жить в Добрисе!

Вот как вышло, что виднейший франкоязычный поэт и прозаик, лауреат премии Ренодо, одной из самых престижных, стал, ненадолго, правда, моим секретарем. Все это было синекурой или, если угодно, липой: обязанностей у Рене не было, как, впрочем, и жалованья. Зато он мог творить в свое удовольствие, покуда жены чехословацких писателей ревниво и злобно косились на скульптурные формы полуобнаженной Эдит, загоравшей в парке. В самом деле, подозрительная личность — больно уж хороша.

Минуло два года, и мы встретились с ними вновь — теперь уже в Вене, где они блуждали, как в дремучем лесу, на Конгрессе сторонников мира. Рене в очередной раз попросили покинуть пределы Франции, и снова, как он поэтически выражался, некуда было ему «поставить свой маленький светильник гаитянский». И снова я расстарался и отыскал ему прибежище.

На Венском конгрессе было решено созвать Всеамериканский съезд деятелей культуры и провести его в Чили, в Сантьяго. Во-первых, это отчизна Пабло Неруды, во-вторых, демократическая страна с сильной и легально действующей компартией. Ответственным за организацию и ходатаем перед вышестоящим руководством назначили меня. Я же первым делом ввел Рене в состав секретариата, где ему надлежало представлять страны Центральной Америки и Антильские острова. Даром, что ли, он родился на Гаити? Таким образом они с Эдит могли за счет Движения сторонников мира отплыть из Марселя в Вальпараисо. Мы — Неруда, Володя Тейтельбойм, Диего Ривера и еще несколько человек — работали дружно, веселились до упаду.

Из Чили Депестр переселился в Бразилию, жил некоторое время то в Рио, то в Сан-Пауло. Потом снова стал кочевать по белу свету, перемежая надежду с разочарованием. Пожил немного на Гаити — там как раз в это время основал свою династию Папа Док Дювалье, товарищ по парижскому изгнанию и партнер по картам. Подольше — на Кубе, родине всех изгнанников, но и там первоначальное очарование вскоре рассеялось. Потом — журналистика и Москва, череда жен, пока Рене наконец не обрел желанный покой в объятиях Нелли.

Я старался не терять его из виду, следил за его перемещениями в пространстве, за появлявшимися в печати стихами и новеллами, иногда встречал то тут, то там. Но вот он осел во Франции, разбил свой бедуинский шатер в провинции — и не утерял ни душевной щедрости, ни веселого нрава. «Маленький гаитянский светильник» ярок по-прежнему.

А в начале 1953-го мы с ним в условиях строжайшей конспирации — с завязанными глазами вывозили куда-то за город, можете себе представить?! — прошли курс обучения теории и практике революционной борьбы в так называемой «Школе Сталина». Целый месяц продолжались эти лекции и семинары, на которые обязаны мы были ходить в порядке партийной дисциплины. Но к тому времени и Депестра, и меня уже сильно и всерьез одолевали сомнения. А кое-что из того, что вещали нам преподаватели, вызывало оторопь и отвращение.

Как сейчас помню, занятие посвящено было китайской революции, и лектор поведал о директиве китайского ЦК: говорилось там, что дети, во исполнение революционного долга и для искоренения буржуазных предрассудков должны сообщать куда следует о настроениях и высказываниях своих родителей. Ничего нового председатель Мао тут не придумал, в СССР давным-давно уже поставили памятник мальчику, именно так и поступившему. Он следил за родителями, донес на них, засадил в тюрьму и стал героем...

Рене, сидя рядом со мною в первом ряду, толкает меня локтем в бок. Не усваиваются у нас эти уроки, не обогащают нас эти моральные ценности, мы стали плохими коммунистами — непоследовательными, половинчатыми, не умеющими отрешиться от гнилой буржуазной морали, предписывающей любить папу с мамой...

— Доносить на родителей!.. Да я бы скорей умер! — говорит Рене в перерыве и добавляет по-французски: — Quelle connerie![[86]](#footnote-86)

Сплюнув, он растирает плевок подошвой.

— Да уж... — бормочу я.

В смятении глядим мы друг на друга — зыбкие, хлипкие людишки, не то перерожденцы, не то двурушники. Гнать таких надо из партшколы.

## Варшава, 1953

Польская столица занесена снегом, насквозь продута ледяным арктическим ветром. Войдя в вестибюль полуразрушенного отеля «Бристоль», я встречаю скорчившегося у калорифера Жозе Гильерме Мендеса, и здесь, на чужбине, давний знакомец переходит в статус близкого друга. Он — журналист, пишет о строительстве социализма в Польше и в равной степени очарован и социализмом и Польшей, предрекает полный успех всем начинаниям правительства.

За ужином, заходясь и захлебываясь от восторга, он повествует о незабываемых впечатлениях, полученных в сельхозкооперативе «Красная Заря». Картофельное поле — под снегом, но зато ему удалось посетить птицефабрику, где разводят кур и уток для московских гастрономов. Он ел и пил за одним столом с героями труда в доме председателя кооператива, произносились речи и провозглашались тосты за процветание и укрепление крестьянского интернационализма. Польские товарищи на пальцах показывали ему все преимущества социалистического способа производства, земледелия и птицеводства, приводили радужную статистику, ели с аппетитом, пили умело и вволю. Зе Гильерме, отличный оратор, поведал им об ужасах бразильских латифундий, о бесправных рабах и полновластных хозяевах, о засухе и голоде, о коррупции — и сам чуть не прослезился, и слушателей опечалил. Он блистал красноречием, цитировал Престеса. И пил при этом польскую водку. Под вечер решили поразмяться, устроили в честь бразильского гостя танцы в клубе, созвали белокурых темпераментных работниц, Зе и здесь лицом в грязь не ударил... Он заливается, а мы с Войцехом Грудой, который переводит мои книги на польский, внимаем.

Сейчас самое время рассказать об этом человеке. Я, кстати, не знаю, как сложилась его судьба впоследствии, когда началась в Польше смута. Он еще мальчиком вместе с родителями эмигрировал в Бразилию, начал торговать в захолустье штата Парана, процвел. Тут война, оккупация Польши, очередной — который по счету? — раздел страны между Сталиным и Гитлером. Юный Войцех был патриотом, ликвидировал свое дело, на каком-то сухогрузе, уворачиваясь от германских субмарин, доплыл до Лондона и там записался в польскую армию, которую формировал в Англии, генерал... Как его звали, не помню. А вся армия была — несколько сот человек.

В первый же день новобранца Груду — его, как и всех остальных готовили к заброске на территорию Польши — стали учить прыгать с парашютом. Пока с вышки. Прыгнуть-то он прыгнул, но парашют не раскрылся, и будущий десантник брякнулся оземь с приличной высоты, переломал себе кости, а из госпиталя вышел хромым и негодным к строевой. Его демобилизовали. Тут и война кончилась, и англичане поспешили выпихнуть поляков, солдат и штатских, домой, на родину, освобожденную от немцев (но не от русских) и провозглашенную последними народной республикой, строящей социализм.

До тех пор Груда был просто патриотом, а оказавшись в Варшаве, быстро сделался активным и рьяным коммунистом, и хромота, полученная, можно сказать, в битве с фашизмом, помогла ему получить в Совете профсоюзов скромную должность с еще более скромной зарплатой. Сводить концы с концами помогали ему гонорары за переводы моих книг. Меня в ту пору широко издавали в Польше: «Вы были единственным коммунистическим писателем, которого читала молодежь», — сказал мне много лет спустя Роман Поланский, посетивший Баию. Так что не успел я появиться в Варшаве, как Войцех, отпросившись у начальства, которому сообщил о моем приезде и о том, что без него я пропаду, получил отпуск с сохранением содержания и, как писали в прошлом веке в романах, сделался со мною неразлучен. Лауреат Сталинской премии требовал его постоянного присутствия рядом, а потому Войцех не расставался с ним, завтракал, обедал и ужинал. И этот бразильский пройдоха, заброшенный судьбой в польскую стужу строить социализм, в самом деле мне пригодился — он мне не давал скучать, развлекал и смешил. Ну, а меня ему просто Бог послал.

На следующий день Зе Гильерме, утеплившись как мог — шапка, шуба, шарф, рукавицы, — отправился осматривать новостройки, вернуться должен был лишь вечером, и мы условились, что в таком-то часу поужинаем вместе. Я же решил сыграть с ним шутку — никто из моих друзей не спасся от розыгрышей, — посвятил в свой замысел Войцеха, тот пришел в восторг. Мы отправились на рынок, купили четырех живых кур и петуха — надо признаться, что в те далекие годы польские издатели неукоснительно выплачивали мне деньги за право перевода и издания, так что злотые у меня были в немалом количестве, — привезли несчастных в отель. Я заговорил зубы портье, получил ключ от номера Зе, открыл дверь и запустил птичек внутрь. Последнее, что я видел, — петух взлетел на кровать.

Войцех притащил бумагу с грифом Совета профсоюзов, так как у него дома были залежи фирменных бланков и конвертов, которые он использовал для личных надобностей, и в ожидании Зе я продиктовал ему, а он перевел на польский письмо, подписанное председателем мифического профсоюза польских куроводов. Те, прослышав о том, в каких жутких условиях живут бразильские крестьяне, решили послать им петуха-производителя и четырех лучших несушек в качестве безвозмездного дара и в доказательство неоспоримого превосходства социалистических методов хозяйствования. Предназначаются они беднейшим крестьянам, коих, быть может, сумеют вырвать из нищеты, ибо улучшат породу бразильских кур. Подпись дарителя была неразборчива, но письмо производило сильное впечатление.

Зе Гильерме все не было, а кушать между тем хотелось сильней и сильней, и мы отправились в ресторан. Ужин наш подходил к концу, когда появился журналист.

— Ну что, как фабрики?

— Я потрясен, — сказал он, раскрывая меню. — Прежде чем рассказать вам о фабриках, хочу с вами поделиться. У меня тут возникла проблема, — он вытащил из кармана письмо и протянул его Войцеху. — Переведи, а?

Тот перевел и, видимо тронутый, сказал:

— Вот она, революционная-то солидарность. Как поляк и коммунист я испытываю гордость.

— С этими словами он поднялся и пожал Зе руку. Я чуть не расхохотался. Войцех сложил письмо, сунул его в конверт и вернул адресату:

— Надо ответить.

Журналист, казалось, был чем-то смущен:

— Да, конечно, это великолепный пример интернационализма... Подарок щедрый, но, видишь ли... несколько обременительный, — с заминкой сказал он.

— Это куры, что ли? — спросил я.

— Ну да! Ты бы видел, на что похож мой номер!.. Закакали его весь, к кровати не подойти...

Невероятным усилием воли я сдержал смех. Зе Гильерме просил посоветовать, как ему избавиться от кур. Я принял вид суровый и несколько сумрачный. Ни в коем случае нельзя вернуть подарок — это оскорбление для сельских тружеников и для всей народной Польши. Будем искать иное решение.

И Зе для начала сочинил письмо председателю профсоюза польских куроводов, где от имени бразильского крестьянства благодарил его за великодушие и щедрость. Войцех забрал письмо домой, чтобы перевести.

Потом мы стали размышлять, что же нам делать с курами (и с петухом). Было выпито много водки. Груда, увидев, что друг оказался в безвыходной ситуации, вызвался забрать их на ночь к себе, в свою маленькую квартирку, и лично переловил кур, проявив при этом неожиданную умелость и сноровку, связал им ноги и увез на такси, очень довольный собой. Зе дал ему денег на проезд и на чаевые таксисту, который сперва отказывался везти кудахчущий груз. Прощаясь, Груда пообещал завтра же утром отправить письмо. Я же помог Зе снять с кровати вонючие, сплошь покрытые пометом простыни, предложил одолжить ему собственное постельное белье, но он отказался, свернулся на голом — по счастью, оставшемся чистым — матраце и уснул.

Наутро я поведал ему всю правду, поскольку от перспективы путешествия с курами из Восточной Европы в Южную Америку у него ум заходил за разум. На радостях он даже не рассердился на меня, простил мою жестокую шутку, а Войцеху дал еще денег, чтобы тот купил пряности, коренья и приправы для... ну, понятно, для чего. Груда потом жаловался: «Петух был такой старый и жилистый — пять часов варю, а он все как подошва».

## Баия, 1985

Обед у Калазансов. Парадный обед в честь двух новых почетных граждан Баии, посетивших город, — американки-дипломатки Френсис Суитт и бельгийца Мишеля Шоуянса, священника и профессора университета. Множество гостей, роскошное угощение, где первым номером идет великолепный сарапател[[87]](#footnote-87)... Пожалуй, только покойная матушка книгоиздателя Дмевала Шавеса, царствие ей небесное, готовила нечто подобное, но рецепт унесла с собой в могилу. Коньяки, виски, вина всех сортов — от эльзасского «Либфраумильх» до нашего «Капелиньо» из штата Рио-Гранде-до-Сул. Это — для веселья, а для утоления моей жажды — кокосовый сок, знак внимания со стороны друзей.

Френсис поместили на втором этаже, а бельгийского кюре, рьяно изучающего все без изъятия народные баиянские празднества, — на первом, у него комната с отдельным входом. Я разглядываю почетных гостей, смеющихся и ведущих оживленную беседу, и спрашиваю, так просто, в шутку:

— Кто к кому шастает по ночам: он к ней поднимается или же она до него снисходит?

Хозяйка, Аута-Роза, обижается:

— Мишель — настоящий священник, он дал обет целомудрия и свято соблюдает его. Это столп веры, кладезь премудрости, образец нравственности. Насчет американки не поручусь, но за нашего кюре руку дам на отсечение, да не одну, а обе.

Подобная убежденность пробивает брешь в стене моего цинизма, заявляю, что сам был свидетем безупречного поведения бельгийца: он любит жизнь, как немногие миряне, он уважает свой сан, как мало кто из лиц духовного звания. После чего, уже не отвлекаясь, приступаю к сарапателу, но занесенная уж было вилка застывает в воздухе, ибо Аута-Роза вдруг во всеуслышание делает следующее заявление:

— Порог этого дома вовеки не переступит рогоносец, будь он хоть миллиардер или всесветная знаменитость! Не допущу!

Ладно, в безгрешность кюре я поверил и даже присоединился к хозяйке, но последнее ее утверждение не смогу проглотить даже с помощью сока незрелого кокоса:

— Не смею возражать, но позволю себе заметить, что мне случалось видеть, как этот самый порог переступают... Нет-нет, я так просто, к слову...

Я ж не сумасшедший и не о двух головах, чтобы спорить с Аутой-Розой. А она, проследив направление моего взгляда, сообщает шепотом:

— Тот, о ком ты говоришь, — не в счет, он — рогоносец наследственный, тут уж ничего не поделаешь, не он виноват, вся порода такая.

И, поскольку училась когда-то в городке Ильеусе в колледже при обители сестер-урсулинок, с ходу начинает отрясать листву и плоды с генеалогического древа ничего не подозревающего гостя:

— ...еще прадед его, основатель рода, с большим достоинством носил рога, знаменит этим на всю страну был и дед его, а об отце и говорить-то нечего, он ему и не отец вовсе, жена чуть ли не в открытую жила с соседом, от него и родила...

История захватывающая, но — грешный человек! — я с бґольшим вниманием слежу не за перипетиями сюжета, а за действиями жены героя — последнего барона де Что-то Там: воспользовавшись тем, что американка, позабыв на этот вечер о диете, удалилась попробовать очередное диво баиянской кулинарии, она занимает ее место рядом с кюре. Тот, увлеченно толкуя о синкретизме с достойными собеседниками, поначалу не обращает внимания на Марию-Патоку — как же еще нам обозначить сахарозаводчицу?! — и на ее высоко оголеные бедра. Но как же их не заметить? И вот один просвещенный собеседник устремляет на них взгляд, сладко жмурится второй, и только Мишелю, по-прежнему захваченному разговором, ни до чего нет дела. Мария-Патока со смехом начинает кружить у стула святого отца, желая отвлечь его и привлечь. Дотрагивается до плеча, прикасается к колену, я опасаюсь, что в следующее мгновенье примется расстегивать ему ширинку, благо Мишель не в сутане, а в мирском платье, снабженном этим приспособлением... но, на его счастье, дипломатка Френсис возвращается с полной тарелкой баиянской снеди. Кюре с новым жаром заводит речь о метисации и культурном феномене негритюда. Атака Марии-Патоки захлебывается.

...Когда она проходит мимо меня, я останавливаю ее — мы с ней друзья, она охотно поверяет мне свои тайны — и спрашиваю, чем вызван такой интерес, мне ли не знать, что больше всего на свете ей нравятся мальчики, только-только перешагнувшие порог отрочества. А кюре — крепкий пятидесятилетний дядя... Так в чем же дело? Откуда такой напор? Мария-Патока, потупившись, отвечает:

— Никогда не пробовала с падре... Хотелось узнать, как это на вкус...

А ничего не подозревающий Мишель, сияя от радости — он так любит Баию и баиянцев! — со своего места обводит зал взглядом, улыбается тому и этому, дружески кивает мне и, в невинности своей не подозревая подвоха, приветливо улыбается баронессе.

— Влип! — торжествующе объявляет мне Мария-Патока.

## Москва, 1953

Спускаюсь по трапу самолета, на котором прилетели вместе с Зелией из Вены. Пять часов вечера, но уже совсем темно. Лютая московская зима. Январь 1953-го. С тех пор как я вернулся в Бразилию из изгнания, это мой первый приезд в Советский Союз. Нас встречают несколько друзей — и среди них радостная Вера Кутейщикова, она в этот раз поработает с нами переводчицей.

Мы переписывались и подружились, так сказать, заочно, еще до того, как в 1948-м познакомились по-настоящему. Вера, сотрудница Института мировой литературы, специалистка по Испании, Португалии, Латинской Америке, написала брошюру о моем творчестве — там была целая серия таких брошюр, издаваемых «Правдой». Для нас с Зелией она и ее муж Лев Осповат, тоже известный испанист, издавший впоследствии книги о Лорке, Неруде и Диего Ривере, стали родными, и понимали мы друг друга без слов.

...Спустя несколько дней, когда мы утром в гостинице пили кофе, я протянул Вере свежий номер «Правды», попросил перевести статью на полстраницы — наверно, что-то важное. Вера еще дома успела прочесть газету, она знала, о чем там говорится, однако же стала переводить. Речь шла о том, что раскрыт подлый заговор американских империалистов, ставивший своей целью убийство Сталина, а орудием его выступали негодяи-врачи — самые крупные и известные в Советском Союзе, те, на кого была возложена высокая ответственность за здоровье кремлевских владык. «Все они — евреи», — сообщает «Правда».

Разинув рот, не зная, что думать, о чем говорить, смотрю я на Веру. Она замерла на стуле, стиснула ладони, кусает губы, чтобы подавить беззвучное пока рыдание... Говорю же, нам не надо слов, чтобы понять друг друга.

## Лиссабон, 1981

Узнав, что мы отправляемся в Португалию, один наш приятель попросил подыскать ему с женой номер в семейном пансионе, благо португальская столица славится такими заведениями — пониже отеля, повыше меблированных комнат. Нашему другу предстояло работать в архивах и библиотеках, а ресторанная кормежка ему была не по карману.

Часа в четыре, направляясь по авенида да Либердаде к площади Маркиза Помбала, мы вдруг заметили особнячок — невысокое, в несколько ступеней, крыльцо, перила лестницы обшиты красным бархатом. Не иначе как это он и есть — семейный пансион. Решили войти, поднялись по ступенькам, отворили дверь. Нас встретила очень любезная сеньора средних лет, и мы сообщили, что желаем осмотреть комнаты и прицениться. Удивление, с коим она воззрилась на нас, ничуть не умерило ее учтивости. Она повела нас наверх, открыла дверь в комнату, повернула выключатель. В приглушенном свете мы увидели роскошное четырехспальное ложе, атласные шторы, ковры, умывальник в глубине, словом, ничего лучше и требовать нельзя. Оставалось лишь узнать, во что обойдется проживание с полным пансионом.

— Скажите, сеньора, сколько это будет стоить в месяц для супружеской четы, включая обед, завтрак и ужин?

— В месяц? — она удивилась еще сильней. — Вообще-то у нас оплата почасовая — «на время», но можно и «на ночь». Что же касается еды... Мы не подаем еды, но... — она лукаво улыбнулась двум престарелым бесстыдникам, которые и на склоне дней все никак не угомонятся, — но можем предложить широкий выбор напитков: шампанское всех сортов, старый портвейн, виски...

Тут только мы уразумели, куда нас занесло. Зелия многозначительно щиплет меня. Больше вопросов мы не задаем. К чему? Искушение велико: не будь в отеле «Тиволи» так комфортабельно и уютно, вполне можно было снять тут номер на несколько часов, заказать шампанского — когда-то мы часто так делали...

На другой стороне проспекта в пансионе «Санчо» нам удается забронировать номер для баиянской четы.

## Лиссабон, 1980

Мы с Зелией прилетели в Португалию на презентацию ее книги «Анархисты, слава Богу». Меня атакуют журналисты, но я показываю на жену:

— На этот раз я всего лишь сопровождаю мадам. Я тут в качестве супруга писательницы Зелии Гаттаи и с надеждой, что в скором времени она возьмет меня на содержание.

О, целомудрие португальской прессы! Ни один из репортеров не поведал своим читателям о моем заветном желании предаться неге и праздности, сделаться этаким литературным жиголо. Видно, всерьез меня не приняли.

## Баия, 1966

Я показываю Морин Биссилиа заповедные уголки нашей Баии, которые кажутся мне достойными ее просвещенного внимания и чести быть запечатленными ее волшебной камерой. Морин собирается сделать целый альбом о нашем славном городке — о его достопримечательностях и о людях, его населяющих. Она уже сняла знаменитый рынок «Модело», Рампа-до-Меркадо, парусники в бухте и торговцев фруктами и рыбой. Запечатлела колоритных жриц на макумбе, «дочерей святого», карнавальную группу «Дети Ганди», потаскушек, толпящихся на улице Масиэл.

Потом я рассказываю, что в баиянском предместье Перипери, где любят селиться удалившиеся от дел предприниматели и вышедшие в отставку чиновники, есть целая аллея вековых финиковых пальм. Чтобы увидеть ее и заснять, стоит пересечь весь город.

Мы приезжаем в это буколическое место — и глохнем от грохота отбойных молотков, рева бульдозеров, воя еще каких-то адских машин. Оказывается, здесь прокладывают новую магистраль, и пройдет она прямехонько через аллею, как будто специально так придумали. Из многих десятков деревьев, помнивших еще времена рабства, осталось всего четыре, нет, три: корни четвертой пальмы уже обнажены, еще минута, и какая-то стальная, окутанная смрадным дымом землеройка выкорчует ее окончательно.

Летим обратно. Вне себя от бешенства я тороплю верного Аурелио. Дома хватаю телефон и звоню нашему префекту Антонио Карлосу, взываю к небесам и к его совести. Он признает мою правоту, но сообщает, что ничего нельзя поделать: шоссе — в ведении властей штата, обращаться надо к губернатору. Луис Виана Фильо оказывается не в курсе дела, он встревожен моим звонком и обещает вмешаться. Лично отправляется в Перипери, видит творящееся там безобразие и пресекает его. Магистраль обогнет аллею — вернее, то что от нее осталось. Четыре последние финиковые пальмы спасены. И спасением своим они обязаны лишь тому обстоятельству, что Морин Биссилиа приехала фотографировать Баию.

В самолетах я ворую салфетки, в ресторанах — тарелки, в кафе — кофейные ложечки и пепельницы, из отелей увожу домой халаты и полотенца, не говоря уж о маленьких кусочках мыла и крошечных упаковках шампуня: эта моя коллекция и по количеству экспонатов и по их невиданному, межконтинентальному разнообразию — несомненно, лучшая в мире. Но я предаюсь этому пороку не один, моя невестка Ризия, когда гостит у нас, непременно крадет что-нибудь из моих трофеев, приводя в свое оправдание старинную поговорку: «Кто у вора уворует, с того семь грехов снимется».

Это пагубное пристрастие передалось мне от дядюшки Алваро Амаду — он не мог пройти мимо того, что плохо лежит. Моя подруга жизни дона Зелия на протяжении полувека делит со мною радости и тягости супружества, ко всему вроде бы должна была привыкнуть, но до сих пор брезгливо морщится, когда видит, как, летя над океаном на высоте десять тысяч метров, прячу я в карман салфетку с изображением розы ветров. Отец мой, полковник Жоан Амаду, таинственным образом сочетал в себе черты и свойства жмота и скряги, который за медный грош удавится, с непостижимым умением расшвыривать деньги налево-направо, пускать их по ветру. Известно, яблочко от яблони...

## Лиссабон, 1980

Удовольствие, которое получаешь от устных рассказов Луиса Форжаза Тригейроса (того самого, что покупал «вишневую фуфаечку»), сравнимо лишь с чтением его же новелл. И сколько же их было, этих рассказов! Жалко, что память меня подводит: путаются у меня в голове даты, места действия, имена персонажей. Рискну все же воспроизвести один из таких «случаев из жизни», которые при всей своей полуанекдотичности дают очень точное представление о том, что такое национальное единство и как соотносится оно с этнической пестротой бразильской нашей нации. Будьте снисходительны — мне далеко до Тригейроса.

Итак, если не путаю, дело было в 80-е годы в Эгейском море, по которому на пароходе плыли среди прочих туристов сам Тригейрос с Марией Эленой и португальский писатель Давид Моуран-Феррейра со своей женой Пилар. Корабль шел от острова к острову, а обе четы оживленно и горячо — об этом можно было бы и не упоминать, португальцы иначе не умеют — обсуждали разные темы, затрагивая и взрывоопасную тему поэзии. При этом за ними внимательно наблюдала группа людей, похожих на японцев, смирно стоявшая на палубе. В самый разгар дискуссии один из них отделился от своих соплеменников и приблизился к спорящим.

— Это вы по-португальски говорите, верно? — осведомился он. — А сами откуда будете?

— Из Португалии и будем, мы — португальцы, — отвечал ему Давид Моуран.

Японское лицо вдруг осветилось совершенно бразильской — от уха до уха — улыбкой.

— Это португальцы! — обратился он к своим товарищам. — Это наши предки!

«Предки?» В голове Тригейроса замелькало: образы каравелл, великие географические открытия, покорение Востока, грандиозные и массовые совокупления конкистадоров с местными туземцами и неведомое потомство... Он спросил, не течет ли в их азиатских жилах португальская кровь, не посетил ли их остров лет пятьсот назад какой-нибудь Васко да Гама?

— Португальская кровь? У нас? Да что вы?! Мы — бразильцы из Сан-Пауло! — радостно закричал псевдояпонец. — А португальцы — это же наши предки! — и пояснил наставительно: — Вы — наши прапрадеды.

И это именно так. Португальцы — ближайшая родня всех без исключения бразильцев. Зелия, чистокровная итальянка, чувствует себя в Лиссабоне как дома, а во Флоренции, где родился ее отец, и в Венеции, откуда родом ее мать, она чужестранка.

Сказка сказывается, а не объясняется, а герой ее должен быть существом из плоти и крови, из мяса и костей, — не куклой на руке романиста. Есть у меня одна безобманная примета, по которой я могу судить, что герой живет. Это когда он начинает противиться моей воле, отказываться делать то, что противно его природе, несообразно его личности. Случается так довольно часто, и я мог бы написать целую брошюру о подобных казусах.

Я уж рассказывал о том, что произошло с доной Флор. Когда история о ней и двух ее мужьях подходила к концу, приехала в Баию моя племянница Жанаина. Она знала о романе, но желала знать больше. Дона же Флор в это самое время оказалась перед дилеммой: ей до смерти хотелось отдаться Гуляке, первому своему мужу, хотелось так сильно и нестерпимо, что он пришел к ней с того света — путь неблизкий и нелегкий, но дону Флор обуревает желание компенсировать ему тяготы пути, уплатить дорожные издержки. Однако она ведь не какая-нибудь прости господи, а благопристойная мещаночка, крепко опутанная предрассудками и условностями вроде, например, супружеской верности и святости семейного очага; во второй раз выйдя замуж за фармацевта Мадурейру, она из мелкой буржуазии перешла в разряд средней, отчего еще крепче сделались все ее запреты, уважение к законам и правилам. Помимо того обстоятельства, что дона Флор — принципиальная противница адюльтера, она любит своего аптекаря и не хочет ему изменять.

И вот я вплотную подобрался к тем страницам, которые предшествовали падению доны Флор — любовь должна была смести все препоны и восторжествовать. Я сказал Жанаине: «Совершенно ясно, она уступит Гуляке, ни о чем другом и не помышляет». — «А скажи, дядюшка, каков же будет финал, чем окончишь ты роман?»

Я взвесил все «за» и «против», вспомнил о сеансе магии, устроенном доной Флор для того, чтобы вернуть первого мужа в те края, откуда нет возврата, подумал, что она, верная жена, нарушившая свой долг, преступившая запрет, должна просто умирать со стыда, терзаться угрызениями совести, обманув доверие Теодоро. Да, видя, что заклятие действует, и Гуляка растворяется в воздухе, она отправится за ним следом. Я хотел сочинить поэтический пассаж, рассчитывая, что читатель поймет — дона Флор бредит, мечется в жару и умирает, ибо только смертью можно искупить ее вину, ее грех. Племянница Жанаина одобрила такую концовку.

И уехала. А я продолжал писать роман. И в соответствии с авторским замыслом дона Флор прекратила сопротивление, приняла Гуляку, исторгая стоны любви, заново познала блаженство в его объятиях. Сцену эту я сочинил ночью — в те времена я еще работал по ночам, — закрыл машинку и пошел спать. Утром продолжил. Это как раз то место, когда голая дона Флор нежится утром в постели, вспоминая минувшую ночь и испытывая новый прилив вожделения, и входит в полосатой пижаме законный муж, фармацевт Теодоро. Увидав такую соблазнительную картину, он эту пижаму снимает и принимается любить жену как полагается — сверху, скромно, прилично, пристойно, безо всяких изысков и излишеств. И хотя умеренные и немного пресные ласки Теодоро совсем не похожи на бурную страсть, на жгучее неистовство Гуляки, сотворенного из меда пополам с перцем, дона Флор наслаждается ими в полной мере и — не спросясь меня, более того, не подумав даже о том, что это идет вразрез с моими творческими планами, — внезапно перестает мучиться необходимостью выбора, сознанием своей вины и остается жить, жить с обоими, такими разными, мужьями — с беспутным вертопрахом и респектабельным буржуа, находя в этих перепадах и чередованиях неожиданную отраду. И полное удовлетворение.

...Когда в кабинет вошла Зелия, я ей сказал: «Твоя подружка дона Флор отколола номер, выкинула коленце, удрала штуку. Кто бы мог подумать!» Кстати, Зелия до сих пор не может мне простить, что в «Габриэле» я не сочетал законным браком Жерузу и Мундиньо Фалкана, а я ей отвечаю, что я не падре и не судья, чтобы женить людей, — этим занимается жизнь, сводя их по любви или по расчету. Роман ограничен во времени и в пространстве, время, отпущенное «Габриэле», подошло к концу, похождения моих героев завершены, а поженятся они или нет, мне знать не дано, ибо это уже за пределами романного пространства. Мне известно лишь то, что было в книге.

Вспоминается мне, как работая над «Лавкой Чудес», рассказывая о том, как разные элементы, сплавясь воедино, создали бразильскую нацию, я захотел было, чтобы сын Педро Аршанжо, Тадеу Каньото, пошел дальше, сделал больше и вообще стал главнее. Я думал, он будет передовым, радикальным, сознательным, тогда во мне еще не были изжиты остатки коммунистического догматизма: странным представлялось, что Педро Аршанжо остался свободен от всех партий и боролся за справедливость сам по себе, на свой страх и риск.

Я начал лепить эту фигуру с натуры, потому и отдал Тадеу в Политехническую школу, заставил писать диплом по математике пятистопным ямбом, ведь именно так поступил его прототип Карлос Маригела. Захотелось мне, чтобы он стал основателем коммунистической партии. Я забыл, что действие романа происходит в 20-е годы, а главное — забыл спросить у Тадеу, а он взял да и отринул всякую идеологию и партийность. Как все цветные и бедные того времени, он хотел быть белым и богатым и пошел не в революционеры, а в зятья к фазендейро, «побелел» и с площади Пелоуриньо перебрался в Корредор-да-Витория[[88]](#footnote-88). Педро Аршанжо был ходячим исключением из правил — материальные помыслы его не сковывали, он прожил жизнь «бразильцем, баиянцем, бедняком».

Герои учат своих создателей, учат не насиловать реальность, не ломать характеры об колено, не выдумывать умозрительные фигуры, а главное — помнить, что мы не боги, а всего лишь писатели.

## Кантон, 1952

Перед тем как отправиться в ресторан, Илья требует, чтобы Дин Лин удовлетворила его любопытство и ответила, какие собаки вкуснее — те, которых специально откармливают в клетках на заднем дворе ресторана, или же бездомные, отловленные на улицах?

Китайский обычай употреблять в пищу собачину — самые изысканные и дорогие блюда готовят из них, и лишь змеиное мясо пользуется такой же славой — в ужас приводит Эренбурга, который любит собак, знает в них толк и всегда держит в доме по нескольку штук: сейчас у него, кажется, три чистокровных миттельшнауцера. Я отлично его понимаю, сам до сих пор не заставил себя отведать конины.

— Так какие же вкусней?

Дин Лин пытается уйти от ответа, сменить тему, заговаривает о других достопримечательных особенностях китайской жизни — о театре, о балете, о цветах лотоса, но Эренбург неумолимо настойчив. Загнанная в угол китайская романистка видит, что выкрутиться не удастся, и цедит сквозь зубы:

— Лично я предпочитаю дворняг.

Фирменное блюдо ресторана, куда он ведет нас, — «утка по-пекински». Истинные гурманы едят лишь до хруста зажаренную корочку, а мясо оставляют. Илья таких изысков не признает: он ест все подряд и с большим аппетитом, и с лоснящихся от жира уст не слетает ни одного слова осуждения. Да и я демонстрирую безмерную широту вкусов, а проще говоря — беззастенчивую всеядность: мы едим уток и свинину, говядину и молочных козлят, так что отвергать собак, лошадей, змею — не более чем предрассудок.

## Баия, 1989

Звоню в Рио нейрохирургу Пауло Нимейеру справиться об Алфредо Машадо. Обследования окончены, подтвержден ужасный диагноз — опухоль мозга. Случай трудный, — слышу я в трубке вслед за зловещей латынью, — случай безнадежный. Пауло считает, что операция ничего не даст, он лично не возьмется, но если больной и родственники желают, можно попробовать в Штатах...

Кто же не желает, кто не попробует все возможное и невозможное — от химиотерапии до черной магии, от операций до заклинаний на кандомбле — в борьбе за жизнь?! И Алфредо, которого под руку ведет Глория, улетает в Америку, но тамошние врачи подтверждают заключение бразильского коллеги — операция бессмысленна, надо попробовать новые методы: то-то и то-то, как знать... может быть... Начинаются полеты в Нью-Йорк и обратно в Рио. Алфредо не теряет бодрости и надежды, он неисправимый оптимист. Мы с Зелией звоним ему ежедневно, он сам снимает трубку, рассказывает о своей борьбе, а потом — новый анекдот, об угрозе, о надежде... Надежды с каждым днем все меньше.

Минуло больше года. Смерть Алфредо приблизилась вплотную. Я не мог работать, разучился смеяться, с трудом выдавливал из себя слова, сбежал из Бразилии, чтобы не видеть, как он умирает, мечусь по всему миру, из одного города в другой, из страны в страну — съезды, конференции, семинары, симпозиумы, все что угодно...

И отовсюду — из Парижа, Стамбула, Барселоны, Лиссабона и Рима — звонят друзья в тревоге, в скорби, в надежде на чудо... Чаще всех звонит мне сам Алфредо, и каждый раз я чувствую, что ему все трудней говорить, все длинней делаются паузы, и за сотни километров мне передаются его усталость, его тоска.

Я рассказываю ему, что задумал роман о приключениях молодого бразильца: военная диктатура, хиппи, «Мэйк лав нот уор!», сексуальная революция, промискуитет, наркотики, городская герилья и все прочие приметы бурных 60-х. Роман продолжит линию «Старых моряков» и «Кинкаса-Сгинь-Вода», где фантастика причудливо перемешивается с реальностью. Не знаю, как будет развиваться сюжет. Этого я никогда не знаю, покуда не начну писать, покуда не оживут герои. Но уже есть название романа и имя для главного героя — то и другое уже породило много толков. Роман будет назван по имени героя — «Красный Борис».

Алфредо, прирожденный издатель и редактор Божьей милостью, заявил, что покупает права. Четырнадцать месяцев отбиваясь от безжалостного наступления смерти, он торопил и подгонял меня, требовал роман, к которому я с какой-то минуты утратил всякий интерес. Однажды позвонил Сержио, его сын. Конец близок. Зелия позвонила Алфредо, сказала, что я дописываю «Бориса», скоро пришлю рукопись. Она глотает слезы и лжет — лжет гладко и убедительно, это она-то, вообще не умеющая лгать. У Алфредо еще хватает сил поинтересоваться деталями.

Через несколько дней получаем известие. Мы давно его ждем и все равно поверить не можем... Теперь в память об Алфредо я обязан выполнить обещание, написать похождения юного бразильца 60-х годов. Я сажусь за машинку, тень Алфредо, как соглядатай, неотступно следует за мной, стоит за спиной. Четырежды я начинал его, четырежды бросал на полуслове. Но когда-нибудь все же сочиню историю красного Бориса — она в большей степени принадлежит не мне, а Алфредо Машадо.

## Стамбул, 1989

Когда я вижусь с Яшаром Кемалем,[[89]](#footnote-89) слышу его голос и смех, мне кажется, что ожил Назым Хикмет. Оба турка созданы из одного теста, из той же волшебной смеси, что служит материалом для стихов Назыма, для рассказов Кемаля — из нищеты, и героической борьбы, и мечты, и надежды.

...Мы были в небогатом музее Пьера Лоти[[90]](#footnote-90), француза, жившего в Турции, пленившегося ею, описавшего ее пейзажи, нравы и обычаи ее обитателей, а потом сидели за столиком кафе, откуда открывался вид на Стамбул: по улицам снуют толпы прохожих, и на каждом углу есть место, где можно остановиться, присесть, поболтать со знакомым — на упоительный город на берегу Босфора, на город, будто созданный для жизни, для любви. Я рассказываю Кемалю забавный случай, произошедший в 1952 году в СССР, когда там торжественно отмечали полувековой юбилей Хикмета.

Главное действо разворачивалось в Зале Чайковского — там устроили заседание, на котором присутствовал и сам поэт, живший под Москвой на даче. После вереницы речей и приветствий, вручения адресов и подарков поднялся на трибуну сам юбиляр, чтобы поблагодарить за теплые слова и прочесть свои стихи — по-турецки, естественно. Советские же поэты по очереди читали их в своих переводах на русском и на других языках народов СССР, отдавая таким образом дань уважения мастерству своего собрата и духу интернационализма, которым проникнуто его творчество. А мы с Зелией сидели в первом ряду.

Сопровождала нас переводчица Сатва, дочь старого бразильского коммуниста Отавио Брандана, приехавшего в СССР еще в 30-е. Сатва попала сюда еще совсем девочкой, здесь выросла, выучилась, вышла замуж, родила сына, поступила работать на радио, в ту редакцию, которая занималась вещанием на португалоязычные страны. Сатва — само очарование, образцовый советский человек, не утративший при этом ни национальных бразильских черт и свойств, ни любви к своей далекой родине. Спасибо следует сказать отцу, Отавио Брандану, который привил эту любовь четырем своим дочкам, читал стихи Кастро Алвеса, пел им самбы, кое-что, впрочем, меняя в текстах с тем, чтобы революционности стало побольше, а перцу с солью — поменьше, и даже отваживался, невзирая на отсутствие нужных ингредиентов, готовить настоящую фейжоаду[[91]](#footnote-91).

Покуда Назым декламировал по-турецки, Сатва рассказывала нам о том советском поэте, который в эту минуту дожидался своей очереди прочесть перевод. Когда же на трибуну поднялся Константин Симонов, отлично нам известный, сменила тему и поведала, как папа Отавио читал им книги Пьера Лоти: они приводили его в восхищение, а особенно, те страницы, где описывался Константинополь и вообще турецкая жизнь и действительность. Об этом чтении вслух Сатва хранит нежную память, в отрочестве мечтала она поглядеть на Босфор, и испытывает благодарность к Хикмету, посвятившему одно из своих стихотворений Пьеру Лоти.

Но вот Назым дочитал и уступает место у микрофона Симонову, а тот, прежде чем начать свой перевод, произносит несколько прочувствованных слов: рассказывает о том, с каким увлечением перелагал на русский язык пламенные строки своего собрата по лире и товарища по совместной борьбе. Сатва отлично знает свое дело и без запинки переводит речь Симонова. Приходит черед самим стихам. Сатва вслушивается в первые слова и вдруг ошеломленно зажимает себе рот:

— Ой, кажется, товарищ Хикмет не очень любит Пьера Лоти: он называет его грязным агентом империализма... говорит, что тот ничего не понял в Турции и в турецком народе... он считает его ренегатом...

Вытаращив глаза, она смотрит на нас в полнейшей растерянности и недоумении, не зная, что думать, куда отнести француза и как к нему отнестись: еще живо в памяти то, как восхищался им Отавио, но не будет ли это смертным грехом против учения марксизма-ленинизма?..

...Яшар Кемаль рассмеялся, а потом спросил, отчего бы мне не сделать бедную Сатву, угодившую в идеологические силки, героиней романа — чистая, искренняя, верная, мучимая неразрешимыми сомнениями. Персонаж, исполненный истинного драматизма.

— Впрочем, друг мой, — добавляет он, взяв меня за руку, — все мы — персонажи неведомо кем написанного романа...

## Пекин, 1957

Близится к концу наше пребывание в Китае. По приезде мы с Пабло Нерудой были очарованы призывом Мао «Пусть расцветают сто цветов!», но теперь ясно видим, что все обстоит ровно наоборот: гайки закручиваются, горизонты сужаются. Уже в Москве один важный чин из ЦК КПСС объяснил мне, что речь Мао была обыкновенной провокацией, противники господствующей идеологии обрадовались, зашевелились, решили вступить в дискуссию, высунули головы — тут-то их и отсекут. Неужели правда? Трудно поверить в подобное коварство.

Тени сгущаются над нашими друзьями, и вот они исчезают один за другим. Первым пропал бесследно Эми Сяо, за ним пришел черед Ай Цин, а это два самых крупных поэта коммунистического Китая. Эми Сяо родился в одной деревне с Мао, а потом создал жизнеописание «великого кормчего». И вот уже перестала появляться Дин Лин, и диалог наш оборвался на полуслове. Все это, как оказалось потом, было предвестьем большого террора, будто в насмешку окрещенного «культурной революцией»: многие на Западе поначалу восхитились ею, но я к тому времени уже переболел сталинизмом, излечился от него и вместе со стойким отвращением навсегда получил иммунитет ко всяческим крайностям и перегибам.

Дин Лин была в китайской литературе фигурой весьма заметной, романы ее были переведены на десятки языков. Она принимала участие в «Великом походе» вместе с Мао, прошла всю освободительную войну. Народ любил ее — это я сам могу засвидетельствовать. Когда началась «культурная революция», полетели головы руководителей такого калибра, как Лю Шаоци, бывшего президентом Китайской Народной Республики, втоптаны в грязь, унижены и осмеяны были мудрецы и ученые вроде Го Можо, оказались за решеткой или отправились в трудовые коммуны «на перевоспитание» каторжным трудом поэты, романисты, режиссеры, певцы, музыканты — словом, те, кого принято называть «творческой интеллигенцией». Дин Лин лишили всех званий и наград, сняли с поста председателя Союза китайских писателей и заставили мыть уборные в здании этого самого Союза. Такого позора она не пережила. А Эми Сяо умер, едва лишь вышел на свободу после шестнадцати лет тюрьмы. Когда в 1986-м я вновь побывал в Китае, Ева была уже одна — и мы вспомнили веселые дни Праги, горькие и страшные — Пекина. Пришел повидаться со мной и Ай Цин. Пришел, хромая, опираясь на палку, полуслепой старик. Он отбыл, как и Эми Сяо, весь срок в сельскохозяйственной коммуне, где поручали ему лишь самую грязную, самую тяжкую работу и запрещали писать и печататься.

А в пекинском отеле встретился я с мужем покойной Дин Лин, который принес мне целую папку реликвий — фотографии, снятые Зелией в 1957 году, фотокопии моих писем, роман Дин Лин «Солнце над рекой Сангань», переведенный мною на португальский и изданный в Бразилии. Он рассказывает мне о ее мытарствах, о последних днях, и тусклые глаза озаряются светом слез.

Дин Лин была наделена особой, лишь китайцам присущей веселостью — сдержанной, потаенной, даже робкой. Лицемерие и злоба внушали ей глубокое отвращение. Я знал о той внутренней борьбе, которую переживала она, подобно Анне Зегерс, когда действительность пришла в жестокое столкновение со святыми для нее идеалами. Когда я говорил ей о тех сомнениях, что одолевают меня, рвут мне душу, она отвечала: «Ты замечаешь лишь ошибки и неизбежные издержки, надо быть шире». Сама она сомнений не ведала. Не ведала, или отгоняла их от себя? Она сказала мне как-то: «Если выпачкаю ноги в грязи, то вытру их и пойду дальше».

Когда мы виделись в последний раз, когда прощались, — назавтра я собирался продолжить разговор, — она грустно улыбнулась, ибо ей-то уж было известно, что продолжения «не последует», и уже от дверей вернулась, чтобы еще раз пожать руки Пабло, Матильде, Зелии и мне... Как оказалось, прощались мы навсегда.

## Москва, 1948

Франсишку Феррейра работал на Московском радио диктором — нес слово правды и обнадеживающую, выверенную, в идеологическом щелоке вываренную информацию товарищам из Бразилии, Португалии и африканских стран, стонущих под гнетом колониального салазаровского режима. Юношей он успел повоевать в Испании, в интербригаде, а после поражения республиканцев его вывезли в Союз. Тут он женился на испанке. Прекрасный человек — сердечный, отзывчивый, обладающий взрывным темпераментом и способностью принимать чужую беду как свою собственную, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту, чему я не раз был свидетелем.

Убежденный коммунист, образцовый член партии. Натуральный фанатик-сектант. Догматизм его безграничен и всеобъемлющ.

Я же в ту пору, впервые оказавшись в Москве, пытался понять, как живут люди в СССР, какие тут нравы и обычаи, что здесь хорошо, а что — не очень. Мои наивные вопросы приводили славного Франсишку в неистовство.

— Что? — вскидывался он. — Воры?! На родине социализма воровства нет! Воры остались в царской России.

А Зелию как раз накануне дважды пытались обокрасть в ГУМе. Вера Кутейщикова рекомендовала нам в людных местах смотреть в оба и рот не разевать: карманники кишмя кишат. Я ссылаюсь на это авторитетное свидетельство, провожу, так сказать, очную ставку: похоже, Шико, ты мне врешь. Но советского патриота голыми руками не взять.

— Да! Есть еще кое-где жулики, не стану скрывать, есть! Это тяжкое наследие войны. Но они — самые искусные воры в мире. Вот тебе пример: на прошлой неделе я ехал в переполненном автобусе — был «час пик». Приехал домой — и что же? Обокрали! Бритвенным лезвием взрезали пальто и вытащили все, что у меня было, причем я ничего не почувствовал. Можешь себе представить? Таких ловких воров нет больше ни в одной стране!

Как забавно звучит советская гордость на языке Камоэнса.

В другой раз мы стали обсуждать различия между сексом на Западе и здесь, на социалистическом Востоке. Франсишку заявил:

— В Советском Союзе такой мерзости, как адюльтер, не существует. Советские женщины мужьям не изменяют, пролетарская мораль сурова. Увлечение, интрижка, супружеская неверность случаются крайне редко, такие происшествия у нас — наперечет.

Я, как известно, легко схожусь с людьми и завожу друзей в любой среде — и в пролетарской, и в самой элитарной. Так вот, наблюдения мои противоречили, мягко говоря, безапелляционным декларациям товарища Франсишку. И я не раз припирал его к стенке, вполне добродушно, впрочем, доказывая обратное и уверяясь при этом, что намерения у него однозначные: сохранить образ СССР в священной неприкосновенности, священной для него, для меня, для миллионов и миллионов людей разных стран.

— Шико, ты врешь. Здешние женщины — отнюдь не пуританки: что попросишь, то дают, а иногда и просить не нужно. И тебе это известно не хуже, а лучше, чем мне, поскольку ты крутишься в среде творческой интеллигенции. Примеры нужны?

Шико потребовал предметных доказательств. Во-первых, целомудрие коммунистического режима предполагает повышенный интерес к чужой жизни, а во-вторых, страсть к сплетням возрастает стократ, если сплетни эти относятся к фигурам известным.

Я удовлетворил его любопытство; он слушал, переспрашивал, кое-что заставил повторить, некоторые эпизоды потребовал осветить более подробно. Когда я иссяк и умолк, он молвил:

— Что ж, есть еще у нас случаи аморального поведения, и они не столь уж единичны. Но вот что я тебе скажу: на всем белом свете нет женщины, которая в постели могла хотя бы отдаленно сравниться с советской женщиной. По крайней мере в Испании и Португалии, в других странах мне бывать не приходилось.

Он гнул свою линию: в Стране Советов все самое лучшее, отрицать эту очевиднейшую истину — значит лить воду на мельницу классового врага — международного империализма. Неужели же и впрямь, товарищ Франсишку, советские женщины лучше севильских гитан или девиц из провинции Миньо. Бедные советские женщины! Жертвы предрассудка и невежества, они слыхом не слышали о «Камасутре», они обречены на одну и ту же неизменную и вечную позу «папа-мама», а если захотелось разнообразия, остается только адюльтер, который практикуется у них весьма широко. Они ищут себе нового партнера, легко его находят — и тут выясняется, что поменяли шило на мыло: все то же пресное убожество.

## Рио, 1954

Воскресное утро. Я тружусь над очередным манифестом или воззванием — Боже, сколько их было?! — а Жоан Жоржи и Жанаина прибегают с пляжа, неся кипу листовок. Их сбрасывали с самолета над Копакабаной и Ипанемой, засыпали и пляж, и улицы. Вручают мне и ждут, что я скажу. Племянницу все это очень забавляет, сын насуплен и хмур и готов к драке.

Антикоммунистическая Лига распространила свою самоотверженную деятельность и в поднебесье: выполняя ее заказ, два тарахтящих биплана кружат над нашим кварталом, сбрасывая листовки. Возглавляет Лигу адмирал Пена Бото — славное это дело, борьба с коммунизмом, и почтенное, и прибыльное... Интересно бы знать, чем живы адмирал и прочие флотоводцы сейчас, когда отсохла «рука Москвы», иссякло «золото Кремля», и нечем стало пугать наших богачей, побуждая их подписывать новые и новые чеки? Должно быть, они горше всех плачут по Советскому Союзу. Очень лакомый кусок уплыл из рук.

А меня, писателя, пользующегося определенной известностью, коммуниста нерядового, выполнявшего разнообразные и ответственные поручения руководства, Лига произвела в лидеры, в главари и вожди, это я, как выясняется из листовки, всем заправляю и всеми верчу. Там, на листовке, которую протягивает мне Жоан Жоржи, не только текст — впрочем, стандартный: «изменник родины, наймит мирового большевизма, продажная шкура и приспешник Престеса», — но и нечто новенькое — картинка: я изображен раскинувшимся в гамаке, а двое моих друзей, судья Иринеу Жоффили и адвокат Летелба Родригес де Брито, стоят надо мной с опахалами, то ли мух отгоняя, то ли навевая прохладу. Одним словом, коммунистический паша в своем серале. Адмирал требует судить и засадить меня.

Прочитав и рассмотрев, я хохочу во все горло, дети подхватывают, только Зелия вне себя от гнева и обзывает Лигу «сборищем ублюдков, псами реакции, крысами из сточной канавы», пусть только попадется ей адмирал, она уж выскажет ему кое-что. «Сам он предатель и изменник!» — воздев сжатый кулак, восклицает она. Жана и Жоан Жоржи перестают смеяться, тоже вскидывают кулачки — готовы в бой.

## Мадрид, 1986

Великий испанский поэт Рафаэль Альберти окончил речь, посвященную творчеству вашего покорного слуги, сошел с трибуны, и меня атаковали любители автографов. Оттеснив остальных, ко мне пробилась пухленькая дама средних лет, сильно намазанная — губки сердечком — представилась, напомнила:

— Несколько лет назад я вам писала в Баию, спрашивала, что же представляет собой тот «игрек», до которого дошла ваша героиня Тьета... Неужели забыли?

Помилуйте, такое не забывается. Я получаю довольно много писем, но это отложил в сторонку и даже Зелии показал: прочти, мол, забавно... В тот год как раз вышла в переводе на испанский «Тьета де Агресте». Кто читал, помнит: эта самая бывшая пастушка Тьета вокруг да около не ходит, сразу берет быка за рога, в науке любви она — профессор, если не академик, знает алфавит постельных забав от альфы до омеги, от аза до ижицы, от «а» до «y», ну, а как называются буквы того языка, на котором написана «Камасутра», я запамятовал. В романе говорилось, что среди прочих изысков высоко ставила Тьета некую позицию под названием «игрек»: обуянная страстью пастушка широко практиковала «Y обыкновенный», а для особо торжественных случаев был у нее в запасе еще и «Y двойной».

Ну так вот, моя испанская читательница выложила мне о себе и своей интимной жизни все: и то, что замужем была за человеком строгих правил и на протяжении пятнадцати лет супружества ничего, кроме не столько классической, сколько хрестоматийной «миссионерской» позиции познать ей не удалось, и что, лишь овдовев, сумела она расширить свой кругозор и испытать оргазм. Первый ее возлюбленный начал ее образование, последующие продолжили, и достигла эта дама таких высот — или глубин? — что измышленная мною Тьета, существуй она на самом деле, умерла бы от зависти. Все виды и способы плотской любви были для нее открытой книгой, и только одного не хватало ей для полного счастья, только одно оставалось тайной — неведомый и оттого еще более притягательный «Y», мистический «игрек». Желая как можно скорее ликвидировать пробел, она и написала мне, прося изложить некоторые технические подробности. «Поздравляю, доигрался», — только и молвила дона Зелия, возвращая мне прочитанное письмо.

В ответ я написал, что, к величайшему моему сожалению, Тьета, дарившая меня дружбой, не удостоила любви и в наших откровенных и неизменно приязненных беседах никогда не раскрывала подробностей «Y», ограничиваясь лишь малоконкретными восторгами по поводу доставляемого им наслаждения, обращающего того, кто хоть раз восторгов этих вкусил, в вечного данника, невольника, раба. Вот и все, seсora, что мне о нем известно: романисту открыта лишь часть жизни, и далеко не самая большая ее часть.

Есть, надо признаться, в нашей профессии что-то мистическое и абсурдное: придуманные герои сплошь и рядом начинают действовать по собственной воле. Еще в 1938 году один из моих приятелей сказал мне:

— Слушай, я давно собирался тебя спросить. Вот в «Мертвом море» есть один эпизод, когда старик Франсиско не впускает в дом родного брата, которого черт-те сколько не видел... Объясни ты мне, за что он его выгнал? В книге об этом не сказано.

— Понятия не имею. Старик Франсиско мне не назвал причины, но думаю, она должна быть весомой. Я и сам бы не прочь узнать ее.

...Пухленькая испанка протянула мне экземпляр «Тьеты», чтобы я надписал его. Ну, сеньора, как обстоят у вас дела с «Y»? Разобрались? Нашли сведущих людей? Освоили?

— Пока нет, — отвечала она. — Но зато я придумала наш, чисто испанский вариант и назвала его «W».

Она напомнила мне свое имя, но скромность удерживает мою руку, и я его здесь приводить не буду. Вокруг толпилось много людей, неловко было расспрашивать в подробностях, что же представляет собой «W». Но, зная испанцев, думаю, что это нечто драматическое, с легким налетом известного католического изуверства.

## Баия, 1972

Из принципа (а может, по глупости или же не в силах победить предрассудок) я отказываюсь от предложений отрекламировать тот или иной товар на телевидении, на радио, в прессе. Отказываюсь и теряю большие деньги, не говоря уж о пишущих машинках, холодильниках, телевизорах и пр. Не могу сказать, что неизменно отказываюсь — нет, раза два-три соглашался сыграть эту малопочтенную роль, но бесплатно: в виде гонорара получил я штаны-бермуды и соломенную шляпу да снимки в нескольких журналах, деньги же, все до последнего медяка, как и оговаривалось контрактом, перечислены были на счет Фонда Жоржи Амаду.

Зато когда я сочиняю, то без малейших колебаний, чтобы попрочнее «привязать» повествование ко времени и месту, щедро упоминаю названия фирм и компаний, ресторанов, блюд и напитков. В благодарность владельцы и производители с неменьшей щедростью шлют мне подарки, главным образом напитки — коньяки, ликеры и водки, которые употребляют мои герои или которые в лестном контексте, в лирическом отступлении похвалил автор. И бутылок у меня дома — до дьявола. Лишь однажды я решил воспользоваться этим обстоятельством, и результат был плачевный. Зря я уповал на популярность своих романов. Сейчас расскажу, как было дело.

В давние-давние времена, в года, которые, по слову поэта, вполне можно назвать «баснословными», когда моя приятельница Аута-Роза, уже появлявшаяся на этих страницах жена Калазанса Нето, не была еще так изысканно разборчива по части вин и закусок, она угощала своих гостей вином «Капелинья». По словам Фернандо де Роша-Переса, как-то раз обедавшего у супругов Нето, это было не то вино. Совсем не то. Приходится верить Фернандо на слово, ибо сам я с некоторых пор никаких спиртных напитков, произведенных в нашей отчизне, благоразумно не употребляю.

Я как раз в это время завершал свой труд, дописывал роман «Тереза Батиста, уставшая воевать», и тут услышал, как сетует Аута-Роза на то, что цены на ее любимое вино поднялись. «Не волнуйся, — сказал я, паря в поднебесье авторского тщеславия. — Я упомяну твой сиропчик на страницах „Терезы«, и винные фабриканты будут ящиками присылать мне „Капелинью«, ты им по гроб жизни будешь обеспечена».

И вот по этой самой причине на свадьбе моей Терезы Батисты все гости пьют только «Капелинью», пьют, прищелкивают языком, закатывают глаза от восхищения и просят еще. Мой коллега по писательскому ремеслу, президент Баиянской академии словесности Клаудио Вейга, непревзойденный знаток французской литературы и кухни, разбирая мой роман, попенял мне на мой странный выбор: «Вы, дорогой друг мой, могли бы угостить персонажей и читателей чем-нибудь получше», — и назвал два-три сорта вина из штата Рио-Гранде-до-Сул, которые, по его словам, не уступят ни рейнскому, ни бургундскому. Другой мой собрат по перу, Илдазио Таварес, высокий специалист в области отечественного виноделия, мягко пожурил меня за то, что берусь судить и писать о вещах, в которых не смыслю ни бельмеса, а потому осмелился предложить приглашенным на свадьбу моей героини — а среди них есть люди утонченного и изысканного вкуса, в том числе и сам он, почтенный Илдазио, — очень скверное винишко. Хоть бы новобрачного пожалел, уж выставил бы, по самой крайней мере, красного чилийского. Сеньор Таварес еще осведомился, не выполнял ли я деликатное поручение компании, торгующей «Капелиньей», и поинтересовался, не обидели ли меня при расчете. Я объяснил причину своего странного предпочтения и Клаудио, и Илдазио. Они меня поняли. Последний только спросил, сколько ж ящиков этого мерзкого пойла лежит теперь в подвале у Калазансов — наверняка за такую рекламу производители разгрузили у дома целую фуру.

И я принужден был поведать им печальную правду: не то что фура не приехала, полудюжины бутылок не прислали в утешение авторского самолюбия. Владельцы винного завода книг моих не читали, а если бы и прочли, то сочли бы, что гуляют на свадьбе Терезы Батисты люди бедные, незаметные, неразборчивые, не удостаивающиеся упоминаний в колонках светской хроники. А потому появление «Капелиньи» на страницах романа не будет способствовать росту производства и объему продаж. И понуро удалился я с этой свадьбы.

Но счастье — хвала Всевышнему! — улыбнулось супругам Нето: Калазанс все больше входил в моду, круг его клиентов становился все шире, его уже стали называть «герцогом гравюры». И вместе с процветанием пришла к Ауте-Розе и взыскательность вкуса: пьет она ныне только истинный нектар, взращенный на виноградниках Франции и Германии, а дорогих гостей потчует шампанским «Cristal».

Вот вам и реклама. Может, и мне перепадет бутылочка-другая?!

## Ильеус, 1929

В огнедышащем кабаре «Батаклан», оспаривая благосклонность прекрасных дам — тамошних девок, — каждый вечер мы устраивали мордобой. С одной стороны — коммивояжеры, большие мастера танго и вальсов, в ту пору их по созвучию и за быстроту называли «кометами»: все как один в соломенных шляпах, сдвинутых на затылок, с челочками на лбу, в подражание тогдашнему президенту Эпитасио Пессоа, в пиджаках с подложенными плечами. С другой — распущенные — нет-нет, не в том смысле, на каникулы распущенные — студенты, цыплята, пытавшиеся на отцовские денежки кукарекать, как взрослые петухи. Почти всегда юношеская самонадеянность обходилась им дорого, и молодой задор с железной непреложностью приводил к грандиозным потасовкам. Однажды вечером Зекинье Адами прострелили ногу. А у меня на тыльной стороне ладони до сих пор остался шрам от ножа — когда перед глазами у меня блеснул клинок, я едва успел вскинуть руку, прикрыть лицо. Противник мой оказался еще и мастером капоэйры[[92]](#footnote-92).

Я, юный прожигатель жизни, был в ту пору тощ как скелет, под носом у меня топорщилось подобие усиков, волосы прилизаны бриллиантином. Я шлялся по веселым домам, легко и часто влюблялся, кропал стишки — вольные, как в смысле содержания, так и по форме, ибо не умел даже подсчитать число стоп, да и рифма мне не давалась. «Твои губы — кармин, твои груди подобны коралловым рифам, твое чрево — кувшин, позлащенный сиянием лунным», — вот что я писал, но девицам, романтичным и сентиментальным, как все проститутки, очень нравилось. Мы, студенты, кичились и пыжились, пуще всего боялись проявить малодушие, ведь в Ильеусе отвага почиталась наивысшей добродетелью, главным достоинством, и потому оспаривали приоритет «комми», мотавшихся из города в город с образчиками товара своих фирм, разбивавших сердца «девочек». Сердца, впрочем, их интересовали в последнюю очередь. Вечерами в «Батаклане» выясняли мы, кто главней. Доставалось нам предостаточно.

Я же, человек не в меру задорный и постоянно, как бы это сказать помягче? — за... диравшийся, в одном таком конфликте бросил вызов истинному Голиафу. Это был дядя роста исполинского, телосложением напоминавший платяной шкаф, судя по всему, чемпион по вольной борьбе. Вот его я и вызвал на поединок: «Выйдем поговорим, если ты мужчина!» Выслушав эту наглую фразу, великан смерил взглядом меня, птенца желторотого, сопляка-молокососа, стиснул своими лопатообразными ладонями мою голову у висков и без усилия оторвал от земли. Поднял так, что мое лицо оказалось на уровне его собственного, и, сказав: «Мальчик, иди домой» — разжал руки. Я грохнулся задом об пол... Какой был срам! Лучше бы он мне пулю всадил (в ногу).

## Нью-Йорк, 1971

По приглашению Гарри Белафонте мы с Зелией являемся на званый ужин, который ежегодно устраивает Американская академия негритянской литературы и искусства. Дело происходит в Нью-Йорке, в отеле «Уолдорф-Астория». По этому поводу я впервые за семь месяцев, проведенных в США, надел смокинг.

Это событие из ряда вон, впечатление незабываемое, а кроме того, высокая честь: на ужине присутствуют всего восемь белых (считая и меня, белого баиянца), тонущих среди пяти сотен виднейших чернокожих представителей американской литературы и искусства во всей безмерной широте и ограниченности того и другого. Полтысячи борцов с расизмом и дискриминацией, убийственных и в переносном, и в самом прямом смысле. Только что в городе Аттика, в тюрьме, где содержатся негры, произошел бунт заключенных. Его жестоко подавили, можно сказать, потопили в крови.

Я удивился, когда вдруг с трибуны услышал свое имя. Балерина Кэтрин Данхен рассказывает, что видела и чему научилась в Бразилии — о единственной в своем роде борьбе бразильского народа. И снова волнение охватывает меня при упоминании Поля Робсона, моего друга и товарища, ведь я вхожу в число основателей мемориального фонда, созданного в память его и честь. К столу, за которым сидит чета Белафонте, подходит сын великого певца. Мы разговариваем, вспоминаем наши с ним встречи в Москве, в Праге, в Париже — всюду, где в защиту угнетенных звучал его могучий бас.

Я не понаслышке знаю о размахе, о накале и ярости той борьбы, которую ведут американские негры за свои права, но даже меня пугает радикализм иных ораторов. Нетерпимость, непреклонность, «око за око, зуб за зуб», по залу раскатывается эхо выстрелов в Аттике, и напряжение достигает кульминации, когда на трибуну поднимается миссис Джексон, обоих сыновей которой убили в тюрьме...

Ясно, как никогда, понял я за эти семь месяцев, проведенных в Соединенных Штатах, что насилие порождает лишь новое насилие, что разного рода расизм — белый, черный, иудейский, какой угодно! хоть древнегреческий — вызывет противодействие теми же методами. В Америке миллионы противников расизма, борющихся против национальных предрассудков, но сама философия жизни — расистская по самой сути своей, и это ощущается ежеминутно. А у нас, в Бразилии, может, сотни тысяч, а может, миллионы расистов, но жизнь всем строем своим и укладом отвергает расизм. И бразильский народ — живое отрицание расизма. Я говорю «народ» — так называемые элиты в расчет не беру.

Не думаю, что есть на свете человек, который бы написал больше предисловий к романам и текстов к каталогам художественных выставок, больше рецензий на бразильские фильмы, чем ваш покорный слуга — покорный воле всякого, кто просит похвалить. Просят, я пишу, с какой стати отказывать — жалко, что ли? — мне не трудно и не стыдно, мое удовольствие прямо пропорционально удовольствию просителя: глаза его начинают блестеть, на губах играет улыбка радости, он вполне согласен с лестным мнением о себе и считает, что мы с ним придерживаемся схожих взглядов на литературу, живопись, кино. Так зачем же отказывать?

И я не литературный критик, Боже упаси, и не искусствовед и тем паче не специалист по кино, а потому ответственности никакой, писать и утверждать могу все, что взбредет в голову. Если верить моим предисловиям, все романы — просто шедевры, стихи знаменуют новую эру в поэзии или как минимум производят переворот в отечественной словесности, все полотна и холсты — чудо композиции и верх колористического мастерства, а фильмы заткнут за пояс Эйзенштейна с Феллини и Орсона Уэллса с Пудовкиным... Нет, насчет последнего это я сгоряча. Мы с ним были дружны и накануне его смерти вместе ужинали у Симонова: он был доволен успехом своей последней картины, а наутро поехал играть в теннис, упал на корте и умер с ракеткой в руке.

Хуже дело, когда юный автор, помимо лестных слов, просит рекомендовать его издателю, а в случае отказа прозрачно намекает, что я препятствую его блистательному дебюту из страха соперничества. Еще хуже, когда благодарный живописец присылает свое творение в дар и требует, чтобы его повесили на стенку. Помню, как-то раз Глаубер Роша требовал, буквально руки мне выкручивал, с ножом к горлу приставал, чтобы я сочувственно отозвался о кинофильме молодого режиссера. «Он очень талантлив, а кроме того, баиянец, — этого для нашего бразильского Годара было достаточно. — Напиши маленькую заметочку о юном и непонятом даровании».

— Хорошо, — сказал я Глауберу. — Напиши про него сам что хочешь — статью, заметку, два прочувствованных слова, а я подпишу. Но с одним условием — ты не потащишь меня смотреть его картину.

Как бы не так! Глаубер сочинил, я подписал, режиссер лично пришел поблагодарить и пригласить на просмотр. Глаубер только ухмылялся, глядя, как тащился я в зал, будто агнец на заклание.

## Баия, 1943

Мы с Вильсоном Линсом были в ту пору неразлучны: днем занимались агитацией и пропагандой, ночью прожигали жизнь.

Газету «Импарсиал» превратили мы в орган борьбы с германским нацизмом. В прежние времена, до того, как отец Вильсона, полковник Франклин Линс де Албукерке, богатейший промышленник и землевладелец, выкупил газету у интегралистов, заправляли там всем двое: Марио Симоэнс был главным редактором, Марио Монтейро — коммерческим директором.

Завладев газетой и сменив политические ориентиры, Вильсон, его брат Теодуло и я взялись за дело всерьез. Мы с Вильсоном писали статьи, а Эдгар Курвело расставлял нам запятые и правил орфографию. В редколлегию, кроме того, входили Лафайет Коутиньо, Акасио Феррейра и племянник Вильсона, носивший громкое имя — Наполеон. Он ничем не уступал своему великому тезке, был мастером на все руки и отличался башкой необыкновенных размеров и причудливой формы. Когда он проходил мимо, его дядюшка, добряк Валдомиро, пить начинавший с утра и уже ни на что не отвлекавшийся, любил погладить его по затылку, приговаривая: «Боже мой, Боже, как же ты на свет-то вылез, какие мучения сестрице моей доставил». Теодуло, человек сумрачный и ответственный, пытался как мог сдерживать нашу молодую прыть, в нем уж тогда видны были задатки политика, и стал он впоследствии депутатом Законодательного собрания, мастером кулуарных интриг и закулисных сделок.

Ближе к вечеру почти ежедневно мы отправлялись на очередной митинг или на манифестацию — на Ларго-да-Се, на Праса Мунисипал, на Кампо-Гранде, обличали нацизм, пели осанну союзникам по антигитлеровской коалиции, а под шумок поносили наш собственный режим, диктатуру «Нового Государства».

Мы с Вильсоном на пару заполняли едва ли не всю газету: он писал передовицы и редакционные статьи, а я вел ежедневное обозрение «Час войны». Но особым успехом пользовалась придуманная нами коротенькая, всего строк на десять-двенадцать, колонка. Мы придумали двух персонажей, которым оказалась суждена долгая газетная жизнь: из номера в номер вели диалог на актуальные темы доверчивый и наивный Жозе и левый интеллектуал Жоан, сведущий во всем решительно. Многие и газету-то нашу покупали, только чтобы почитать забавную пикировку двух измышленных нами героев, причем простак порой обнаруживал проницательность и здравый смысл, а мудрец оказывался полным придурком.

В один прекрасный день — дело было в 1943 году — написали мы с Вильсоном статью, вызвавшую жуткий политический скандал, едва не приведший к закрытию нашей газеты. Мы предложили восстановить дипломатические отношения с Советским Союзом, резонно спрашивая, зачем, если мы, можно сказать, сидим в одном окопе и вместе воюем с фашистами, зачем надо продолжать прежнюю политику, по-страусиному пряча голову в песок и не замечая новой реальности? Как можно считать русских врагами, если они наши союзники? Как можно не признавать существование соратника?

Тем не менее все так и было — сохранялось нерушимое табу на упоминание СССР, цензура беспощадно вымарывала все, что относилось к государству рабочих и крестьян. В верхних эшелонах власти хватало самых настоящих, отъявленных фашистов, которые не позволяли не то что требовать восстановления дипломатических отношений с Империей Зла, но даже и думать об этом. Они, хоть и не высказывали своих чаяний вслух, очень надеялись на Гитлера. Статья произвела эффект разорвавшейся бомбы, и неприятности нам грозили серьезнейшие: дело пахло судом и лишением лицензии. Выручил могущественный полковник Франклин: он, правда, и понятия не имел о нашей статье и в глаза ее не видел до публикации, но взял всю ответственность на себя и заявил: «Это я ее заказал». Власти побоялись связываться с ним — он был слишком крупной и влиятельной фигурой.

Итак, дни наши были посвящены войне, борьбе, политике, а ночи — безудержному веселью. За полночь, вывалившись из редакции, отправлялись мы пить, играть, танцевать танго, играть в рулетку и в карты или же к девкам. Предводительствовал нами Вильсон, вертопрах и сумасброд, истая богема, ни в чем не знавший меры и удержу. Завершался вечер в публичном доме, где мы ужинали, обильно орошая угощение кашасой[[93]](#footnote-93) и пивом — виски в ту пору было еще как-то не в ходу. Вильсон был гулякой таким неисправимым, распутником таким закоренелым, что на следующий же день после женитьбы Мирабо Сампайо, по старой привычке зашел за ним: «Пора, Мирабо, пошли, Мирабо, девочки нас заждались». Ну, тут он получил от Нормы гневную отповедь:

— Отныне и впредь для Мирабо существует только одна женщина — это я! А шлюх своих себе забери!

Да, много их было, соотечественниц и иностранок — привлеченные рассказами о королевской щедрости сына полковника Франклина, они слетались к нам из Буэнос-Айреса и Ла-Платы, из Монтевидео и Пунта-дель-Эсте, они выступали в кабаре, они по-крупному играли в казино, они учили нас новым позам и вариациям — какие страсти кипели, какие драмы разыгрывались! Вильсон, домогаясь одной своей капризной избранницы, размахивал револьвером. Он пользовался репутацией человека кровожадного, хотя на самом деле был кроток, как голубь. Махать-то он махал, но на курок не нажал бы ни за что, он и стрелять-то не умел.

Разумеется, общались мы не только с профессионалками, но и с многочисленными любительницами. У Вильсона, не подверженного предрассудкам, был целый выводок более или менее троюродных кузин, порядочных барышень не слишком строгих правил, пламенных сторонниц союзных держав, не пропускавших ни одной сводки Би-би-си и страстно даривших разнообразные ласки нам, литераторам, демократам и антифашистам, отважным борцам за правое, за святое дело. У кузин были подруги и одноклассницы, одна другой привлекательней. Им далеко, конечно, было до отточенной техники аргентинских и уругвайских «девочек» — парагвайка почему-то была только одна, полуиндеанка из племени гуарани, и за нее не просчитавшись можно было отдать десяток родовитых сеньорит, — но они брали свежестью и искренностью чувств.

...Помню одну — страшновата лицом, но сложена была замечательно: она уже служила в каком-то государственном учреждении, была обручена и хранила девственность для будущего мужа, а потому предоставляла для утех только свой зад. Причем любила устроиться у окна, откуда виднелось здание банка, где служил счетоводом тот, кому в приданое предназначалось ревниво оберегаемое сокровище, облокачивалась на подоконник и в самый проникновенный, извините за сомнительный каламбур, миг начинала в экстазе вопить, обращаясь к жениху: «Ты видишь, рогоносец? Видишь, что со мной делают?!» Черт, вылетело из головы, как ее звали. Может, Вильсон еще помнит?

Так мы и жили в ту пору — храбро отстаивали право человека на свободу и демократию, и происходило это словно бы само собой, героями себя не чувствовали, важностью не надувались, а если становились в позу, то лишь так, как это описано чуть выше. Мы развлекались, мы веселились со всем жаром и пылом молодости. Вильсон, Джованни, Мирабо — три мушкетера, и я четвертый, и ей-богу, мы не уступали героям Дюма ни дерзостью, ни изобретательностью, ни любовью к приключениям.

Я приходил в редакцию к одиннадцати утра разметить макет номера. Вильсон появлялся лишь после обеда, как истинный сибарит поднимался он с ложа поздно. И потому я был несказанно удивлен, застав его утром в редакции, он ждал меня и пребывал в сильном волнении. Он увел меня в кабинет, где обычно полковник решал, сколько чего посадить, сколько вырубить, сколько вагонов растительного воска отгрузить туда, сколько сюда, а порою давал и более деликатные поручения своим присным, после чего человека, где-то перешедшего дорогу полковнику или наступившему ему на любимую мозоль, утром находили с перерезанной глоткой. Свидетельствую, впрочем, что такие бессудные расправы происходили редко и, насколько мог я тогда разобраться, все были заслужены. Исполнителем полковничьих приговоров был тихий, тощий, беззубый сертанец, живший тут же, в конторе и умевший бить так, что следов не оставалось.

Так вот, Вильсон прикрыл дверь, закурил — хотя еще предыдущая сигарета дымилась в пепельнице — и сказал:

— У меня к тебе просьба, огромная просьба. Ты ведь сегодня обедаешь у моих?

Действительно, по вторникам я обедал у родителей Вильсона — у полковника Франклина и доны Софии. Хозяйничала за столом их племянница, дочь покойной сестры полковника, взятая им на воспитание. Иногда к нам присоединялся и кто-нибудь из четверых сыновей. Семейные это были трапезы, а не деловые обеды — никаких дел не было у нас с полковником, который почему-то питал ко мне сильное уважение, такое сильное, что, от всей души презирая компартию, членом коей я являлся, называл меня не иначе как «русистом», чтобы ненароком не обидеть позорным в его устах обозначением. Человек, как видите, был внимательный и деликатный.

И крупный — и ростом, и положением: огромная власть была у него в руках, и земли с сахарными заводами и кофейными плантациями немереное количество, и сотни наемников-жагунсо под началом. Свои полковничьи звезды он заслужил в боях с «Колонной Престеса», которую неумолимо преследовал, пока мятежники не перешли боливийскую границу. Тем не менее он не позволял, чтобы в его присутствии дурно говорили о Луисе Карлосе. С марксистом он воевал, человека и военачальника глубоко уважал. Да, полковник был личностью из ряда вон выходящей, но при всем своем могуществе и силе рядом с супругой был кроток как агнец. Познакомились они, когда он был бедным арендатором, темным и неграмотным, а она учила детишек в начальной школе. Читать и писать она его выучила уже после того, как вышла за него замуж.

— Обедаю. Сегодня же вторник, — отвечал я. — А ты не придешь? Твои родители сетуют, что ты в последнее время глаз не кажешь.

— Я ни в коем случае не приду. Сегодня ты будешь представлять мои интересы.

И тут наконец он все объяснил. Он и Анита, племянница и воспитанница его родителей, уже давно любят друг друга и хотели бы пожениться, но Вильсон не решается заговорить об этом с полковником, тот слишком серьезно относится к своим опекунским обязанностям: желает ей счастья и хочет, чтобы она вышла замуж за человека основательного, серьезного, обеспеченного, с безупречной репутацией, способного дать Аните то, чего она достойна... Сей набор достоинств не имел к моему другу ни малейшего отношения, и он это знает. Боясь отцовского гнева, а еще пуще — отказа, он желает прибегнуть к моему посредничеству, посылает меня ходатаем: полковник меня уважает и мне доверяет, может, мне удастся убедить его? Что ж, я принимаю на себя эту миссию. На то и существуют друзья, чтобы развязывать всякого рода узлы.

Мы отобедали вчетвером — полковник, дона София, я и Анита, время от времени бросавшая на меня многозначительные и заговорщицкие взгляды. А потом я сказал, что должен поговорить с супругами на чрезвычайно важную тему. Ну, раз такое дело, полковник приказал отпереть гостиную, где стоят рояль «Стейнвей», на котором никто, правда, никогда не играет, и черная мебель, массивная и роскошная, в полотняных чехлах. В таких домах гостиную открывают лишь по самым торжественным случаям, принимают там лишь самых важных посетителей и обсуждают лишь самые важные дела. Читали мою «Габриэлу»? Ну, так гостиная полковника Рамиро Бастоса — точная копия гостиной полковника Франклина.

Итак, мы уселись втроем, и я значительным тоном объявил: прошу, мол, у вас руки вашей племянницы и воспитанницы Аниты.

Полковника, знавшего, что я — женат, хоть и разведен, эта фраза потрясла; дона София же сохранила полное спокойствие. Я поспешил объясниться: не для себя прошу, а для одного моего друга, — ему недостает отваги сделать предложение лично, вот он и заслал меня как бы сватом.

— Да? Ну и кто же он такой? Почем я знаю, что Анита будет с ним счастлива? Чем этот ваш друг располагает, чтобы создать и обеспечить семью? Моей воспитаннице далеко не всякий под пару.

Я ответил, что родители молодого человека, желающего составить счастие Аниты, богаты, но у него самого нет ничего, кроме должности в газете. «Журналист?» — поморщился Франклин, а на лице доны Софии не дрогнул ни один мускул.

— Ну, полковник, обманывать я вас не стану, хоть речь и идет о моем друге. Образцом добродетели его, конечно, счесть трудно... — и я принялся живописать.

Портрет получился так себе, хотя я ни в чем не погрешил против истины: богема, гуляка и бонвиван, страстный картежник и неоднократно бывал замечен в обществе сомнительных женщин. Трезвенником его тоже никак нельзя назвать. Взглядов придерживается левых. Кроме писательства, ничем заниматься не может, а главное — не хочет: одну книжку уже выпустил и грозит разродиться следующими... Я сам понимаю, что партия — не из самых блестящих... Полковник хмурился все сильней и наконец потребовал:

— Назовите мне имя этого наглеца!

«Завтра же отдаст приказ своему беззубому сертанцу», — хохоча про себя, подумал я, а вслух сказал:

— Имя его — Вильсон Линс. Это ваш сын.

Полковник не изменился в лице, только взгляд его стал блуждающим: несомненно, он прикидывал последствия того или иного решения: на карту было поставлено счастье любимого сына и не менее любимой Аниты. Наконец он решил, видимо, что она воздействует на беспутного Вильсона благотворно, спасет его — и повернулся к жене: «Ты все знала?»

Та ответила, что не знала, но догадывалась.

— Ну, хорошо, а что обо всем этом думает Анита?

Он поднялся во весь свой гигантский рост, подошел к двери, рывком распахнул ее:

— Анита! Анита!

Тотчас появилась и Анита, явно подслушивавшая у двери:

— Звали?

...Так вот, сватовство мое оказалось более чем удачным. Мало я знаю таких счастливых супружеских союзов — ну, разве что мы с Зелией.

## Лондон, 1969

Когда умерла Норма, жена Мирабо Сампайо, мы вчетвером — Зелия, я, Нэнси и Карибе — были в Лондоне, гостили у друзей.

Получив скорбное известие, Карибе зашел в писчебумажный магазин напротив, купил общую тетрадь, разноцветных карандашей и принялся рисовать. Все сто ее страниц покрыл он рисунками — лондонские сцены, баиянские сцены, это была его дань памяти верной и доброй подруге. Под каждым рисунком поставил дату создания и свою подпись, отнес тетрадь на почту и бандеролью послал Мирабо, жестоко тосковавшему по Норме — та была ему и жена, и мать, и друг, — неустанно оплакивавшему свою потерю.

Минуло несколько лет, и вот Мирабо выменял четыре или пять рисунков на голландские стол и стулья XVII века, на которые набрел в галерее Рено. Там можно было найти все что угодно: помимо разнообразнейших образцов баиянского искусства и антиквариата, и русскую икру, и французские вина и даже красоток-мулаток, годных и в натурщицы, и в любовницы (Ди Кавальканти, бывая в нашем славном городе, непременно наведывается в галерею с этой целью). Итак, сделка состоялась. Рено окантовал рисунки и вывесил их на продажу. Карибе, увидев на стене свои творения, осведомился у галерейщика:

— Рено, а это-то что такое?

— Как что? Твои рисунки, я их приобрел, и они мне обошлись очень недешево.

— Мои? Да ничего подобного, я к ним отношения не имею.

— То есть как это? Я за них отдал Мирабо...

— Ах, Мирабо! Так бы и говорил! Это его работы. Сам знаешь, он недурно рисует и в совершенстве подделывает мою подпись. Хорошие рисунки, да только не мои. Ты их сними с продажи, а не то мне придется обвинить тебя в мошенничестве.

Рено вне себя от негодования ринулся к Мирабо. Вышел большой скандал — с криками, угрозами и бранью. Мирабо выгнал его вон:

— Убирайся, мерзавец, пока я тебя не пристрелил! Сам ты жулик, и мать твоя была потаскуха!

А в дверях покатывался со смеху Карибе: «Так тебе и надо: подарки не передаривают и тем более не продают».

Ах, сколько упреков пришлось мне выслушать из-за непобедимого моего пристрастия к старым вещам! Бывало, говорит мне Зелия: «Жоржи, этим твоим домашним туфлям давным-давно пора на помойку, ведь это ж срам смотреть, в них ходить нельзя!» — «Твоя правда, — соглашаюсь я, — они каши просят, но зато до чего ж удобные, а новые — измучаешься, пока привыкнешь, и жать будут, а кроме того, эту пару мне когда-то подарила Мизетт или нет, вру, Ангра дос Рейс». Растрогать Зелию ностальгическими воспоминаниями мне не удается, но заговорить ей зубы — вполне, и страшные шлепанцы остаются жить.

До сих пор висят у меня в шкафу рубашки, купленные в Индии в 1957-м, я с тех пор растолстел, они давно и безнадежно мне малы и не сходятся на животе, и все равно — не выбрасываю, а вдруг похудею? Впрочем, на это надежды мало. Галстуки я ношу крайне редко, но зато мне их беспрерывно дарят, и скопилось их столько, что, если каждый день повязывать новый, жизни не хватит перепробовать все. Когда же все-таки приходится в исключительных случаях стягивать шею этой удавкой, я выбираю всегда одни и те же — их всего-то штук пять-шесть, я их люблю, и уверен, что они подходят к любому костюму. В этом я, кстати, заблуждаюсь, ибо менее элегантного человека, чем я, просто нет на свете. Есть у нас одна столичная журналистка — она ведет колонку светской хроники — так вот, мои галстуки повергают ее просто в шок, о чем она сообщает публично и печатно, за что я ее очень ценю. Есть у меня галстук, который я — кажется, один в целом мире — считаю красивым, и куплен он был — вы не поверите! — в 1930-м, когда в Рио впервые приплыл французский лайнер «Атлантика». Любопытствующих пускали на борт, и в пароходных магазинах можно было купить всякую всячину. Вот и я выгреб из кармана последние медяки и присоединил галстук к прочему своему скудному достоянию, где он пребывает и поныне.

Ох, сколько в этом достоянии бесполезной, никому не нужной чепухи, без которой я жить не могу. Уж на что мой отец был демократ по натуре и потому терпимо относился к чужим привычкам и странностям, но даже он порой не выдерживал и говорил матери:

— Никогда не видел, чтобы человек так бессмысленно тратил деньги, просто бросал их на ветер. Откуда это у Жоржи? В кого он пошел? И ты, и я — люди вроде нормальные. Наверно, в Алваро — ему тоже деньги вечно жгли карман. Того и гляди, начнет наш сын зонтики обменивать...

Дядюшка Алваро, о котором шла речь, был его младшим братом — гуляка, транжир, азартнейший игрок, за партией в покер забывавший обо всем на свете. Не лишен он был известной жуликоватости, но впрок она ему не шла, он еле-еле сводил концы с концами, при этом счету деньгам не знал: сколько вынется из кармана тысячерейсовых купюр, столько любимому племяннику и подарит. От другого дяди, Фирмо, я и крузадо не получал, а от третьего, Фортунато, самого старшего из братьев Амаду, и ломаного гроша не видал. У Алваро были причуды, приводившие меня в изумление — это об одной из них толковал мой отец. Я и сам сколько раз видел, как дядюшка уходил с зонтиком старым и потрепанным, а возвращался, тая в уголках губ лукавую усмешку, с новеньким и элегантным. Эти забавы повторялись в каждый дождливый день: куда бы ни шел он — в бар, в ресторан, в гости, в публичный дом — Алваро вешал свой на стойку для тростей и зонтов, а уходя, забирал другой, какой попрезентабельней. Вот полковник Жоан Амаду и опасался, что его сынок унаследует эту черту.

Да нет, не унаследовал, более того, даже не решился сделать такую яркую личность, кумира моего детства, человека в полном смысле слова замечательного, персонажем какого-нибудь романа. Если же он и появляется на моих страницах, то где-нибудь на периферии и едва заметен. Он тоже как бы прикипал к старым вещам: его кашемировая тройка сшита была до Рождества Христова. Все-таки я, наверно, в него пошел.

## Испано-Португальская граница, 1976

Лето. Солнце. Всем семейством катим по направлению к Испании. Обсуждаем различия в характере и обычаях двух народов, населяющих Иберийский полуостров, португальскую меланхоличность, испанский драматизм.

На стенах читаем лозунги и призывы — все еще многочисленные следы свободы слова, которую обрушила на страну Апрельская революция, «революция гвоздик». После стольких лет молчания португальцы все никак не наговорятся всласть. «Солнце будет сиять всем!» — вывел кто-то на стене, но рядом, чуть пониже, некий скептик с помощью баллончика с краской усомнился в этом: «А если дождь?» Мы смеемся — как учтиво ведут полемику кроткие лузитане!

И вот мы пересекаем границу и сразу же, в первом же испанском городке, видим: во всю ширь каменного забора, которым огорожены чьи-то грядки с овощами, сообщается: «Ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя!» Кому же это адресована троекратная ненависть, снабженная еще и восклицательным знаком? Теперь уж ясно — мы в другой стране, здесь чувства яростны, кипят и хлещут через край, на место сдержанной умеренности португальцев приходит бешеная необузданность.

## Париж, 1992

Опаздывая, мчусь на свидание с Эрнесто Сабато[[94]](#footnote-94) — мы договорились вместе пообедать в итальянском бистро. Он прилетел в Париж на открытие своей выставки. Знаменитый аргентинский прозаик увлекся живописью и очень доволен одобрительными отзывами французских критиков и искусствоведов. Еще два года назад в Центре Помпиду состоялась первая выставка его работ, я, разумеется, был на ней и повстречал там Жоржа Райяра, критика строгого и взыскательного. Тот дал очень высокую оценку творчеству Сабато: живописец не уступает романисту.

Эрнесто выскакивает из такси, я бегу к нему навстречу, и посреди улицы, под визг тормозов и рев клаксонов мы обнимаемся.

— Если бы нас задавили, разом кончилась бы латиноамериканская литература, — восклицает Эрнесто.

Мы смеемся. В нашем возрасте уже можно себе позволить трунить над славой, тщеславием и прочей суетой сует. Ему в прошлом июне восемьдесят уже стукнуло, мне — исполнится в нынешнем августе. Мы с ним — очень разные: он, драматически воспринимая действительность, все же не стал пессимистом, ну, а для меня бытие по-прежнему праздник. Мы совсем по-разному видим жизнь, но в жизни нашей было множество совпадений.

За столиком бистро мы вспоминаем прошлое и обсуждаем настоящее — ошеломительные, невероятные перемены в мире... Война в Персидском заливе, Босния, Ельцин... Анализируем ситуации, строим прогнозы, хоть достаточно долго живем на свете, чтобы понимать, какое это бездарное занятие. От войны на Ближнем Востоке незаметно переехали на общие рассуждения. Эрнесто с восхищением говорит об арабской культуре — что было бы с Испанией, если бы не мавры? Но способен ли современный мир понять таинственную реальность мусульманской цивилизации? Раз упомянули про арабов, я по ассоциации вспоминаю, как поэт и журналист Уолли Саломан, бразилец арабского происхождения, в октябре прошлого года брал у меня интервью и заявил тогда, что, по сведениям из надежнейших источников — из дипломатических кругов! — совершенно точно известно, уже решено: Нобелевская премия по литературе будет присуждена аргентинскому писателю Эрнесто Сабато. С тем он и удалился, оставив меня радоваться за собрата по перу. «Нобель», однако, уплыл в Южную Африку, достался Надин Гордимер — думаю, скорей из соображений политических, чем как признание ее вклада в мировую литературу. Эрнесто на это сообщает, что его пять раз выдвигали на рассмотрение Шведской академии, но он всегда знал, что ничего не получит. «Это почему же, — спрашиваю я. — Ты достоин, как мало кто иной». Прихлебнув сицилийского винца, Эрнесто отвечает:

— А вот Артур в интервью заявил, что нет, дескать, не достоин я такой награды.

— Какой Артур?

— Артур Лундквист, это он раздает премии.

Услышав это имя, Зелия начинает хохотать. Эрнесто добавляет, что с тех пор, как съездил в Стокгольм на презентацию шведского издания своего романа «Ангел тьмы», он туда больше ни ногой, чтобы не говорили, будто выхлопатывает себе «нобелевку». Зелия заливается еще пуще. Эрнесто спрашивает, что же это ее так развеселило.

— Совпадения! — говорит моя жена. — Все тот же Лундквист заставил нас исключить Стокгольм из наших маршрутов. Мы с Жоржи не были там Бог знает сколько лет. В последний раз наш родственник Луис, в ту пору второй секретарь посольства — сейчас он посол — прочел в какой-то газетке, что, мол, Амаду приехал в Стокгольм добывать «Нобеля». Ну и в результате мы зареклись ездить в Швецию.

Помимо этих мелких совпадений — ничего себе, мелкие: Нобелевская премия, целый мешок долларов! — были в нашей с Эрнесто жизни и другие, странные и многозначительные «сближения», как сказал кто-то из великих. Ну вот, скажем, Эрнесто живет в Сантос-Лугаресе, очаровательном предместье аргентинской столицы. Да, но и я в 1941-м снимал там домик у одного итальянца, писал биографию Престеса «Рыцарь надежды». Я был удивлен, когда узнал о том, что мы были соседями. А потом увидел одно интервью: журналист спрашивал Сабато, правда ли, что и он живет в том же городке, где жил когда-то автор жизнеописания Луиса Карлоса. И удивление мое сменилось ошеломлением, когда я прочел ответ: не просто в одном городке, а в том же самом доме.

Ладно, положим, это тоже мелочь и случайность. Но не случайно то отвращение, которое испытываем мы оба к военщине. Не случайно, что отвращение перерастает в ужас, когда военщина захватывает власть. Аргентинский президент Рауль Альфонсин не мог бы выбрать на должность председателя комиссии по расследованию злодеяний хунты более достойного гражданина, чем Эрнесто Сабато. Его дом в Сантос-Лугаресе стал оплотом истины и правосудия, сюда стекались показания тех, кто сам стал жертвой диктатуры «горилл», тех, чьи близкие были убиты, замучены или пропали без вести.

От Сантос-Лугареса, свершая наше мысленное кругосветное путешествие в прошлое, переходим к Буэнос-Айресу, вспоминаем дорогого моему сердцу Родольфо Гиольди[[95]](#footnote-95). И для Эрнесто это имя значит немало. Я познакомился с ним в Бразилии, в 1935-м, а потом, после провалившейся попытки поднять в Рио мятеж, он долго сидел в тюрьме. Это был человек достойный, человек порядочный и преданный идее, но и не скованный догмой, свободный от ее нищенски убогих ограничений. Когда и мне пришлось бежать в Аргентину, Родольфо и его жена Кармен стали мне родными людьми, а их дом — моим. Эрнесто тоже знавал его, а сблизился с ним в ту пору, когда вступил в компартию...

— Вот не знал, Эрнесто, что ты был коммунистом.

— Скажи мне лучше, Жоржи, кто не был?

И в самом деле — почти не найдется в Латинской Америке более-менее известных интеллигентов, писателей, художников, политиков левых взглядов, кто в свое время не пошел бы добровольцем в эту армию. В определенный момент каждому из нас казалось, что бороться за счастье народа можно и должно именно и только в ее рядах. Самые лучшие и самые скверные люди из всех, с кем сводила меня моя долгая жизнь, самые достойные и самые гнусные были коммунистами.

Обед наш подходит к концу, незаметно усидели бутылку благородного «Корво». Эрнесто, как человек объективный, не оспаривает превосходства вин итальянских над аргентинскими.

— Matilde y yo les esperamos, a vos, Zelia, a vos, Jorge, en nuestra casa, en vuestra casa de Santos Lugares[[96]](#footnote-96), — произносит он на прощанье, употребив местоимение «vos», что для аргентинца больше, чем простое «ты», и означает особую близость, приязнь, нежность.

В число тех, кого я люблю всем сердцем, кто иногда снится мне по ночам, чью смерть я не устаю оплакивать, входят собаки и кошки, попугай, птичка софре.

Чету мопсов я вывез из Англии: оба носили чрезвычайно длинные и сложные имена, указывавшие на то, что в жилах этих собачек течет по-настоящему благородная, голубая кровь аристократов в пятнадцатом поколении. Но кобелька я перекрестил в Мистера Пиквика, отдавая дань уважения Диккенсу, а сучку назвал Капиту (в память одной из героинь славного романиста Машадо де Ассиза), хотя она не в пример тезке отличалась поразительной верностью своему супругу, да и глаза у нее были не миндалевидные, а, как и положено мопсу, вытаращенные и круглые.

На протяжении девятнадцати лет Пиквик и Капиту следовали за мной как тень, не отходили ни на шаг, лежали у моих ног, если я был дома, рвясь за мною следом, если я выходил, и умирая от истинно собачьей тоски, если мы с Зелией уезжали за границу. Как ни пытались мы скрыть от них наши сборы и приготовления, они не давали себя обмануть, задолго предчувствуя разлуку и впадая в глубокую печаль. Домашние рассказывали, что уже за несколько дней до нашего возвращения супруги вдруг отрешались от черной меланхолии, принимались играть и веселиться, безошибочно предчувствуя, что мы скоро приедем. Где еще найдешь таких верных, таких преданных друзей?

Художник Карибе, обладатель вывезенной из Моравии легкомысленной красавицы овчарки, жестоко страдал от зависти и всячески старался очернить моих англосаксов. Иллюстрируя «Историю любви Полосатого Кота и сеньориты Ласточки», он изобразил не мопсов, а каких-то монстров, нечто среднее между летучей мышью и телефонным аппаратом, свою же проститутку сделал голубоглазой принцессой. Зависть застит взор и портит нрав.

Капиту, столько лет прожив в Бразилии, потеряла британскую сдержанность и покачивала бедрами на ходу, как истая баиянка. Пиквик, переживший супругу на несколько месяцев, до конца дней своих и при любых обстоятельствах сохранял флегматичную надменность лорда. У него было многочисленное потомство — дети и внуки его стяжали себе славу и золотые медали чемпионов породы. Ослепший и оглохший от старости, он благодарно вилял обрубком хвоста, когда я почесывал его за ухом, и до смертного часа сохранил прекрасный аппетит, неизменно пуская слюни, когда приближался к своей миске, — потому я не внял добрым советам и не дал усыпить его. Он умер своей смертью, когда мы с Зелией были в отъезде. Долго еще мне чудилось, что Пик скребет когтями мою ногу, просясь на колени, и слышалось похрапывание Капиту...

В доме у нас, указуя на вкус хозяев, нежно привязанных к этим загадочным тварям, всегда жило несколько кошек. Одну — даму необузданного темперамента и непокорного нрава, помесь перса с сиамкой, — звали Саша. Она начала шляться по крышам в весьма нежном возрасте, когда же неизбежное случилось и пробил час произвести потомство, вспрыгнула на наше супружеское ложе, прямо на живот доне Зелии, и никакими силами согнать ее не удавалось. Пришлось подстелить клеенку и газеты, и Саша родила на животе у моей супруги восьмерых котят.

Она вообще питала к Зелии страсть пламенную и ревнивую: ходила за ней неотступно, что свойственно скорее собакам, а та любила брать ее на руки и подолгу беседовать с нею, задавая нескромные вопросы о Сашиных кавалерах, оравой толпившихся у дверей. Саша отвечала мелодичным, разного тона, мяуканьем — Зелия, судя по всему, сносно владеет кошачьим языком. Сашин отец, гигантский перс, носил имя Дона Флор, ибо по родословной значился кошкой. Когда же выяснилось, что это не кошка, а совсем, совсем наоборот, наш садовник Зука стал называть его Дон Флором. Нетрудно догадаться, что его сиамку-жену звали Габриэла, а первого ее мужа — Насиб.

Он был одним из самых верных моих друзей и предан был не меньше, чем Саша — Зелии, и проводил со мной все время, что отведено у него было для двуногих. Видя, что я сижу на веранде нашего дома в Рио-Вермельо и стучу на машинке, Насиб неизменно взлетал на шаткий столик и укладывался на груду отпечатанных листков, тихо мурлыча и полагая, очевидно, что помогает мне творить. Если звонил телефон и я вставал из-за стола, Насиб приоткрывал глаза и ждал, когда я вернусь, а не дождавшись, шел на поиски, понимая, что с творчеством на время покончено. Погиб он, подавившись рыбьей костью. Кормили его до отвала, но он не мог отказать себе в удовольствии пошарить по мусорным свалкам, что и привело однажды к такому вот печальному финалу.

А Саша прожила около двадцати лет: для кошки это — возраст Мафусаила, и всегда была окружена свитой поклонников, с которыми обращалась весьма сурово, ибо нравом отличалась, повторяю, крутым, чтобы не сказать бешеным. Однажды мы привезли из Англии кота и кошку с острова Мэн, передвигающихся скачками, как кролики. Саша мрачно наблюдала, как мы возимся с чужестранцами, расточая им ласки и заботы, а потом, ополоумев от ревности, бросилась на англичанина, которого беспечная Зелия опустила наземь, и в один миг перебила ему спинной хребет. Потом взглянула на остолбеневшую хозяйку, громко мяукнула и взвилась по столбу на крышу. Не прошло и суток, как за первым убийством последовало второе. Я всерьез опасался, что она, ревнуя к Зелии, когда-нибудь кинется и на меня, но Саша, судя по тому, что этого не случилось, кое-какие права за мной все же признавала.

Были у нас и две ручные цапли, приходившие на зов, и здоровенная жаба-каруру, жившая в саду и являвшаяся на веранду в гости. Когда Зелия гладила ее по спинке, она раздувалась, вдвое увеличиваясь в размерах. Была и глуповатая, но добрая боксериха Вентания, обожавшая спать в гостиной, что ей в видах сохранения чистоты и порядка было строго-настрого запрещено. Вентания все равно проникала в запретную зону и пряталась на диване у меня за спиной. Когда мы надолго уехали в Европу, она затосковала, стала отказываться от еды и вскоре умерла, не вынеся разлуки.

Были и два руанских селезня, звавшиеся Братья Карамазовы и отличавшиеся, помимо красоты, редкостной похотливостью: они все время пытались овладеть местными гусынями, которые были гораздо крупнее французских волокит. Братья-разбойники, завидев жертву, налетали на нее, зажимали, и покуда один держал, второй делал свое черное дело. Почему-то мой селезень всегда оказывался проворнее и успевал раньше, что приводило Зелию в бешенство.

Наш друг Уго дель Карриль, отправляясь в путешествие, оставил нам — мы тогда жили в Рио — прелестную, совсем ручную и безумно дорогую птичку софре. Она не признавала клеток, сидела у меня на пальце, на лбу у Пабло Неруды, щипала за руку Симону де Бовуар, подпевала Жоану Жилберто. Иногда вылетала через открытое окно и подолгу порхала над пляжем Копакабаны, но неизменно возвращалась. Приехав, Уго прислал за нею и получил отказ: мы уже так привыкли к софре, что жизни без нее не представляли. Я, сделав скорбное лицо, наврал, что она улетела, и потом увез ее с собой в Баию, где она, насвистывая босанову, прожила еще лет двадцать.

А красно-зелено-золотой попугай по имени Флоро был со мной еще дольше. Он, конечно, был самкой, если судить по тому, как глубоко, страстно, ревниво он — она? — меня любил и какую лютую злобу вызывали у нее — у попугая? — милые девицы, приходившие скрасить мое одиночество и согреть мою холостяцкую постель. Когда же Зелия переехала ко мне на авениду Сан-Жоан, неистовая Флоро преследовала ее по всей квартире, норовя клюнуть побольней, а в перспективе — изгнать из нашего дома навсегда. Походка у попугая была вразвалочку, как у подгулявшего боцмана, но двигался он стремительно, и Зелия в страхе забиралась на стулья. В конце концов он смилостивился и смирился с ее присутствием, но никогда не позволял Зелии фамильярничать, тогда как я мог делать с ним — с нею? — все что угодно. Я брал Флоро в руки, совал его голову себе в рот, гладил и почесывал брюшко в поисках несуществующих блох — он все сносил. В клетку он уходил только на ночлег, а весь день без устали носился по квартире или перепархивал с пальца на палец.

Попугай вообще — национальная бразильская птица, персонаж бесчисленных сказок и легенд, мудрец и озорник. У меня перебывали и амазонская парочка Титио и Тития, и красавец из штата Маракана, болтавший без умолку, но Флоро был и остался самым любимым. Он попал ко мне из дома терпимости, и этим, надо полагать, объясняется его ревнивая нежность.

...Полковник Жоан Амаду, приехавший со своей фазенды, прогуливался в «квартале красных фонарей» и вдруг услышал, как сидящий в клетке попугай гнусаво и пронзительно отпускает забористые многоэтажные ругательства, распевает совершенно непристойные песенки и рекламирует «фирменные блюда» заведения — вроде таких, например: «Тер-р-реза станет р-раком! Р-раком!» Полковник пришел в восторг, решив, что лучшего подарка для Жоржи не придумать, и спросил, сколько стоит чудесная птица. Мадам сообщила, что всего золота мира не хватит, чтобы купить попугая, но при виде пятисотенной мнение свое переменила, сказав: «Еще одну такую же — и можете забирать бедняжку». — «Как его зовут?» — осведомился мой отец и услышал, что имен у него множество — Шестьдесят Девять, Минет, Стальной Зад — словом, девицы-бесстыдницы изощрялись как могли.

Так вот, по прихоти полковника Амаду, очарованного тем, как виртуозно сквернословит попугай, он и вошел в мою жизнь — бурную и сумбурную. Мы жили с ним душа в душу, он в буквальном смысле все хватал на лету, обнаруживая поразительные способности. Вскоре он вместо непристойностей уже выкрикивал политические лозунги не хуже заправского агитатора-активиста и призывал голосовать за коммунистов.

У нас в доме он мастерски свистал собакам, говорил «кис-кис-кис» кошкам и «цып-цып-цып» — курам и вел себя, в общем, вполне прилично. Лишь изредка при слове, например, «кабаре» вспоминалась ему прошлая жизнь, и тогда он нес такое, что волосы вставали дыбом: орал, матерился, горланил похабные песни, хрипло сообщал, что «Гр-р-расинду вчера тр-р-рахнули в кор-р-рале», звал какую-то Лауру, а поскольку та не появлялась, сердился и кричал: «Лаур-ра, где ты, б... позор-рная?!»

После того как не стало Пиквика и Капиту, я решил больше не заводить в доме никаких зверей. Слишком больно и трудно расставаться с ними навсегда, слишком мучительно терять. Лучше уж вовсе их не иметь.

## Рио-де-Жанейро, 1930

Как и у каждого, наверно, случались, и не раз, в моей любовной практике осечки — большего унижения не припомню. Бывало, виной всему становилась нестерпимость вожделения. В таких случаях почти всегда удавалось справиться с собой, доказать свою состоятельность, показать класс, подтвердить звание мужчины. Случалось, однако, что меня постигало полное фиаско: поникшие паруса не желали наполняться ветром, болтались бессильно и бесполезно, и горькую чашу позора приходилось испивать до дна.

Одну такую неудачу не забуду никогда. До сих пор у меня в ушах звучит голосок проснувшегося посреди ночи ребенка... С Марией из Монтевидео я познакомился на пляже Копакабаны. Она неукоснительно появлялась там каждое утро, в девять утра, в целомудренном — закрытом, с юбочкой! — купальном костюме, ведя за руку мальчика лет трех. Покуда он носился по пляжу, строил из песка замки и рыл тоннели, Мария принимала мои ухаживания и кокетничала — другого времени у нее для этого не было, да и места тоже: муж ее, представитель какой-то уругвайской фирмы, работал дома, превратив гостиную в кабинет. Ее нельзя было назвать красавицей, но она так мило смеялась, показывая ровные белые зубки, и распевала танго: «Танго родилось в Уругвае, аргентинцы его у нас украли».

Я лежал с нею рядом на песке, улучив минутку, когда сына не было поблизости, пожимал ей ручку, срывал поцелуи. Все авансы мои встречали благосклонный отклик, но дальше дело не шло, свидания она так и не назначала. Мария из Монтевидео боялась мужа, ревнивого, как сатана: он закатывал скандалы, стоило ей кому-нибудь улыбнуться на улице, грозил плеткой. Помимо плетки, он, как и всякий гаучо, не расставался с восьмизарядным револьвером и обещал: «Убью в случае чего как собаку и сам застрелюсь».

Но вот в один прекрасный — действительно прекрасный — день она сообщила мне добрую весть: уругвайского Отелло вызывают в Монтевидео, она проводит его на пароход, помашет платочком с пирса, убедится, что швартовы отданы, и на две недели станет свободна, как птица. Она сообщила мне адрес. В девять вечера я должен быть у нее, дверь будет не заперта, а лишь притворена. Толкнуть и войти на цыпочках, чтобы не разбудить сына, который спит в столовой.

Я отыскал скромный дом в тупике, открыл дверь, вздохнул с облегчением — муж уплыл, все идет как намечено — оказался в маленьком коридорчике и тотчас попал в объятия Марии. Под тонкой тканью ночной сорочки ощутил ее прильнувшее ко мне тело, и мы впервые поцеловались по-настоящему. Это произвело на меня впечатление столь ошеломляющее, что я позабыл про ее наставления, от неосторожного шага половица заскрипела, и сейчас же раздался голос мальчика: «Папа! Папа!» Я похолодел. Мария втолкнула меня в спальню, а сама пошла успокоить сына. Поняв, что папа не вернулся, он расплакался, горько и безутешно. Мать склонилась над ним, заворковала по-испански, стала баюкать его, запела колыбельную — и от ее простеньких слов и незамысловатой мелодии на меня повеяло теплом, которое таинственным образом сковало полярным льдом главный орган.

В спальню она вошла уже голая — рубашку сорвала с себя в коридоре, а я, как был, в пиджаке и при галстке, присел на край кровати. Мария стала помогать мне разоблачиться, потом протянула руку и с изумлением обнаружила — ничего хорошего она не обнаружила, так, лоскутки и тряпочки, ветошь да рухлядь. Любовник ее был к любви не готов. Выказывая немалый опыт, она пришла ко мне на помощь, пустила в ход самые испытанные, самые безотказные средства. Ничего, ровным счетом ничего, никакого эффекта.

Ни волшебная ручка, ни уста царицы Савской покойника оживить не смогли. Боже милостивый, что это была за мучительная ночь. Женщина, распалясь, как кошка в течке, дойдя до крайней и грозной степени возбуждения, впивалась в меня поцелуями, царапалась, кусалась — не могла поверить, что здоровый восемнадцатилетний малый остается безответным, бесчувственным, бессильным, но чем больше она старалась, тем глубже делался напавший на меня столбняк. Так ничего и не добившись, она принялась мастурбировать передо мной, оцепенелым и оледенелым, и, воспользовавшись этим, я поспешно, как попало, напялил на себя одежду и выметнулся прочь, а вслед мне донесся тихий стон. От моих шагов мальчик снова проснулся и позвал: «Папа! Папа!»

Да, мне было восемнадцать лет, я хотел всегда и всегда был готов, и вечно был на полувзводе, парень был хоть куда — лишь бы было куда — и вот так осрамился. Я и сейчас слышу, как плачет этот мальчик оттого, что папа не приехал. Хорошим отцом, наверно, был тот уругваец, любящим и заботливым. Сволочь такая.

## Баия, 1973

Из Каракаса звонит Матильда, вдова Пабло Неруды: она прилетит к нам на несколько дней, хочет со мной поговорить о чем-то. Всего два или три месяца — точно не помню — минуло со дня смерти Пабло, скончавшегося сразу же вслед за падением Альенде. Матильде удалось спасти от Пиночета книгу воспоминаний — последнее, что создал Пабло, и по дипломатическим каналам переправить ее в Венесуэлу, Мигелю Отеро Сильве. Оттуда, из его дома, она и звонит мне. Мы с Зелией встречаем ее в аэропорту. Никто не знает, кто она: в паспорте на имя Матильды Уррутиа фамилия Неруда не значится.

Вместе с Мигелем Отеро она подготовила к печати рукопись Пабло «Признаюсь: я жил», но прежде чем передать ее издателям, хочет посоветоваться со мной насчет кое-каких мест, касающихся Кубы и Китая: «Пабло доверял тебе, и я хочу знать твое мнение».

Мы показываем ей нашу Баию, и волшебный город, который раньше видела она только мельком, очаровывает ее. Минет несколько лет, и она, зная, что жить ей остается совсем недолго, побывает здесь еще раз — попрощается. Она подарит Зелии старинный серебряный пояс, поцелует меня, и больше мы уже не увидимся.

А в Китае мы были в 1957-м, когда после фарса с расцветанием тысячи цветов — Боже, сколько надежд породила тогда эта кампания! — уже тлело и занималось то, что вскоре стало называться «культурной революцией». Мы видели, как встревожены наши друзья — Дин Лин, Эми Сяо, Ай Цин. Потом они исчезли один за другим, сгинули бесследно еще раньше, чем мы покинули Поднебесную Народную Республику. Пабло от всего этого напрочь лишился обычного снисходительного благодушия. На прощальном банкета, когда товарищ из правительства предложил тост за «Пабло Неруду, величайшего поэта обеих Америк, и Мао Цзедуна, величайшего поэта Азии», он послал подальше учтивость с благоразумием и тягучим своим голосом ответил, что вряд ли можно считать таковым человека, написавшего всего-навсего шестнадцать стихотворений — именно тогда я и узнал, каков полный и точный объем поэтической продукции «великого кормчего».

И кубинская история известна мне была во всех подробностях. Знал я, кто сочинил и кто подписал гнусное заявление «творческой интеллигенции», знал и то, что изгнанник Рене Депестр, нашедший приют на «острове Свободы», свою подпись отказался поставить наотрез, как ни уговаривали его, как ни стращали...

Внимательно прочитав вместе с Матильдой эти главы, изучив каждый абзац, взвесив каждое слово, я высказал ей свое мнение. Из Барселоны звонила Кармен Бальсельс, просила поскорее прислать рукопись, советовалась насчет того, какому издательству предложить последнюю, посмертную книгу Пабло. Матильда выбрала «Галлимар» — так поступил бы и сам Неруда.

Мы сразу условились, что сохраним ее пребывание в Бразилии в тайне, но накануне отлета у нас в Рио-Вермельо побывала наша приятельница, журналистка Жюли, и Матильда дала ей интервью — с тем условием, что опубликуют его, когда она уже будет в Сантьяго.

После ее отлета и до того, как газета «Тарде» напечатала интервью, появились в моем доме «трое в штатском». Не предложив им присесть, я осведомился, чем обязан вниманию федеральной полиции. Они, как выяснилось, хотели всего лишь удостовериться, что чилийская гражданка сеньора Матильда Уррутиа, неделю гостившая у вас, сеньор Амаду, — это вдова Пабло Неруды. «Она самая», — отвечаю неприязненно.

Потом сообразил: они хотели дать мне понять, что были в полном курсе дела, ушами не хлопали, а беспокоить ее сочли излишним. Я принял все это к сведению, оценил деликатность спецслужбы, и троица удалилась.

## Гояния, 1954

Время беспощадно — забвение коснулось и такой неординарной фигуры как Габриель д’Арбуссье, мой друг, которого я всегда помню и часто вспоминаю. В нем гармонично сочетались изысканность французского интеллектуала и могучая жизненная сила африканца, и соединение это произвело огромное влияние на всю чернокожую интеллигенцию послевоенной поры. О том, какое воздействие оказывал он на женщин, выстраивавшихся в очередь к его постели, я лучше умолчу. Мне очень хочется знать, какая судьба постигла начерченную им карту новой Африки и где рукопись его воспоминаний.

Он представлял Сенегал на Ассамблее франкоязычных народов, был ее вице-президентом и генеральным секретарем Африканского демократического движения — партии, боровшейся за независимость стран Западной Африки, входил в бюро Всемирного совета мира, обладал исключительным ораторским дарованием. В какой-то момент начались у него серьезные расхождения с бонзами французской компартии — те выдвинули программу, с которой никак не могли согласиться африканские лидеры: речь шла о том, что как только коммунисты захватят власть во Франции, национально-освободительная борьба в колониях не только потеряет всякий смысл, но и будет движением вспять, ибо после вселения коммунистов в Елисейский дворец колонии начнут пользоваться всеми благами социализма. Габриель д’Арбуссье резко возражал против такого подхода, считал, что это колониализм в чистом виде. И его отношения с Морисом Торезом и Лоран Казанова испортились вконец. Вожди ФКП постарались окольными путями отрешить мятежного сенегальца от политики. Черная полоса настала тогда в его жизни, и я с гордостью вспоминаю, что пришел на помощь затравленному — пригласил его приехать в Бразилию, в Гоянию, где под эгидой нашей компартии затевался Национальный конгресс деятелей культуры. Во главе оргкомитета стоял романист Миэсьо Тати, я же был «серым кардиналом» и диктовал ему волю партии.

И вот там, в Гоянии, разговорившись о будущем Африки, Габриель рассказал мне, что занят сейчас созданием новой политической карты черного континента. Я увидел почти завершенную работу. Идея была в полном смысле слова революционная. Но, наверно, именно поэтому, когда страны Африки одна за другой освободились от колониальной зависимости, обрели независимость, идею эту и похоронили. И карта исчезла бесследно, ни разу больше не слышал я о ней даже упоминания. А между тем придумано все было очень просто и дерзко и основывалось на неопровержимых доказательствах. Покуда существуют прежние границы, независимость останется пустым звуком, а власть метрополий — неприкосновенной: они будут использовать этническую рознь, племенную вражду. Габриель д’Арбуссье предлагал перекроить карту, прочертить между странами новые границы, которые соответствовали бы расовой и социальной реальности, а каждая из стран, обретя единство, смогла бы добиться и демократического устройства и экономического процветания. Габриель отдался этой идее всем сердцем.

И все получилось так, как он предсказывал: независимость, пришедшая на континент, прочерченный старыми, колониальными границами, не принесла ни демократии, ни процветания, не разжала стальные тиски угнетения. Новорожденные государства начали братоубийственные войны, пошла межэтническая резня — вспомните хоть «республику Биафра». Едва ли не везде установились чудовищные диктатуры, ухватила власть единственная правящая партия — левая ли, правая, это уж неважно: одно другого стоит, и Африка стала тем, чем стала, и действительность превзошла самые мрачные ожидания: это уж не третий, а какой-то четвертый мир... А новым лидерам негритюда удалось то, с чем не справилось в свое время руководство ФКП — мало-помалу Габриель д’Арбуссье оказался вытеснен из политической жизни. Был министром юстиции Сенегала, а окончил свои дни послом.

В 1966-м он — в ту пору заместитель генерального секретаря ООН — прилетел в столицу Бразилии на конференцию, посвященную борьбе с апартеидом. Уик-энд провел у нас, в Баии, немного развеялся, мы снова услышали его неповторимый смех, еще раз обсудили проблемы, не дававшие ему покоя — проблемы Бразилии под гнетом военной хунты, проблемы Африки, те самые, которые предвидел и предсказал. Именно тогда он дал мне прочесть рукопись — первую часть своей книги воспоминаний.

...Французский генерал, командующий войсками метрополии, губернатор Западной Африки, полюбил красавицу-негритянку, и от любви этой родились двое детей, мальчик и девочка. Они учились и воспитывались во Франции, под присмотром сестры генерала, оказавшегося для своих чернокожих детей отцом не номинальным, а настоящим. Девочка выросла, постриглась в монахини, стала аббатисой монастыря на Корсике. Габриель изучал право, занялся политикой, и в борьбе за независимость континента ни один африканский лидер не сыграл роли столь значительной.

Не знаю, довел ли он до конца свои воспоминания. В первой части было ровно девяносто страниц на машинке. Габриель не послушал меня, не опубликовал их, — хотел издать всю книгу целиком: о политике, о борьбе в парламенте и в прессе, о том, как в союзе с генералом де Голлем отстаивал независимость Алжира, о страсти к свободе, о битве за демократию, за соблюдение исконных человеческих прав. Да, такая книга могла бы многое объяснить, о многом заставила бы задуматься, стала бы настоящим событием. Первая же часть рассказывает о детстве африканского мальчика.

Но этот рассказ привел меня в восторг. Дом генерал-губернатора, роскошный и примитивный, где на свободе разгуливают тигры и летают птицы... Мать, в которой таится столько нежности и столько силы... Дядюшка, чувствующий себя своим среди духов-ориша... Явь, больше похожая на сон, и действительность, напоминающая сказку. Смешиваются воедино кровь, культуры, цивилизации, проникают друг в друга религии. Это гимн синкретизму, это блистательная апология метисации.

Какая судьба постигла рукописи Габриеля д’Арбуссье? Где они и сохранились ли? Увидят ли когда-нибудь типографский станок? Да и сам их автор, в ту пору посол Сенегала в немецкоязычных странах — обеих Германиях, Швейцарии и Австрии, окончил жизнь при загадочных, до сих пор невыясненных обстоятельствах.

Дня не проходит, чтобы я с тоской не вспоминал этого человека, его неповторимую улыбку, его вкус к жизни, воспринимаемой как бесконечная череда приключений, открывающей все новые и новые возможности... Дня не проходит, чтобы я со светлой грустью не подумал об этом человеке. Габриель д’Арбуссье был много крупнее, чем роль, которую довелось ему исполнить на этом свете.

## Самарканд, 1951

Мы в гостях у Шахерезады, в царстве «Тысячи и одной ночи», в городе, где высятся дворцы и минареты, живут султаны и одалиски. Я брожу по их следам, я вижу, как мелькают на узеньких улочках смутные тени: где-то здесь, в предместье, родился, говорят, Тамерлан, этот город брали когда-то приступом воины Александра Македонского. Я — в Самарканде.

Происходило бы все это в «мире капитализма», на каждом углу зазывали бы нас отведать экзотического восточного разврата, и бесчисленные шахерезады демонстрировали бы стриптиз, но, по воле Аллаха всемилостивого и милосердного, мы — в Узбекистане советском и социалистическом. Нравы здесь строгие, сказал бы даже — пуританские, хотя пуритан сроду в Азии не бывало. Разврат — привилегия руководителей, а простой народ пусть обходится подручными средствами. И вместо «танца живота» или «семи покрывал» нам покажут самого знаменитого в республике певца, верней, народного сказителя.

Для демонстрации братской дружбы, объединяющей народы СССР, для доказательства того, как расцвела культура на некогда отсталых окраинах империи, никого нет лучше этих акынов и ашугов — узбекских, туркменских, азербайджанских, таджикских, киргизских бардов. Обставляется все это пышно и торжественно: они приезжают в столицы соседних республик, выходят на сцену и, сами себе аккомпанируя на каких-то диковинных, неведомых мне инструментах, похожих на арабские гитары, речитативом исполняют свои бесконечные произведения. Мне они живо напоминают наших бродячих певцов с Северо-Востока, только эти — старики с длинными седыми бородами: чем старше, тем, значит, славней и уважаемей.

Барду, доставшемуся на нашу долю, скоро сто лет, но выглядит он моложе, и я говорю нашей переводчице Марине Кострицыной, что он, наверно, просто цену себе набивает. Зелия дергает меня за рукав, призывая к порядку, сказитель уже настраивает инструмент, звучащий еле слышно, и затягивает нараспев некое песнопение, которое сопровождающий нас молоденький беленький толмач с таким живым и лукавым взглядом, словно он не из Москвы, а из Рио, переводит на русский, а уж Марина Кострицына — на португальский.

Первые две-три... — ну, ей-богу, я не знаю, как их назвать: баллады, что ли — воспевают красоты природы и самоотверженный труд колхозного крестьянства на благо отчизны. Потом следует гвоздь программы, фирменное блюдо — гомерическая по размерам и по количеству превосходных степеней поэма в честь товарища Сталина, отца народов, творца Вселенной. Восхваления нарастают, идет бурное крещендо, дальше вроде бы уж и некуда. Надтреснутый старческий голос негромок и монотонен, но зато переводчик по-русски излагает содержание звонко и весело. Марина переводит, сохраняя ритм, который он задает.

Но вот голос певца крепнет, и пройдоха-переводчик тоже прибавляет громкости. «Сталин — полководец Победы, рядом с ним Александр Великий — не более чем рядовой копейщик... Сталин — солнце... Сталин — столп мироздания...» Сказитель вдруг роняет свой инструмент, очень живо жестикулирует, он уже кричит. Кричит и переводчик, в точности копируя его движения, которыми тот сопровождает новый залп славословий: «Сталин освободил народы из неволи... Сталин спас человечество...»

И тут сидящий в первом ряду неподалеку от нас худощавый, с реденькой бородкой престарелый узбек вдруг вскакивает на ноги и что-то возмущенно вопит. В голубых славянских глазах растерявшейся Марины — изумление. Громовой хохот зала. Марина, задыхаясь от смеха, переводит:

— Сказитель говорит, что больше не может терпеть — ему нужно пи-пи.

## Тбилиси, 1948

Где пьют больше всего — в Москве, в Киеве, в Тбилиси? Много наслушался я грузинских тостов и застольных историй, кое-какие запомнил, а одну хочу поведать вам. Я неизменно пользуюсь ею, когда речь заходит о дружбе, но от длительного употребления она не сносилась нисколько.

Итак, рассказывают, что в один прекрасный зимний день гостивший в Грузии видный советский археолог, член Академии наук, гулял по старому городскому кладбищу, держа в одной руке блокнот, куда заносил свои ученые заметки и наблюдения, а в другой — карандаш. Он переходил от склепа к склепу, от надгробия к надгробию, от одного обелиска к другому и все чего-то записывал в блокнот, ибо готовил фундаментальную научную работу об этом городе мертвых.

И вот заметил он некую странность, присущую надписям на каждом могильном камне, на каждом надгробии. На склепе, где упокоился первый тифлисский богач, выбито было: здесь лежит такой-то, родился, скажем, в 1834 году, отошел в лучший мир в 1904, всей жизни его было семь лет. «Ошибка!» — смекнул наш ученый, тут же, благо карандаш и бумага были под рукой, проделал несложные вычисления и получил результат: не семь, а семьдесят! И у следующей мраморной плиты, под которой спала вечным сном баронесса Ирина Москович Калининова[[97]](#footnote-97), пришедшая на этот свет в 1812 году, а покинувшая его глубокой старухой, в 1906-м, заметил археолог ошибку: надпись гласила, что лишь двадцать вёсен отпустил баронессе Всевышний. Снова ученый в столбик вычел из одной даты другую и установил, что Калининова прожила девяносто четыре года. Опять ошибка! И так повторялось чуть ли не на каждом надгробии: срок пребывания в сей юдоли у всех был указан меньший, чем на самом деле провел в ней усопший. И исключения коснулись лишь двух могил — и обе были бедные, даже убогие. В одной лежала швея Катя Такая-То, в другой — почтальон Алексей Игнатьев. Тут все совпало почти что год в год.

Наш академик в негодовании отправился к смотрителю кладбища, забытому властями старику без возраста, и потребовал объяснений: отчего это в общественном месте без конца повторяются такие вопиющие ошибки? Что за недосмотр? Старик прокашлялся, вперил в вопрошавшего пристальный взгляд и сказал:

— Разве не знаете, что в зачет идут лишь годы, отданные и посвященные дружбе? Все прочее — время, потраченное впустую, убитое без проку и смысла. Это вообще не жизнь, а чистилище, а может быть, и преисподняя.

По завершении рассказа сдвигаются бокалы, и присутствующие пьют за дружбу, истинную соль жизни.

## Нью-Йорк, 1937

На некоем действе, устроенном для того, чтобы собрать деньги для испанских республиканцев, меня представили Джону Дос Пассосу: он только что с фронта и вскоре возвращается под Гвадалахару. Он рассказывает, как трудно законному правительству Испании противостоять напору франкистских мятежников, которых щедро поддерживают Гитлер и Муссолини.

Прочитав роман Дос Пассоса «Манхеттен», я стал горячим поклонником писателя и сейчас, чтобы найти какие-то точки соприкосновения со своим идолом и кумиром, я спрашиваю о его португальском происхождении — язык Камоэнса, единственное, пожалуй, что нас сближает. Нет, затронуть эту струнку в его душе мне не удается, он отвечает мне готовой и затверженной фразой:

— Португальцем был мой дед, по-португальски говорил мой отец, а я — американец из Чикаго.

Он произносит эти слова по-испански, с сильным американским акцентом, и первая попытка сближения не удается. А других мне судьба не послала — я никогда больше его не встречал, хоть был и остаюсь восторженным почитателем романиста, открывшего новые горизонты в литературе ХХ века.

Приходит минута, когда понимаешь, что большая часть тех, кого ты любил, с кем дружил, уже там, а ты по недоразумению — все еще здесь.

## Париж, 1948

Одно-единственное недоразумение не могло испортить сердечных и уважительных отношений, сложившихся у нас с мадам Мадлен Сальваж, владелицей «Гранд-Отеля Сен-Мишель», помещавшегося в 5-м округе города Парижа, в доме № 19 по улице Кюжа.

Коса нашла на камень в тот миг, когда я, прибыв в Париж, обнаружил, что единственная на весь шестиэтажный отель ванная превращена в подобие камеры хранения. Когда я пригрозил, что тотчас уеду, Мадлен согласилась вернуть ванную в первоначальное состояние. Она любила литературу, а мой приятель, художник Карлос Скляр, преподнес ей экземпляр «Бескрайних земель» (в переводе на французский «Terre Violente») и сказал, что я — писатель, а писателей мадам Сальваж уважала. И тем не менее чисто бразильская проблема ежедневного мытья была решена не полностью: в самый ответственный миг густо намыленный жилец обнаруживал, что горячая вода из крана не идет, ибо перекрыта рачительной и экономной хозяйкой гостиницы.

«Гранд-Отель Сен-Мишель» был пристанищем и оплотом португальских и латиноамериканских коммунистов, в основном — художников и писателей, всех не упомнишь и не перечислишь, список постояльцев будет слишком длинным. Николас Гильен и Жустино Мартинс, испытанные и удачливые волокиты, каждый день притаскивавшие в свои логова новую добычу — лифта в отеле не было, и бедные девушки должны были карабкаться по крутым ступеням под испытующим взглядом мадам, пользовались ее особой благосклонностью. После победы барбудос Николас пригласил ее на Кубу, и все на чудном острове привело Мадлен в восхищение, все, за исключением речи Фиделя, длившейся шесть часов. Надо признать, это и вправду чересчур, но мадам Сальваж осталась пылкой поклонницей кубинской революции.

Нравом она отличалась необузданным и вспыльчивым и, как базарная торговка, орала на постояльцев, не плативших в срок, грозя выкинуть их со всем барахлом на улицу. Дальше угроз дело не шло — была мадам крута да отходчива. Послушав однажды ее бешеные вопли и брань, я осведомился, в чем причина такой неистовой злости, и услышал в ответ, что она еще не получила в этот день своей порции сперматозоидов. Настоящий же роман, исторгавший у меня слезы умиления, на моей памяти был у нее только с уругвайским писателем Франсиско Спинолой, который жил в «Сен-Мишеле» годами, оплачивая счета исключительно любовью — мадам очень высоко оценивала и то, чем наделила его природа, и то, как умело он этим пользовался.

Когда же минуло целых шестнадцать лет с того дня, как нас попросили покинуть пределы Французской Республики, и мы с Зелией вновь оказались в Париже, она приняла нас как родных и не взяла за постой ни сантима: это ли не лучшее доказательство того, сколь святы были для мадам узы дружбы?! Наезжая в Париж, мы неизменно навещаем ее. «Гранд-Отель Сен-Мишель» процветает, душ теперь есть в каждом номере, лифт приделали. Мадлен потащила Зелию по всему своему заведению, все ей показала, вламываясь в комнаты к постояльцам без стука, и Зелия только хлопала глазами при виде того, какие картины глазам ее представали. В один из таких вот визитов я рассказал Мадлен об одном из ее давних постояльцев, о Роберто Гусмане, некогда — юном коммунисте и одном из лидеров левого бразильского студенчества.

— Помните Роберто? Он теперь министр торговли.

— Подумаешь, важная птица — министр торговли! Вон Марио Соареш — президент Португалии, а еще не было случая, чтобы он, бывая в Париже, не навестил меня.

Марио был одним из многих нищих изгнанников, обретавшихся под кровом «Сен-Мишеля» и впоследствии узнавших громкую славу и мировую известность. Какая там гостиница — храм науки, обитель муз, Парнас и Олимп!

...Помню китайца Лю — он был в гостинице одновременно и портье, и боем, и коридорным, и вообще всем, что вам будет угодно. Жил на площадке лестницы и долгими алчными взорами провожал дам, под руку с постояльцами поднимавшихся в номера, мысленно обладая каждой. Днем он сидел за стойкой и отвечал на телефонные звонки, передавая messages и подзывая постояльцев. Зелия уличила его: если мне звонил мужчина, Лю, хорошо ко мне относившийся, вопил на всю гостиницу: «Сеньор Жоржи, вас к телефону!», если же в трубке звучал женский голос, поднимался в номер и сообщал о звонке потихоньку, таинственным шепотом. Зелия не раз клялась задушить его собственными руками.

Узнав, что нас высылают из Франции, мадам Сальваж разрыдалась на груди Зелии, причем так бурно, что потревожила младенческий сон Жоана Жоржи. Предложила нам денег — все свои сбережения... Изгнание, чужбина, нужда — а вот поди ж ты: нам было хорошо тогда в «Сен-Мишеле», мы были молоды, были счастливы...

## Париж, 1971

Неизменно приветливый и учтивый Тан служит официантом в китайском ресторане, находящемся как раз напротив Сорбонны, рядом с Музеем Клюни. Мы — давние его завсегдатаи: полюбили этот ресторанчик еще со времен нашего изгнания. И теперь, приезжая во Францию, именно там открываем наш Парижский сезон.

И много лет подряд скромный и быстрый, застенчиво улыбающийся Тан подает нам аперитив «за счет заведения», всегда сажает за наш любимый столик в углу. Давно мы знаем его, порой обмениваемся любезностями или глубокомысленными замечаниями о погоде, долгих разговоров не вели никогда, и немудрено — Тан снует от стола к столу, обслуживает посетителей, где уж тут беседу вести.

Но вот однажды, убрав со стола пустую посуду, он, прежде чем подать десерт, вдруг приблизился к нам чеканной поступью, значительно откашлялся и произнес небольшую, но торжественную речь. Сообщил, что он — никакой не китаец, как мы всегда думали, а вьетнамец и круглый сирота, а потому...

— Я желаю вам сообщить, что выбрал вас себе в родители.

После чего он облобызал в обе щеки Зелию: «Бонжур, маман!», проделал то же самое со мной: «Бонжур, папґа!» — и мы, так вот внезапно обретя сыночка, были искренне тронуты.

Потом он женился на француженке Терезе, и мы, естественно, были на свадебном пиру, ели какие-то немыслимости. Тан оставил свое ремесло гарсона, переехал из Парижа в Клиши-су-Буа и на каждый Новый год присылает нам фотографии, где снят со всем своим постоянно увеличивающимся семейством. Наш вьетнамский сынок подарил нам уже четырех внуков.

## Панама, 1973

С одной стороны, давать советы, когда тебя об этом не просят, дело гиблое. Что за самонадеянность такая — учить уму-разуму тех, кто, быть может, не глупей тебя?! Но если речь идет о путешествиях, следует сделать из этого нерушимого правила исключение, ибо умный учится, как известно, на чужих ошибках. А у человека, на чем-либо погоревшего, возникают обязательства перед ближними. В данном же случае совет исходит не только от меня, — опытом своим, бесценным и печальным, делится тот, чьи познания в области путешествий многократно превосходят мои. Его зовут Хулио Париде де Бернабо, в миру — художник Карибе, не раз уже возникавший на этих страницах. Итак, бывают ситуации, когда лучше позабыть предрассудки и предубежденность, сбросить с плеч одеяние элитарного интеллектуала, странствующего по миру в одиночку, и покорно брести в отаре обыкновенных туристов — это до известной степени гарантирует, что вы не обломаете рога о новые ворота.

...В Панаме мы уже целую неделю, ждем прихода лайнера, который доставит нас на родину, в Рио. Программа исчерпана, все дела переделаны, становится скучновато, а парохода все нет. В этот миг Зелию осеняет свежая идея: надо посетить острова Сан-Блас, где живут индейцы, изготовляющие знаменитые на весь мир кустарные изделия — molas — этакие центральноамериканские гобелены, на которых выткан либо абстрактный узор, либо звери и птицы. Мы уже накупили множество таких ковриков — и в дом, и друзьям дарить. Зелия заявляет, что на Сан-Бласе они стоят дешевле бананов, а заодно мы увидим жизнь и быт настоящих индейцев. Убедила. Мы отправились в туристическое агентство.

Решающим доводом, заставившим нас отбросить последние сомнения, стало запечатленное на цветных красочных фотоснимках место нашего предполагаемого обитания — живописно сгруппированные в пальмовой роще бунгало, представлявшие собой точную копию индейских хижин, но снабженные всеми благами современной цивилизации. Снаружи — хижина, внутри — номер пятизвездочного отеля, отвечающий запросам самого требовательного и капризного американского туриста. А как там красиво! Какое искушение для любителя природы провести на ее лоне хотя бы одну ночь! Это мечта всей нашей жизни. Подумать только — на одну ночь мы превратимся в настоящих индейцев племени панаменьо и при этом — с полным комфортом.

Сухопарый, средних лет сеньор в окошечке кассы предоставил нам исчерпывающие сведения: вылет в девять утра, в группе двадцать два человека, пересечем перешеек и очень скоро окажемся на острове, в гостеприимных объятиях администрации отеля. Потом нас на каноэ свозят на другие островки, где и живут индейцы. Мы увидим их ритуальные пляски, услышим боевые песнопения, насладимся девственной и дикой природой и накупим за бесценок ковриков — настоящих, а не сувенирных поддельных поделок. Оттуда приплывем на главный остров, там будет обед, где нам предложат блюда местной кухни, и в три пополудни — возвращение в город Панаму. Все прекрасно, и цена подходящая, но нам с Зелией этого мало, мы желаем продлить пребывание еще на день, переночевать в индейской хижине, ибо мы не простые туристы и стадом ходить не привыкли.

Сухопарый сеньор в окошечке посмотрел на нас как-то странно — мне почудилось во взгляде его сострадание, которое он не смел или не хотел обнаруживать — и настойчиво, если бы при этом он не продавал туры, я сказал бы даже «очень настойчиво» посоветовал нам удовлетвориться обычной экскурсией, подчеркнув, что ночь в коттедже — он же вигвам — дорого нам обойдется. Не обратив внимания на второй, подспудный и прикровенный смысл этих слов, мы проявили еще бґольшую настойчивость, продолжая твердить, что мы не экскурсанты, которых гуртом гоняют, и никогда таковыми не были и не будем, а потому желаем снять хижину, сколько бы это ни стоило. Жизненное предназначение сеньора в окошечке состояло в оформлении путевок и туров, продаже билетов, а потому, сочтя, очевидно, что совесть его может теперь быть спокойна, он пожал плечами: мол, как угодно, мое дело предупредить — и исполнил наше желание.

На самом крупном из островов, где приземлился наш самолет, стояла лишь неказистая казарма — там размещалось полдесятка солдат местного гарнизона — да ресторан в сотне метров от россыпи хижин, издалека казавшихся чистенькими и благоустроенными. Мы оставили чемодан управляющему рестораном, сказали, что вселимся потом, по возвращении, и отплыли, но не на каноэ, как обещал нам рекламный проспект, а на моторной лодке. Отплыли на живописные острова, где и вступили в контакт с туземцами. Они оказались законопослушными гражданами и очень умелыми коммерсантами.

Встретили нас десятка два женщин в национальных одеждах. Выяснилось, что все мужское население рано поутру отправляется на каноэ — настоящих, без мотора — на континент и обрабатывает землю тамошних богатеев. Остаются тут немногие, чтобы развлекать туристов песнями, танцами и продавать им эти коврики-молас. Посетили мы один за другим три островка, везде было одно и то же — песни, танцы и молас, которые стоили здесь намного дороже, чем в Панаме, приплюсовывался некий налог на couleur local[[98]](#footnote-98), сбор за экзотику. Потом последовало возвращение на «основную базу», обед, довольно скудный и невкусный, и туристы, погрузившись в самолет, отбыли в Панаму. А мы с Зелией остались одни-одинешеньки, и это не метафора. Индеанка, продававшая коврики у дверей ресторана, собрала свой товар и ушла — Бог ее знает, куда. Креолка, руководившая кормежкой туристов, закрыла ресторан, отдала нам наш чемодан и связку ключей, ткнув пальцем в хижины. Когда мы осведомились, какая из них наша, ответила, что можем поселиться в любой по своему усмотрению и вкусу: все пусты, кроме нас, на острове туристов нет. С большим трудом и с помощью изрядной суммы удалось вырвать у нее обещание вернуться к шести вечера и дать нам по тарелке супа, оставшегося от обеда.

Мы взяли чемодан и, по щиколотку увязая в раскисшей от дождя земле, двинулись к нашему жилищу. Хижины стояли на сваях и были как новенькие — видно, что жили в них редко. Внутри облюбованного нами бунгало имелись: кровать — матрас на деревянном топчане, запыленный шкаф, лежали две влажные, постеленные невесть когда простынки и шерстяное одеяло. Пахло прелью. Тучей висели москиты. Москитов в избытке хватает и у нас в Баии, на Рио-Вермельо, мы даже тщеславились этим изобилием и претендовали на мировой рекорд. Но то, что предстало нашим взорам на островах Сан-Блас, принудило нас стать поскромнее — даже когда я сидел в тюрьме в Амазонии, не приходилось мне видеть таких неисчислимых полчищ остервенелых кровопийц. Мы с Зелией переглянулись. Выбор перед нами стоял небогатый — разрыдаться или расхохотаться. Мы предпочли второе и добрым словом помянули сухопарого сеньора в турагентстве, который сделал все, от него зависящее, чтобы отговорить нас от нашей идиотской затеи: на большее и рассчитывать было нельзя, ведь ему все-таки по должности полагалось продавать билеты и туры, взимать плату за аренду бунгало, если какой-нибудь безумец, сбежавший из сумасшедшего дома, решился бы там пожить. А появилась сразу пара полоумных — Зелия да я.

Мы направились к ресторану. В передовых частях москитов сыграли боевую тревогу, и началась атака на наши шеи и щеки. Ресторан был закрыт. Мы присели на пороге — больше было некуда, а потом я, положив голову на колени верной спутницы моей жизни, растянулся прямо на ступеньках и задремал. Зелия прикрыла мне лицо своей косынкой, но не таковы были сан-бласские москиты, чтобы спасовать перед столь ничтожным препятствием. Искусали они нас зверски. Рестораторша появилась к сроку, дала нам по тарелке простывшей похлебки, по куску рыбы — ни гарнира, ни десерта, ни кофе, и вновь мы остались, как Адам и Ева, в сыром и влажном, гудящем от москитов Эдеме. Вернулись в бунгало, простерлись на жестком топчане, и облако москитов накрыло нас. Острую зависть испытывали мы к туристам-экскурсантам, которые к этому времени, давно уж долетев до Панамы, вымылись, переоделись, поужинали и теперь, не в пример нам, блаженствуют в комфорте гостиничных номеров.

Наутро, когда мы истомленные, голодные, заеденные москитами, грязные — душ в бунгало не действовал, беспрестанно почесываясь, продолжали испытывать немыслимые страдания, телесные и душевные, случилось чудо. На острове приземлился маленький самолетик, который, как выяснилось, должен был забрать солдата, захворавшего — вот они, москиты! — малярией и бредившего в жару. Нам-то с Зелией ничего не грозило, ибо ей, уроженке цивилизованного Сан-Пауло, в детстве сделали прививку, а я, баиянец, обладаю врожденным иммунитетом. Летчик согласился спасти нас, и из иллюминатора мы в последний раз оглядели пейзаж — сверху и издали все бунгало выглядели очень мило, точь в точь как цветные фотографии в рекламном буклете, снабженном текстом: «Идеальное место для уик-энда!»

Наш друг Карибе поплатился сильней. Долгое время душу его грела мечта побывать на острове Пасхи. И вот она приблизилась к осуществлению. Он выяснил, что раз в неделю самолет компании «Эр Франс» возит туристов на Таити с заходом — уж не знаю, на сколько часов — на остров Пасхи. Они с Нэнси записались, но опять же — см. выше, — не желая брести в экскурсионном гурте, решили прервать полет на вожделенном острове, провести там неделю, а уж потом следующим рейсом лететь на Таити. Карибе желал осмотреть знаменитые статуи внимательно, изучить их досконально, а не окинуть беглым взглядом, как это сделал его кум Жоржи.

Приземлились. Французские туристы осмотрели идолов, испустили положенное количество «о-ля-ля!» и «вуаля!» — и улетели. Нэнси и Карибе остались наедине с туземцами. Шел нескончаемый тропический ливень, на острове не было ни отеля, ни пансионата — вообще ничего. За огромные деньги беспечный художник с женой обрели приют в лачуге местного рыбака и принялись коротать время игрой в бириба — колода карт всегда у Нэнси в сумочке. Тут надо, наверно, пояснить, что Карибе ненавидит дождь и карты. Теперь же он вдосталь нахлебался того и другого. И продолжалось это неделю кряду.

Вот к каким пагубным последствиям приводит предубеждение против проверенных туристских маршрутов, вот какую цену за свой гонор и неуемное желание всегда быть наособицу заплатили супруги Амаду на островах Сан-Блас, а супруги Карибе на острове Пасхи.

## Монтрё, 1988

Здесь, в Швейцарии, где проходит Международный фестиваль телефильмов, я встречаю своего старинного приятеля, итальянского продюсера Альфредо Бини. Мы с ним — члены жюри, куда входят, помимо прочих, такие мастера, как француз Бертран Лабрюсс, Марина Голдовская из Советского Союза, японец Нагима Осима, создатель нашумевшей ленты «Империя страсти».

Голдовская и Фан Сяопин, продюсер из Гонконга, очарованы романтическим и душещипательным — слезы у зрителей льются рекой — японским фильмом с удивительно снятыми пейзажными сценами. Мы с Альфредо готовы отдать голоса рекламному ролику, снятому по заказу «ФИАТ«, — в своем жанре это истинный шедевр. Не вызывает сомнений, что большинство членов жюри отдаст предпочтение и вручит главный приз японской мелодраме: Марина по пальцам пересчитывает своих союзников и заранее торжествует. Ох, недооценивает она мощь тандема Амаду — Бини, непобедимого в битвах такого рода. Кроме главного, присуждаются призы помельче — за лучший художественный, за лучший документальный, публицистический, музыкальный, рекламный фильм. С них-то мы и начинаем и единодушно решаем признать японскую картину с пейзажами лучшей художественной. А потом мы с Бини заявляем, что раз так, то она и прочие увенчанные лаврами ленты из соревнования за главный приз выбывают. И фиатовская пятичастевка, лишившись конкурентов, одерживает сокрушительную победу. Голдовская в недоумении: „Как же так? Японская картина должна была получить абсолютное число голосов... Почему же лучшим признан итальянский «коммершиал»?» — спрашивает она меня, я же отсылаю ее к Бини. Тот слушает и улыбается — не родилась еще на свет женщина, которая устоит перед его улыбкой. А ты, любезный читатель, если знаешь такую, сообщи мне.

Потом, расчувствовавшись, Альфредо говорит мне: «Надо бы затеять экранизацию какого-нибудь твоего романа, чтобы я мог снова побывать в Бразилии, мне больше ничего на свете не надо». Тут мы принимаемся хохотать, вспоминая, сколько всякой забавной всячины произошло за те годы, что предпринимались попытки поставить фильмы по моим книгам. Но Бини, не смущаясь, желает приобрести права на экранизацию моего еще не написанного романа: «Не беспокойся. Если я за это возьмусь, фильм выйдет!»

Он и в самом деле не имеет отношения к тому телефонному звонку, который в середине 50-х раздался у меня дома. Дино де Лаурентис, осведомляясь, есть ли у меня «свободный, еще не запроданный роман», сообщал, что отправляется в Венесуэлу снимать фильм про Симона Боливара и может заодно уж завернуть к нам, в Бразилию, и смастерить экранизацию любого из моих сочинений. Идея меня прельщает, я перечисляю несколько названий — пусть Дино выберет, что ему больше по вкусу, и даст мне знать. Нет, этого не произошло, и напрасно, напрасно ждал я его звонка — его не последовало! Должно быть, Дино вовремя смекнул, что от Каракаса до Рио — чуть подальше, чем от Рима до Парижа.

Не виноват Альфредо и в том, что пшиком кончилось намерение Витторио Де Сики воссоздать на экране образ Васко Москозо де Арагана, капитана дальнего плавания из повести «Старые моряки». Сценарий должен был писать Чезаре Дзаваттини, но дальше разговоров — вживе и по телефону — дело не пошло. Денег, ухлопанных итальянскими продюсерами на международные звонки, вполне хватило бы на съемки бразильского фильма. Раз уж речь зашла о «Старых моряках», скажу вам, что вскоре намерен отпраздновать двадцатилетний юбилей делового и творческого сотрудничества с Энтони Куинном. Представьте, ему тоже понравилась повесть — и до такой степени, что он решил поставить по ней картину и для этого даже объединился с компанией «Уорнер Бразерс», владевшей правами на экранизацию. Сообщил, что едет, летит в Баию, назначил мне место и дату встречи... С тех пор я его и жду. Забыл Энтони известить меня, что приезд откладывается на неопределенное время. Кино — штука особая, оно живет по своим собственным законам, а все прочие ей не писаны.

Но первым режиссером, решившим воплотить мои замыслы, был Серджо Амидеи. Киноверсию «Мертвого моря» вызвался продюсировать сам Карло Понти, Ливию должна была играть София Лорен. Снова все рухнуло, несмотря на то, что и к этому проекту Бини касательства не имел. Не виноват он и в моих злоключениях, связанных с Росселлини — со старшим, с великим, с незабвенным Роберто, создателем фильма «Рим — открытый город», с режиссером мирового класса и чудеснейшим человеком. Я подчеркиваю это особо, поскольку в проекте Росселлини-младшего, Ренцо, Альфредо Бини принимал участие. Но — обо всем по порядку.

Роберто Росселлини позвонил мне из Рима. Мы вспомнили прошлое, благо знакомы очень давно. Потом он сказал, что намерен снимать «Жубиабу». «Если права на экранизацию еще никому не принадлежат, мой продюсер отправит тебе контракт на...» — и назвал ошеломительную сумму, десятки тысяч долларов. Сам же он прилетит в Рио выбирать «натуру» и договариваться о содействии местной киностудии через две недели. Он перезвонит, чтобы сообщить точную дату и номер рейса. И в самом деле перезвонил, и дату сообщил, и номер, только о «Жубиабе» речь уже не шла — проект был предан забвению. Просто он собрался делать фильм о Бразилии, как уже сделал об Индии. «Я рассчитываю на твою помощь», — сказал Росселлини.

Да уж! Он рассчитывал и не просчитался, заставив меня за две недели сочинить одиннадцать новелл, действие которых должно происходить в одиннадцати наших городах — Рио, Сан-Пауло, Баии, Форталезе, Манаусе, Порто-Алегре, Ильеусе (там, разумеется, речь пойдет о какао), Блуменау, Гоянии, Сантосе и Сан-Луисе. У каждой новеллы — свой сюжет, свой круг персонажей, с ума сойти! Я работал как каторжный, как черный раб на плантациях — и при этом еще с какого-то момента начали приходить друзья, и номер Росселлини заполнялся до отказа, ибо великий режиссер атаковал сразу в двух направлениях: сочинял сценарий и обрабатывал наших местных магнатов, уговаривая их принять участие в совместном проекте. Лилось виски, без умолку звонил телефон, назывались внушительнейшие цифры, устраивались званые обеды и ужины... Две недели изнурительного труда и буйного веселья.

Но вот я сочинил свои новеллы, и сценарий написан, и начались переговоры с бразильскими банкирами. «До скорого свидания, — сказал Росселлини. — „Запущусь« в Риме, а потом со всей группой прилечу назад, в Рио». Нет, не прилетел. Вместо папы сколько-то лет спустя появился сынок — Ренцо. Началась эпопея со съемками «Тьеты».

Но сначала возник Альфредо Бини вместе с другим моим старинным приятелем, Франко Кристальди — я знаю его еще с тех незапамятных времен, когда сам мечтал о кино: мечту эту размолола в пыль политическая деятельность, будь она неладна. Франко с Альфредо приехали не просто так, а покупать права на «Терезу Батисту, уставшую воевать». Вы не поверите — купили! Купили сроком на пять лет. Более того — денег дали! Впервые за все эти годы я получил от итальянского кинематографа живые деньги. Слушая мои горестные излияния о всех прошлых неудачах, Альфредо покровительственно похлопывал меня по плечу: «Я — это совсем другой случай, я голову не морочу, пустыми посулами не кормлю».

Поскольку Франко, к этому времени уже разведшийся с Карлой Симонеттой, отчаянно влюбился в Зёйде Арайю, эфиопскую красавицу — в самом деле, глаз не оторвать! — сделал ее женой и звездой, то ей и предстояло сыграть Терезу Батисту. В Баии я сводил их на место действия, на рынок «Модело», и эти актерские пробы прошли блистательно: по общему мнению завсегдатаев рынка, торговцев и местных забулдыг, Зёйде ни красотой, ни соблазнительностью не уступала Терезе.

...Незаметно пролетели пять лет, оговоренные контрактом. Бини воротился из Китая, где вместе с Кристальди снимал фильм про Марко Поло, мы встретились в Лиссабоне и продлили срок действия договора еще на пять. И опять мне заплатили! «Я же тебе говорил — зря не обещаю!» — повторял Альфредо. За эти десять лет он якобы «по производственной необходимости» несколько раз побывал в Баии, и каждое его появление становилось не то что праздником, а грандиозным фестивалем. Не создавала еще природа человека приятней и забавней, чем этот субъект. Прошло еще пять лет, съемки «Терезы» так и не начались, но о наших развлечениях можно было бы написать целую книгу.

Лишившись прав на «Терезу», Альфредо решил взяться за «Тьету де Агресте». Вот тогда они с Ренцо Росселлини и высадились в Рио, заявив, что на днях прилетает Лина Вертмюллер. В ожидании ее появления Бини спознался — другого слова не подберу — с юной и очень хорошенькой еврейской дамой, муж которой, marchand de tableau или, выражаясь современным языком, арт-дилер, прикрыл свою лавочку в Баии и перебрался в Сан-Пауло, чтобы открыть там картинную галерею и разбогатеть стремительно и страшно. Удалось же это его единоверцу и соплеменнику Валдемару Занесскому. А он чем хуже? Оба — правоверные иудеи, оба — оганы на кандомбле: у нас в Баии и не такие чудеса случаются. Короче говоря, жену свою он если не бросил, то оставил — оставил без средств к существованию, детей кормить нечем! Познакомились они с Альфредо на пляже, знаменитый киношник и bel’uomo пленил ее с ходу, соломенная вдова нуждалась в поддержке, и он выразил готовность принять в ней живейшее участие. Подняться к нему в номер она отказалась — «неудобно как-то», — но зато пригласила отужинать у своего разоренного и полуостылого семейного очага. Бини, не найдя в продаже итальянских вин, принес к ужину чего-то с берегов Рейна, пришел — и остался у покинутой на весь срок своего пребывания в Баии, обретя и стол, и кров, и даже пижаму беглого маршана, в которой расхаживал по утрам, ибо ночью она ему, сами понимаете, была без надобности. Что же касается пенатов, пребывавших в запустении, детей, отбившихся от рук, кредиторов, толпившихся у дверей и требовавших оплаты давно просроченных счетов, то Альфредо Бини показал, на что способен итальянский кинопродюсер. Его стараниями дом стал как игрушечка и засиял чистотой, кредиторов он убедил подождать, пока из Сан-Пауло с полными карманами денег не вернется галерейщик, детей он привел к повиновению, для чего старшего пришлось выпороть, младшему — надрать уши, но ведь для их же пользы — на третий день они уже были как шелковые. Жизнь брошенной красавицы волшебно изменилась: к ней вернулись оптимизм и бодрость духа. Интенсивный курс блудодейства — занятия утром, после обеда и всю ночь — сделал из нее, прежде ничего, кроме самых-самых азов, не знавшей, изощренно-чувственную и утонченно-умелую специалистку, владеющую богатейшим и разнообразнейшим арсеналом ласк и готовую теперь достойно отпраздновать возвращение мужа, устроив ему истинный праздник любви.

...Под руку с Бини появилась в нашем доме на Педра-до-Сал долгожданная Лина Вертмюллер. Мы с Зелией встретили ее с распростертыми объятиями. Мы обожаем ее фильмы. Впервые в жизни она будет снимать картину «по мотивам» прозаического произведения и привезла готовый сценарий, написанный на основе моего романа, — до сих пор всегда создавала оригинальный. «Прочти и скажи, что ты об этом думаешь», — говорит она и кладет толстую пачку машинописных страниц на стол. Она собирается посетить баиянские сертаны, города Аракажу и Эстансию — по ее выражению, «пропитаться Бразилией», увидеть эту страну и ее народ. Я уверен, что ей это удастся. Поблагодарив, отказываюсь от чести полетать с нею вместе на арендованном Бини геликоптере над полями и пляжами Баии. Ну, а чтение сценария отложу до ее возвращения — я уж знаю, каким предвзятым взглядом смотрят на мою страну европейские интеллектуалы, как застилает им глаза идеологическая пелена, глубокая убежденность в том, что они-то знают все.

И когда несколько дней спустя Лина возвращается из поездки, она первым делом спрашивает:

— Прочел?

Нет, говорю, еще нет. Сценарий лежит там же, где она его оставила. Лина вздыхает с облегчением:

— Слава Богу! Он никуда не годится. Бразилия не имеет ничего общего с тем, что там написано.

Да, ничего общего с тем, что она знала из книг и понаслышке, что воображала себе — все другое, а иногда все ровно наоборот. Она при мне рвет рукопись:

— Напишу другой, теперь я знаю, как надо. Тебе понравится.

Да, в новом сценарии она сумела взглянуть на Бразилию иными глазами. И как жаль, что лопнул «Банко Амброзиано», кредитовавший проект, лопнул перед самым началом съемок... Жаль, что не удалось Лине еще раз блеснуть своим талантом, воссоздать образ моей страны...

О, эта итальянская киномафия! Какой восхитительный мир! Денег нет никогда, фильмы снимаются от случая к случаю, но зато какая радость творчества, какое умение наслаждаться дружбой! Я обожаю этих бесшабашных безумцев, и в самом деле сплоченных не хуже мафии — сплоченных дерзостью, талантом, непочтительностью к авторитетам и канонам. А иначе разве смогли бы они создать единственное в своем роде чудо итальянского кино, воспевающее человека, кино, в котором самый жалкий человечишка исполнен величия и наделен даром мечты и поэзии, где последняя потаскушка предстает чище любой святой, безгрешней самой Приснодевы?!

И снова позвонит мне из Рима Альфредо Бини, снова скажет:

— Ну, сколько ты сдерешь за сценарий? Только представь — индейцы, девственные джунгли, заросли каучуковых деревьев, золотоискатели... Подпишем контракт и сейчас же запустимся — ты же меня знаешь, я посулами не кормлю. Плачу в долларах. И как славно мы повеселимся в лесах Амазонии! А?

## Парчейз, 1979

С каждой оказией я посылаю Альфреду Кнопфу баиянские сигары — его имя выгравировано на каждой коробке и повторено на бумажной ленточке, обвивающей каждую «регалию», изготовленную, как полагается, вручную, скрученную о бедро мастерицы. Фернандо Суэрдик, владелец табачной фабрики в Сан-Феликсе, ревнитель и хранитель традиций, щедро и безвозмездно делится со мной лучшими образцами своей продукции. Кнопф, знающий толк в курении, заявляет мне, что баиянские сигары равных себе не имеют, уступая только кубинским, но те уж — вне конкуренции. Между прочим, это мнение американского издателя разделял и советский человек — писатель Илья Эренбург: он тоже очень высоко ценил баиянские сигары, отдавая, правда, предпочтение самым дешевым и крепким, не фабричным, а рыночным.

Но вот настал день, когда мой друг Алфредо Машадо, вернувшись из Соединенных Штатов, сообщает: его тезка Кнопф, хоть и просил его ничего мне не говорить, чтобы не огорчать, разлюбил сигары, утратил к ним вкус. По раз и навсегда заведенному, нерушимому ритуалу, он ровно в десять утра, присев рядом со своей Хелен в саду на скамейку, наслаждался первой сигарой. И вот так случилось однажды, что он раскурил кубинскую, «упманн», выпустил первый клуб дыма и... — и ничего. Никакого удовольствия. Не воспарил против обыкновения вместе с плотным сизым облачком табачного дыма в поднебесье. Пропала радость. И с тех пор перестал Кнопф предаваться сигарному сладострастию, находить отраду в разных оттенках аромата и вкуса, исчезло удовольствие от самого процесса курения. Все кончилось раз и навсегда.

— Об одном молюсь: не дай Бог, я и вино разлюблю — что ж тогда останется на мою долю?

И Господь внял, и этой отрады Кнопфа не лишил. В 1979 году мы с Зелией приехали в Америку на юбилей старого друга и неизменного издателя, который созвал на свой девяностый день рождения лишь самых близких. В Парчейзе, где проходило скромное торжество, мы, по приглашению Хелен, провели целую неделю. Альфред сам отбирал для праздничного стола белое и красное, сам наливал вина гостям, предварительно отведав, закрывал глаза, смакуя и наслаждаясь.

## Рио-де-Жанейро, 1970

На торжественное заседание в Бразильскую академию члены ее являются в парадных мундирах, богато расшитых золотыми пальмовыми ветвями. На длинноногом и сухощавом Афонсо де Мело Франко или на потомственном аристократе Алсеу Аморозо Лиме они сидят как влитые, иные, вроде Барбозы Лимы, носят мундир нараспашку, будто самый обыкновенный пиджачок, и чувствуют себя в нем вполне непринужденно. А кое-кому — мне, например, мундир пристал как корове седло, я сам себе напоминаю мальчика на побегушках из богатого дома. То ли дело — Афранио Коутиньо, к морю не имеющий ни малейшего отношения, но импозантный, как адмирал флота.

Афранио, профессор Федерального университета, в ту пору был еще и деканом философского факультета, помещавшегося в выстроенном англичанами здании — там, в 1922 году, на Международной ярмарке, приуроченной к столетию независимости Бразилии, находился британский павильон. А рядышком — французский под названием «Малый Трианон», туда и вселилась наша Академия.

...Афранио демонстрирует себя, свой мундир и ученость перед цветником прекрасных дам, расточает им комплименты, ведет светскую беседу, и в этот миг ему сообщают, что на его факультете творится что-то неладное. Оказывается, студенты устроили яростную и неистовую манифестацию против правящей нами военной диктатуры. Диктатура отреагировала мгновенно и свирепо: прислали взвод солдат под началом лейтенанта, накачанного приказами, как касторкой. Вломились на факультет, где шел митинг, чтобы арестовать самых злостных смутьянов.

Афранио, несущий ответственность и за здание, и за вверенное его попечениям юношество, не колеблется ни секунды. Он просит извинения у дам и у коллег-академиков и направляется в дом по соседству, дабы гарантировать неприкосновенность факультета и права своих подопечных. Левая его рука лежит на эфесе шпаги, в правой — наполеоновская треуголка.

Зрелище, представшее его очам, приводит его в сильнейшее негодование: солдаты уже разогнали митинг, а двоих закоперщиков тащат по факультетскому двору к своему грузовику, чтобы отвезти в казарму и уж там без помехи потешить душу. Афранио в ярости начинает кричать и размахивать шпагой. Солдатня при виде адмирала в полной парадной форме отступает, отпускает несчастных и ретируется. Лейтенант, слегка оробев, вытягиватся перед ним и уводит своих костоломов.

Доблесть академика обошлась ему дорого. Афранио попал под суд и чудом избежал тюрьмы. Его обвиняли в том, что он, незаконно надев военно-морскую форму, на ношение которой не имеет ни малейшего права, препятствовал представителям органов правопорядка этот самый порядок наводить... Но кто же виноват, что солдаты с перепугу приняли члена Академии литературы за флотоводца?

## Прайа-До-Гиншо, 1980

Второй час ночи. Улица пустынна. Алфредо Машадо очень удивляется — где же охрана, где служба безопасности? Шофер распахивает дверцу черного лимузина. Это машина президента Португалии. Да, только что в квартире Жозе Карлоса де Васконселоса[[99]](#footnote-99) состоялся ужин с президентом Рамальо Эанешем: кроме хозяев дома, были мы с Зелией и Алфредо. Он продолжает удивляться, поскольку привык к целым полчищам охранников, к легионам полицейских в форме и в штатском, которые у нас в Бразилии стерегут покой дорвавшихся до власти «горилл». А тут законно избранного президента с супругой сопровождает один-единственный молодой человек. Значит, не нуждается в защите тот, кто пользуется уважением народа.

Для нас это уже не новость, мы такое чудо уже однажды наблюдали. Когда президент исполнял свой первый срок, писатель Мануэл Теллес устроил обед в Лиссабонском отеле «Гиншо», позвал нас с Зелией, Жамеса, Антонио Селестино. В назначенный час мы, как велит протокол, стали у подъезда, и из подъехавшего автомобиля вылез Рамальо Эанеш, протянул руку и помог выйти жене, Марии Мануэле. Никакой охраны.

В тот раз президент был не очень весел — оттого, быть может, что принял на себя ответственность за страну совсем недавно, еще не освоился в новом положении и хотел выглядеть значительным и серьезным. Но зато по истечении обоих своих пятилетних мандатов он уже хохотал не хуже нас, грешных, над рассказами Калазанса Нето, который и покойника может рассмешить. Кто не слышал его — несчастнейший человек, а может, и наоборот — счастливейший: ему, значит, еще предстоит это удовольствие. Я-то все его байки уже выучил наизусть.

Долго еще недоумевал Алфредо Машадо: президент и «первая леди» приезжают поужинать запросто — и никакой охраны! Въяве увидел он разницу между утром португальской демократии и беспросветными потемками бразильской хунты.

## Баия, 1970

На пороге две девочки-подростка, очень хорошенькие и очень грязные. На них вылинявшие драные джинсы, майки с самым модным лозунгом «Make love, not war!», сандалии, словом, полная амуниция хиппи, но даже для хиппи они что-то уж больно чумазые. Та, которая обращается ко мне «дядюшка», объясняет, что обе — только что из тюрьмы: совершенно неожиданно в главный латиноамериканский центр хиппи, баиянское предместье Арембепе, где на берегу океана собираются сотни молодых, а иногда и не очень молодых, людей, нагрянула полиция. Я уже знал об этом происшествии, мне из Рио и Сан-Пауло звонили друзья, прося заступиться и добиться освобождения их мятежных дочерей, пламенных сексуальных революционерок. Приглашаю девочек войти.

— Дядя Жоржи, через четыре дня начинается карнавал, мы хотим посмотреть. Можно, мы недельку поживем у вас в саду? Когда кончится — сразу свалим.

— В саду?

— Только до «пепельной среды»[[100]](#footnote-100).

Эта девочка имеет право обращаться ко мне «дядя Жоржи». Я очень дружил с ее родителями, я крестил ее сестру, лет на пять-шесть младше. «Мала еще активно бороться за правое дело, она пока — сочувствующая», — говорит старшая, когда я спрашиваю, как поживает моя крестница. Ну, что ж, такую просьбу нельзя не уважить, нужно только придумать способ, чтоб и сад сохранить, и дать девчонкам возможность полюбоваться карнавалом. Решение осеняет меня за минуту до того, как они начнут натягивать посреди клумбы палатку. Тут поблизости — десятки дешевых, но вполне приличных отельчиков и пансионов, я знаком с хозяином одного из них, племянником писателя Нельсона де Араужо, и тот, когда наезжает к нам в Баию, всегда у него живет, бесплатно, разумеется, по-родственному. «Присядьте, — говорю, — отдохните». Зелия приносит им кофе с молоком и разнообразной баиянской снеди, они с жадностью набрасываются на еду, наголодались в тюрьме, я-то знаю, какая там кормежка — и скудная, и скверная.

Звоню хозяину, спрашиваю, есть ли у него свободный номер на двоих. Имеется, отвечает, приберег на всякий случай. Я вам пришлю двух барышень, пусть поживут недельку до конца карнавала, счет — мне. Аурелио сажает их в машину, добрая Зелия дает с собой здоровенный сверток с провизией. Одно слово — тетя.

И я забыл об этом, много было всяких забот: карнавал — вещь серьезная, тут все на свете из головы вылетит. Минули и карнавал, и великий пост, и Святая неделя. И тут позвали меня к телефону. Звонил тот самый хозяин гостиницы, а я и забыл про него, вот стыд-то! Стал объясняться и извиняться, ссылаться на скверную память: сейчас же пришлю кого-нибудь расплатиться. Итак, сколько я вам должен? Сколько дней они у вас прожили? Неделю ровно? Когда уехали?

— Они еще не уехали, доктор, — так почтительно обращается он ко мне. — Я... видите ли... просто хотел справиться, остается ли в силе наш договор... Ну, счет за номер... Две девушки и молодой человек.

— Молодой человек?

— Ну, он вроде как бы жених...

— Значит, я вам должен за два номера?

— Нет, доктор, они поселились все вместе... Заказывали мало, в основном кока-колу, в жизни своей не видывал, чтобы люди пили столько кока-колы....

Тут взяла трубку моя так называемая племянница:

— Мы прижились как-то, нам понравилось, и время так незаметно пролетело... Но завтра решили отправляться. Сядем в автобус до Рио.

Потом они пришли попрощаться — «племянница», подружка и молодой человек. Он принес мне в подарок свою первую книжку — коллега, оказывается, конкурент.

«Прочти, — сказал я Зелии. — у этого малого есть талант. Он — немножко полоумный, но с годами это пройдет». Его зовут Рамиро де Матос, и я, как всегда, оказался прав — он стал профессором университета и, без сомнения, виднейшим специалистом по литературе стран Африки. А в ту пору, когда я заплатил за любовь втроем и цистерну кока-колы, он подписывался «Рамиран» и был глашатаем сексуальной революции, чей опьяняющий призыв любить, а не воевать преобразил мир.

## Вена, 1991

Журналисты, «освещающие» заседание Международного ПЕН-клуба, попросили меня высказаться по поводу истории с Салманом Рушди. И я не в силах сдержать негодование. Я читал его роман — в переводе на французский он называется «Дети полуночи», — читал маленькую книжку о Никарагуа, проникнутую чувством солидарности с борющимся народом. Но где же наша солидарность с собратом по перу, с коллегой, которому грозит смерть?

Мне кажется чудовищным, невероятным и недопустимым, что в конце ХХ столетия писатель, приговоренный к смертной казни шиитской инквизицией с благословения иранских властей, вынужден скрываться и прятаться в каких-то потайных убежищах, что он изгнан из общества и должен находиться под защитой и охраной полиции. Я уверен, что мировое сообщество литераторов, ученых, деятелей искусства оказалось не на высоте, не выразило протест с той решительностью, которой требует сложившаяся ситуация.

Ни один из нас, писателей, не может оставаться безучастным к этому яростному и широкому наступлению на право творить, на свободу мыслить и выражать свои мысли. Тот, кто не протестует, кто не требует отвести топор палача, занесенный над головой Рушди, тот не исполняет своего прямого долга. Опасность грозит свободе творчества, под угрозой — само существование литературы.

## Баия, 1991

Начинающий писатель входит в мой кабинет, держа под мышкой рукопись. Я работаю, я занят, но что мне остается, как не принять его? И я беру рукопись и обещаю прочесть ее, высказать свое мнение, рекомендовать издателю, написать предисловие. Да, я обещаю все это и, что хуже всего, обещание исполняю. И каждый день повторяется одно и то же — и у меня не остается ни времени, ни вдохновения на собственные писания. И в бешенстве я призываю пред свои светлые очи Эунисе. Она работает у нас, в Рио-Вермельо, уже лет двадцать, в доме нашем она поседела и из секретарши превратилась в приятельницу.

Как и мой отец, в гневе я тихо разговаривать не умею — пугаю людей своим ором, Зелия до сих пор все никак не привыкнет, но тут делаю над собой усилие и жалобно спрашиваю, понизив голос:

— Разве я не просил тебя всем говорить, что меня нет дома? А?

Она улыбается мне кротко, как ангел:

— Такой милый юноша... у меня духу не хватило захлопнуть дверь у него перед носом... — Увидев же, что я впадаю в настоящую ярость, признается: — Я врать не умею, слова с языка не идут.

И в двери, охраняемые ею, кто только не проходит — газетный репортер, целая команда телевизионщиков, экономический советник, малый, торгующий на углу всякой дрянью, орда девиц, явившихся попросить автограф — добро бы, у меня! Нет, они явились к Доривалу Каймми, перепутали, видишь ли, им все едино: что я, что, скажем, Данте Алигьери! — «мать святого», борец за чистоту окружающей среды, начинающий поэт-маргинал, выводок туристов. По словам поэта, «всем вольный вход, все гости дорогие!» В отчаянии я прибегаю к угрозам:

— Если я не буду писать, денег не заработаю, чем тогда прикажешь платить тебе жалованье? Придется тебя уволить.

— Да увольняйте на здоровье, да только я не уйду. И платить мне не надо.

Раздается стук в дверь. Эунисе бежит отворять.

## Баия, 1971

Вместе с Гугой — простите, с его превосходительством ректором Федерального Баиянского университета Луисом Карлосом Маседо — я отправляюсь к губернатору штата. Речь пойдет об издании фундаментального альбома акварелей Карибе. В университетской казне, естественно, ни гроша. Гуга предложил было поклянчить денег у банкиров. Нет, ответил я, сперва пойдем к Тониньо, нашему губернатору, он смертельно обидится, если мы начнем искать спонсоров, не обратившись к нему. Я его знаю как облупленного, с той поры, когда он был мальчишкой.

Я его не только знаю, я его люблю, а когда я человека люблю, то принимаю его целиком, со всеми достоинствами и недостатками, пороками и добродетелями. И в его деятельности политика и администратора мне милей всего две особенности — во-первых, он истый, природный баиянец, баиянец до потрохов, до мозга костей. А во-вторых, привлекает меня его живой и искренний интерес к культуре, которой не раз и не два оказывал он бескорыстную помощь. Это лишь два из многочисленных его достоинств, а о недостатках и без меня есть кому рассказать, ведь у него куча врагов и недоброжелатей, и дня не проходит, чтобы не появлялось на газетных страницах обвинений в его адрес: он и реакционер, и самодур, и совладелец телекомпании «Глобо». В этих обвинениях много яду, много злобы и очень мало правды.

...И вот мы у него и выкладываем, с чем пришли. Замечательному художнику Карибе исполняется семьдесят лет, и тридцать из них он воссоздает на своих полотнах и рисунках Баию, ее народ, ее жизнь, ее тайну, завезенную к нам пять веков назад в трюмах невольничьих кораблей. Черные африканские рабы крестились и стали добрыми католиками, не расставшись при этом со своими богами-ориша. И вот все это есть в альбоме акварелей. Непременно надо его издать. В кассе Федерального университета — хоть шаром покати. Мы с Эрберто Саллесом, директором Национального института книги, даем миллион. Этого мало. Вот мы и собрались обратиться за помощью к банкирам...

— Я субсидирую издание, — прерывает мой монолог губернатор, ни на единый миг не перестающий быть политиком, который из всего на свете извлечет доход. — Организуем торжественную презентацию здесь, во дворце, пригласим сенаторов, депутатов...

Тут уж я перебиваю его:

— Презентацию? Во дворце? Для Карибе? Мы устроим праздник на площади Пелоуриньо, праздник для всего баиянского народа.

Мудрый Антонио соглашается, признает мою правоту: «Народ важнее, чем политики».

И, конечно, ни в каком другом месте, кроме площади Пелоуриньо, историческом центре Баии, где стояли когда-то колодки и высился позорный столб, не могло бы собраться пятнадцать тысяч человек, которые пожелали отпраздновать юбилей своего земляка, родившегося, правда, в Аргентине, но истинное свое отечество обретшего у нас. Телевизионщики взяли у меня интервью, и я сказал, что все это многолюдное торжество устроено не в честь политика, или банкира, или миллионера-промышленника, или латифундиста, или генерала, или кардинала — нет, танцами и песнями здесь отмечают день рождения художника. О, как это много — быть всего лишь художником! Народ любит художников.

Главной, почетнейшей гостьей была «мать святого», жрица с террейро в Гантоисе — Матушка Менининья. Когда я решил пригласить ее, и врачи, и родня, и служки — все пожимали плечами, разводили руками: она уж давно никуда не выходит, вряд ли здоровье ей позволит... Матушка некоторое время молча слушала нашу беседу и вдруг сказала:

— Приду непременно, будьте уверены. Карибе достоин.

Губернатор Антонио Карлос вручил ей первый экземпляр толстенной книги, ставшей итогом странствий художника, который пытался постичь тайну Баии. И праздник начался с того, что певица Нана Каймми исполнила славословие в честь «матери святого», положенное на музыку Доривалом. Танцевали младшие жрицы — «дочери святого». Показали свое несравненное искусство мастера капоэйры. Прошли карнавальные группы-афоше. Словом, был настоящий карнавал в миниатюре. Матушка Менининья, сидя на плетеном из ивняка диванчике, рукоплескала.

Благодаря неумолчно жужжащим телекамерам, которые вели прямую трансляцию, за празднеством наблюдала вся Бразилия. Суетились радиокомментаторы, вспыхивали блицы фоторепортеров. Губернатор Тониньо, наклонившись, шепчет мне на ухо:

— Значит, так: сейчас ты, я и Карибе поднимем диванчик, пронесем Матушку Менининью по площади, покажем народу...

— Ладно, — соглашаюсь я. — Ты, я, Карибе и еще четверо портовых грузчиков. Вон их сколько стоит, целая ватага...

И пяти минут не прошло, как по знаку губернатора под прицелом изготовившихся к съемке операторов, в ослепительном свете прожекторов четверо гигантов — нет, все-таки, сдается мне, их было шестеро, — ну и, конечно, Тониньо с виновником торжества Карибе высоко подняли диванчик, и «мать святого» поплыла над неистово ликующей толпой. Я же принял, так сказать, моральное участие — силы-то уж не те, — но кончиками пальцев держался за диванчик... Ура!

## Париж, 1990

Чемоданы уже собраны, вызвано такси, чтобы ехать в аэропорт — мы с Зелией улетаем в Мадрид, читать лекции на летних курсах при университете Алькала-де-Энарес. В самую последнюю минуту звонит телефон — это Жак Данон.

— Мэтр Жорж, я только что приехал в Париж, мне необходимо с тобою увидеться, дело чрезвычайно важное и срочное, у меня голова кругом, не знаю, куда бросаться, не понимаю, что происходит, все летит вверх дном, я в полном отчаянии... — выпаливает он залпом, без пауз.

Раз, и другой, и третий он повторяет, что должен со мной повидаться и поговорить, только я могу ему объяснить нечто. На чем основано такое безоговорочное доверие я, по крайней мере, знаю. Он приехал в Париж совсем мальчишкой с горячим желанием посвятить себя науке. Да, это я представил его Ирен и Фредерику Жолио-Кюри, они взяли его к себе в лабораторию и по прошествии многих лет он стал ученым с мировым именем. Между прочим, с мадам Франсуазой[[101]](#footnote-101) тоже я его познакомил, а она выдала за него свою дочь Анни.

Он был в числе тех двадцати с лишним несчастных, которых в 40-е годы в двадцать четыре часа выслали из Франции. В полиции причину высылки объяснили просто: «Вы секретарь Жоржи Амаду». Да не был он никогда никаким секретарем, был единомышленником, товарищем по партии и другом. Если есть еще в мире существо, верящее мне слепо и безоглядно, то это, конечно, Жак Данон.

Что же касается охватившего его отчаяния и смятения, то здесь он не первый и далеко не единственный. Мужчины и женщины, отличные, честные, смелые люди, вдруг испытали жутчайшее душевное опустошение, жалким образом растерялись, почувствовали себя напрочь сбитыми с толку, оказались во власти таких мучительных сомнений и одиночества, что хоть руки на себя накладывай. Рухнуло то, что вдохновляло их, придавало им сил, вело по жизни миллионы людей — рухнул «реальный социализм», дымом растаял прекрасный идеал справедливости, за который они боролись, ради которого претерпели столько всяких преследований и мытарств — и тюрьмы, и пытки, и ссылки, канул в никуда целый мир, более того, мир этот, как выясняется, был химерой, иллюзией. Все было ложью, красивыми словами, мелким и пошлым надувательством. Многие из тех, кого я знаю, дошли тогда до крайней степени отчаяния, будто над миром воцарилась вечная ночь, беспросветная тьма. Всего несколько дней назад я говорил с одним врачом из Сан-Пауло и с его женой, старыми моими соратниками по борьбе. Они говорить не могли, в горле стоял комок, сердце готово было разорваться, и на глазах были слезы, когда речь зашла об этом. Настал конец света.

Я устал уже повторять одно и то же этим потерявшим ориентиры людям. Нет причин для отчаяния, не надо топиться и вешаться. Проблемы, которые мы пытались решить нашей деятельностью, никуда не исчезли, не утратили своей мучительной актуальности, и окрылявшая нас мечта ни на йоту не потеряла своего ослепительного очарования. Просто сдернули завесу словес, и в солнечных лучах, при свете дня особенно омерзительной и неприглядной предстала уродливая нагота идеологических догм, пригибающих человека к земле, умаляющих его. Рухнуло то, что было фальшью и гнилью.

Нет, речь не о том, как тщатся доказать нам реакционеры всех мастей, что в генеральном сражении между социализмом и капитализмом последний одолел — нет, битва идет между демократией и диктатурой. И разбит не социализм, а бесчеловечная мошенническая подделка под него, называющаяся «реальным социализмом», подделка, внедренная деспотами с помощью чудовищной машины угнетения и террора. Социализм без демократии — это и есть диктатура, а диктатура, хоть левая, хоть правая — одинаково омерзительна.

Двести лет назад Великая французская революция преобразила мир, установила новые ценности, жизнь стала справедливей и лучше. Но демократию отодвинула в сторону кровавая вакханалия террора, особенно гнусного потому, что творили его от имени и во имя народа, и этот поворот повторился потом в нашем веке в Советском Союзе и в так называемых социалистических странах. От Наполеона — к реставрации Бурбонов, и общество, казалось, двинулось назад, вспять, во тьму. Но возврат к прошлому не мог уничтожить ценности, принесенные революцией, и миру уже не суждено было стать прежним, и реставрировать то, что вдребезги разбила революция, никому уже было не под силу. Точно так же и Октябрьская революция навсегда изменила мир и людей. Провозглашенные ею идеалы переживут нынешнее поражение. То, что поднимало нас на борьбу, осталось свято, каких бы чудовищных и непоправимых ошибок мы в борьбе этой ни натворили.

Это осталось свято потому, что и экономическая, и политическая система капитализма осталась прежней, такой же порочной и несправедливой, какой была всегда, нисколько не лучше, а у нас в Бразилии создаваемые ею проблемы обострились еще больше. Плачевное, сожаления достойное зрелище являет сегодня бразильское общество — ежедневная трагедия голода и нищеты, война с детьми, которых эти же голод и нищета толкают на преступления, полуфеодальные латифундии, истощение земель, уничтожение лесов, ублюдочные элиты. В самом деле, плакать хочется, когда видишь на экране телевизора лик сегодняшней Бразилии.

Надо сохранить родину и родную землю, надо сделать так, чтобы вернулись к нам прежние наши, столь свойственные нам сердечность и веселье, чтобы бразилец обрел свой исконный, свой природный вкус к песне, к танцу, к футболу и карнавалу, к празднику.

...В Испании, в Эскориале, пока длились эти летние курсы, я неотступно думаю о Жаке, о том разговоре, который нам предстоит. Я надеюсь помочь ему. Он мне и вправду как сын, мы встретились, когда он был почти подростком.

И в Париже я первым делом бросаюсь к телефону, звоню Ирен, дочери Жака — он всегда останавливается у нее, — и слышу, как она плачет. Жак два дня назад умер от инфаркта.

## Баия, 1932

У Мирабо Сампайо, окончившего в Баии старейший и самый знаменитый в Бразилии медицинский факультет, славный ораторским искусством своих преподавателей и ученостью своих профессоров, хватило благоразумия никогда никого не лечить. Назначенный санитарным врачом, он ограничил свою помощь страждущему человечеству тем, что старательно и успешно подписывал сертификаты об оспопрививании. Но заботами отца, души в Мирабо не чаявшем и предсказывавшем ему блистательную карьеру эскулапа, получил он в самом центре Баии великолепно оборудованный и роскошно обставленный медицинский кабинет — да, пожалуй, вернее было бы назвать это «амбулаторией», — где мог бы заняться частной практикой.

Пациентов не было, зато кабинет Мирабо в новом доме на улице Чили посещали в изобилии необыкновенном дамы. О, этот кабинет! Обитель греха, юдоль порока! Сколько барышень распрощалось здесь с девичеством, сколько семейной чести погибло в его стенах, где прекрасные дамы из общества с помощью бесстыдника Мирабо и нас, его приятелей, таких же вертопрахов и шалопаев, прилежно занимались изготовлением рогов для своих мужей! Какой там медицинский кабинет — натуральная гарсоньерка, уютная, удобнейшим образом расположенная, снабженная всем, что необходимо для обольщения: от напитков до проигрывателя, от роскошных альбомов с репродукциями до шоколада, и если бы звучал здесь хоть изредка традиционный вопрос «На что жалуетесь?», нечего было бы ответить дамам, отличавшимся отменным здоровьем, но невольно ощущавшим легкий холодок вдоль хребта и зуд нетерпения при виде высокого стола, ширмы, плоской подушечки, покрытой белой простыней кушетки, на которую укладывались они, давая возможность доктору и его дружкам этот зуд если не унять, то хотя бы локализовать.

Да-с, так вот протекала частная практика доктора Мирабо Сампайо, о чем извещала сверкающая табличка у подъезда. Художник из Сан-Пауло Мануэл Мартинс, прибывший к нам, чтобы иллюстрировать путеводитель по баиянским улицам и тайнам, сделал отличную серию ксилогравюр, запечатлевших городские спуски и тупики, церкви и гулящих девок. В одной из комнат «кабинета» он устроил свою студию, где обучал искусству графики, живописи и разврата одаренных художественными способностями девиц из хороших семейств.

Но справедливости ради следует отметить, что один пациент у Мирабо все же был, и стал им, кажется, турист с французского парохода, бросившего якорь в нашей гавани. Европейцы сошли по трапу и двинулись на поиски разных достопримечательностей, коими столь богата Баия. Одни разгуливали по улицам, другие загорали на пляже, а третьи — и в их числе тот, о ком я веду речь, — наслышанные о чудесах баиянской кулинарии, решили с ними ознакомиться. И вот этот несчастный отдал столь обильную дань нашему угощению — всем этим мокекам, ватапам и шиншинам[[102]](#footnote-102), — что уже спустя несколько часов его, что называется, «завернуло и пронесло»: непривычные для нежного европейского желудка яства произвели действие сокрушительное. Придерживая полуспущенные штаны, француз кинулся на поиски врача.

В центре города у подъезда респектабельного дома в глаза ему бросилась бронзовая дощечка «Доктор Мирабо Сампайо. Внутренние болезни». И при виде имени великого соотечественника взыграл в страдальце патриотизм. Исполненный доверия — должно быть, это первоклассный врач! — он вскочил в лифт.

«О, Боже, это же гинеколог!» — в ужасе заключил он, когда увидел многочисленных очаровательных дам, порхавших туда-сюда по всему «кабинету». Но тут вышел к нему сам доктор Мирабо — молодой, красивый, элегантный — и после краткой беседы, которую повел на чистейшем, хотя и чересчур литературном французском языке, и беглого осмотра успокоил:

— Ничего серьезного. Это не желтая лихорадка, не дизентерия, не холера, а расстройство желудка, заурядный понос, вызванный пальмовым маслом-денде, соком незрелого кокосового ореха и жгучим стручковым перцем.

Он не только сказал, чем облегчить страдания, но и протянул несколько таблеток, достав их с полок, на которых стояли в ряд портвейны, вермуты и коньяки. И ничего не взял с него ни за консультацию, ни за лекарство, чем вознесся в глазах француза на недосягаемую высоту великодушия, благородства и истинного гуманизма.

Один-единственный пациент — а какая слава!

## Монте-Эсторил, 1991

Между Рождеством и Новым годом увидели мы по телевизору зрелище поистине трагическое — отрешение от должности Михаила Горбачева, в очередной раз униженного Борисом Ельциным. Да, мы своими глазами увидели, как некогда всемогущий самодержец покидает кабинет президента Советского Союза, ибо нет более и самого Советского Союза. По его лицу видно, как дорого дались ему и отставка, и отход от государственной деятельности, и отказ от мечты создать державу демократического социализма. «Мне все больше нравится Горбачев, — говорю я Зелии. — И все меньше Ельцин».

И я посылаю Горбачеву телеграмму. Я благодарю его за ту решительность, с какой он положил конец холодной войне, отдалил возможность третьей мировой войны — «горячей», ядерной. О ней Жолио-Кюри еще в 1955 году в Хельсинки сказал мне, что начало ее будет означать конец жизни на Земле. Я благодарю его и за те шаги, которые он предпринял, чтобы открыть перспективы для установления демократии там, где столько лет царила диктатура. Я приветствую его и его жену Раису — она была очень любезна с Зелией и со мной, сказала, что я — любимый ее писатель, а «Габриэла» — настольная книга. Даже если эта фраза продиктована всего лишь простой учтивостью или политическим расчетом, все равно приятно услышать ее из уст привлекательной и умной женщины.

Лично я общался с Горбачевым только однажды — на кремлевском приеме в честь нашего тогдашнего президента Жозе Сарнея. В своей приветственной речи советский лидер упомянул меня и Оскара Нимейера. И вот я вижу теперь, как Горбачев слагает с себя свои обязанности: нет, не с облегчением человека, сбросившего с плеч непосильное бремя, — с горечью и разочарованием, он побежден, он проиграл свой «последний и решительный бой» в той войне, которую вел за преобразование государства и самого понятия «коммунизм».

Он нравится мне все больше — справедливости ради скажу, что симпатии мои вернулись к нему во время августовского путча, когда замшелые ортодоксы предприняли безнадежную попытку повернуть время вспять и вновь установить в СССР сталинский режим. А до этого я как-то отдалился от него, ибо он стал прилагать усилия к тому, чтобы замедлить процессы, которым сам же так мужественно и прозорливо дал ход, стал сближаться с реакционерами, искать у них поддержки. Именно в этих обстоятельствах Шеварднадзе ушел с поста министра иностранных дел — я уверен, что мы еще услышим об этом грузине. И вот с этих странных маневров, с отступления Горбачев и начал терять власть.

И я, глядя, как он покидает свой кремлевский кабинет, вспомнил пророчество итальянского романиста Игнацио Силоне, сказавшего однажды Пальмиро Тольятти: «Окончательная битва развернется когда-нибудь между коммунистами действующими и бывшими» — между советским коммунистом Михаилом Горбачевым и великорусским экс-коммунистом Борисом Ельциным.

## Лиссабон, 1957

Я возвращаюсь из Москвы. В Копенгагене сажусь в самолет авиакомпании SAS, следующий по маршруту Цюрих — Лиссабон — Дакар — Ресифе — Рио. Эра реактивной авиации еще не пришла, мне предстоят двадцать шесть мучительных часов. Только из Цюриха до Лиссабона — никак не меньше четырех. Но на этот раз по прошествии трех с небольшим часов самолет наш начинает снижаться, и в иллюминатор я вижу крыши португальской столицы, куда мне въезд — влет? — строго воспрещен, так что крыши — это все, чем я могу насладиться, не считая, понятное дело, зала для транзитных пассажиров в аэропорту Лиссабона, чьи улицы, крутые спуски и кафе я, читатель и пламенный почитатель Эсы де Кейроша, знаю лишь по его романам.

На мой недоуменный вопрос стюардесса отвечает, что через час начнется забастовка летчиков SAS, и все ее самолеты приземлятся в ближайших аэропортах. Чтобы не создавать слишком уж больших неудобств пассажирам, командир нашего лайнера решил сократить путь до Лиссабона, откуда мы самолетами других компаний легко доберемся до Южной Америки. Завтра утром, первым же рейсом «Swissair» мы отправимся дальше.

После посадки у нас отобрали паспорта, повели сначала в зону пограничного контроля, а потом — на таможню. И под любопытствующим взглядом чиновника я, глазам своим не веря, получил свой паспорт с португальской въездной визой, действительной в течение двадцати четырех часов. Затем — таможенный досмотр: перетряхивают ручную кладь. Дело было зимой, и близился вечер.

Нас сажают в автобус и везут в центр города, в отель, где SAS заказала нам номера. Там, у стойки портье, я поймал на себе пристальный взгляд некоего субъекта в габардиновом плаще и шляпе — классический шпик, явный тайный агент, извините за оксюморон. Получаю ключ и приглашение от авиакомпании на ужин, поднимаюсь к себе в номер. Итак, передо мною выбор — ужин с исполнением португальских фадо, либо встреча с давней приятельницей Беатрис Коста, которая, как я узнал из газеты, покуда ждал решения властей, блеснет сегодня мастерством и талантом в одном из спектаклей своего театра. Нет, ни светлой печали фадо, ни лукавого изящества Беатрис — я наконец-то на краткий срок, на одну ночь, вступлю в обладание вожделенным, вымечтанным и запретным Лиссабоном, я пересеку его из конца в конец, я буду бродить по его улицам.

Спускаюсь к портье, меняю малую толику денег, узнаю, как добраться до площади Россио, — все это под внимательным взором и чутким ухом габардинового соглядатая: он даже поднялся с кресла, где сидел во время краткого моего отсутствия. Я выхожу из отеля и двигаюсь в указанном направлении. Шпик, подняв воротник — вечер холодный, — следует за мной несколько поодаль.

Я шел медленно, стараясь принять все, что давал мне Лиссабон — вбирая в себя его звуки, краски, запахи, дома, голоса, лица, шелест и шорох. Сердце мое билось учащенно, на губах застыла растерянная улыбка, на глазах выступили слезы. Я попирал торцы лиссабонских мостовых, останавливался перед витринами, вглядывался в лица прохожих, читал афиши и таблички с названиями улиц и переулков, вывески ресторанчиков и кафе. В витрине книжной лавки я увидел португальское издание «Оттепели» Ильи Эренбурга. Всего неделю назад в Москве я вручил автору его роман, вышедший в Бразилии. Лавка открыта, я вхожу и покупаю экземпляр, чтобы при случае переслать его Илье, и отлично изданный сборник стихов Сезарио Верде. Не удержавшись от искушения, перелистал еще несколько книг, и, должно быть, маячащая у дверей фигура агента привлекла ко мне внимание хозяина. Он пытливо взглянул на меня, стараясь, видно, определить, кто же я такой, но вопрос, уже готовый сорваться с его губ, так и не прозвучал. Как только я ступил за порог, он зашептался с кассиршей. А мы с моим спутником двинулись дальше — к площади Комерсио.

Я зашел в кафе и, смеясь про себя, увидел, как шпик прислонился к фонарному столбу, еще выше поднял воротник — становилось все холодней. Я расспросил официанта, как мне добраться до Алфамы и Моурарии, и снова мы вдвоем зашагали вперед. В ту пору я был ходок неутомимый, и агенту, чтобы не потерять меня из виду, приходилось сильно прибавлять шагу. Тут как раз я увидел своих спутников, вылезавших из автобуса перед рестораном, но не присоединился к ним, снова предпочтя треске и фадо зябкую и сырую, веющую неведомыми ароматами лиссабонскую ночь, тихие улицы, пустынные площади. Мое свидание с городом продолжалось.

Моросил мелкий дождик, а я, закутавшись поплотней в свое русское пальто, прозванное «Броненосец Потемкин», брел себе да брел куда глаза глядят, посмеиваясь над промерзшим и вымокшим соглядатаем. Только в первом часу ночи, усталый и довольный, я вернулся в гостиницу. Получая у портье ключ, я видел: агент, остановясь у дверей, провожает меня глазами до самого лифта. Я чуть было не помахал ему на прощанье, думая, что пришла разлука. Как бы не так: утром, когда я садился в автобус, который должен был отвезти нас в аэропорт, он стоял чуть поодаль, на мостовой. Потом он сел следом, доехал вместе с нами и довел меня до зала транзитных пассажиров. Уж не знаю, дома ли он ночевал или коротал время до утра, скорчившись в неудобном кресле в холле гостиницы. В автобусе он чихал, кляня, должно быть, и мою ночную прогулку и собачью свою службу.

Вот как прошла эта ночь, когда судьба подгадала так, что забастовка летчиков SAS открыла передо мной ворота Лиссабона, и я вдохнул его воздух, ощутил его вкус, познал его красоту, приобщился к его тайне, прикоснулся к нему, как прикасаются в первый раз к телу женщины — желанной и недоступной.

Когда я слышу, что у старости есть свои светлые стороны и преимущества, свои выгоды и прелести, неизменно осведомляюсь — какие же именно? Чуточку больше знать? Капельку меньше страдать от предубеждений и предрассудков? Да на кой же черт сдался жизненный опыт, если жизнь уже прожита, — ни тебе, ни другому проку от него не будет: опыт по наследству не передашь, по духовной не отпишешь.

Зато сколько бедствий обрушивается на нас вместе с грузом прожитых лет, как подгибаются под этим бременем ноги — дрожат коленки, и неверным делается шаг! Я уж не говорю об одиночестве, на которое стольких обрекает старость, но в ужас можно прийти от одного лишь несоответствия между изощренной неугомонностью желания, ненасытностью вожделения — и слабостью плоти. Желание по-прежнему застилает глаза, жжет огнем и пьянит, охватывает все тело, а немощное тело-то еле-еле справляется — если вообще справляется — с долгом своим.

Мудрец, слышал я и в книгах читал, отыщет под занавес жизни иные, более утонченные услады, более возвышенные наслаждения, отыщет и утешится ими. Вот, например, мой друг Мирабо Сампайо живет сладкими воспоминаниями, со светлой печалью — так, что ли? — толкуя со мной о тех временах, когда мог, фигурально выражаясь, с одного накала три гвоздя выковать. Это, что ли, и есть услада и отрада?!

## Париж, 1947

Да имею ли я право сказать, что знавал Альбера Камю? Мы виделись один-единственный раз, да и то — можно сказать, мельком, в дверях кабинета Клода Галлимара: он выходил оттуда, а я входил. Нас познакомили, я воззрился на него разинув рот, он улыбнулся, мы пожали друг другу руки, вот и все, больше мне встретить его не довелось, это было в конце 1949 года.

Я так растерялся, что даже не поблагодарил его за написанную за десять лет до этого статью, где он приветствовал издание моего романа «Жубиаба» в переводе на французский, и Камю, наверно, счел меня человеком либо крайне заносчивым, либо до последней степени неучтивым. Но ведь я и не подозревал о ее существовании, и лишь в 1989 году прочел лестный для меня отзыв. Воображаю, что было бы со мной, узнай я о нем на полвека раньше, как раздулся бы я от гордости и тщеславия!

Роже Гренье, специалист по творчеству Камю, удостоивший меня своего уважения, однажды в разговоре упомянув об этой статье, был несказанно удивлен тем, что я даже не слышал о ней, и вскоре прислал мне ее ксерокопию. Только после этого я понял, что означала улыбка Альбера Камю в тот миг, когда мы встретились в дверях кабинета Клода Галлимара.

## Прага, 1953

Одиночество — не для меня. Или это я не создан для одиночества? Я по натуре человек общительный, люблю людей, люблю разговоры и смех. Тем не менее об одиночестве я знаю не понаслышке, ибо не раз и не два погружался в его зыбучие пески и чувствовал себя всеми покинутым, оставленным и забытым, и сердце ныло от тревоги и тоски. Хуже не бывает.

Из Вены в Прагу я приехал на машине — на шины пришлось надеть цепи, и путь по заснеженному шоссе казался нескончаемым. Думал, вообще не доедем. Однако все же добрались. Из Праги мне предстоит лететь в Копенгаген, а уж оттуда — в Рио, да притом постараться поспеть к Рождеству, чтобы встретить его дома, с близкими. Однако из-за неожиданно ударивших морозов пражский аэропорт закрыт. Остается только ждать.

И около полудня, когда развеялись последние надежды на ужин в кругу семьи, портье отеля «Алькрон» мне сообщил, что в мой номер к полуночи подадут блюдо с холодными закусками — ресторан будет закрыт, как и все прочее. В рождественский сочельник всем хочется быть дома.

Устав читать, тем более что мысли мои были далеко, я вышел на улицу, спустился к пустынной площади Венцеслава, где не было ни единой живой души (или хоть тела) — ну, никого, просто никого. Закрыты были отели, бары, пивные — я был один в Праге, в ночь перед Рождеством, я и только я. Я брел по улицам, вышел на Старо Място, но не встретил даже бродячей собаки, даже тощей бездомной кошчонки. Вы спросите: «А друзей, что ли, не было?» Были, были у меня в Праге друзья, и в немалом количестве, но я не решился нарушить их семейный праздник неожиданным вторжением.

Падал снег, холод пронизывал меня до костей, и когда я вспоминал о родных, так тяжко становилось на сердце... Раз и навсегда усвоил я, что такое одиночество.

## Сагрес, 1971

...Толстый — в то лето меня отчего-то разнесло как никогда — в бермудах, гавайской рубахе в красно-синих цветах, в сандалиях на босу ногу и в матросской шапке с помпоном на голове я выгляжу точь-в-точь богатым американским туристом.

Перед нами — палаточка, а на прилавке множество всякой всячины, гора лакомств — сушеные фрукты, грецкие орехи, лесные орехи, миндаль, финики и прочее, глаза разбегаются. Я останавливаюсь в восхищении, а хозяин — приземистый тучный португалец средних лет, — предчувствуя крупную покупку, смотрит на меня с интересом. Я снимаю с верхушки пирамиды венчающую ее инжирину, надкусываю, наслаждаюсь вкусом и не могу удержаться от истомного вздоха. Продавец следит за тем, как жует пузан-американец.

— Гуд? — произносит он английское слово, известное всякому торговому человеку.

— Гуд, — не кривя душой, подтверждаю я.

Вокруг хохочут, слушая наш диалог, и еще громче становится смех, когда португалец говорит на родном языке:

— Ах ты обжора, обжора, вон какое брюхо себе наел.

Мы с Паломой чуть не падаем от смеха, я с трудом перевожу дух.

— Папа, он думает — ты американец! — громко говорит Палома.

— Ой! Это бразильцы! — стонет, осознав свой промах, продавец.

Я накупаю несколько кило фиг, фиников, орехов — всего, что я так страстно люблю. Тут, держа наготове ручки, приближаются поклонники моего творчества — просят дать автограф.

— Киноартист, — в растерянности говорит хозяин.

## Ильеус, 1925

Приехав на каникулы в Ильеус, Эурико и Эмилио, сыновья доны Жулиеты, и я, сын доны Эулалии, — Эмилио уже исполнилось тринадцать, а нам с Эурико еще нет — набрались храбрости и отправились в публичный дом Антонии-Кувалды (в «Габриэле» я вывел ее под именем Марии), лучшее и самое прославленное заведение во всем штате. Там, кроме наших соотечественниц из Баии, Аракажу и Рио, подвизались, приобщая диких бразильцев к достижениям европейской цивилизации, две «гринги» — француженка и полька.

Страшно оживились девицы, когда трое маменькиных сынков, трое явно невинных мальчуганов переступили запретный, заветный порог, — со смехом и визгом окружили нас, затормошили, затискали, расцеловали, повисли на шее, и каждая в наставницы предлагала себя. Близился торжественный миг прощания с невинностью. Эмилио, напыжась, делал вид, что ему это не впервой, брат его Эурико от смущения совсем потерялся, а ко мне на колени уселась полька. Тут, привлеченная непривычным гомоном, и спустилась сверху Антония-Кувалда, и грянули для нас трубы Страшного суда.

Антонию, несмотря на ее ремесло, которое правила она с выгодой для себя, знал и уважал весь город, никто ее не чурался и не гнушался, и даже самые важные дамы из местного общества, супруги завсегдатаев ее заведения, за честь считали поддерживать с ней знакомство и водить дружбу, и не было такой, кто бы не ответил ей на поклон. С моей матерью, жившей неподалеку от улицы Уньян, где помещался веселый дом, любила она при встрече почесать язычки — присаживались обе на лавочку, обсуждали погоду, виды на урожай тростника и цены на какао. В наших краях за обладание землей еще убивали и умирали, и социальные различия не успели повлиять на нравы.

И увидев, как мы, облепленные ее барышнями, делаем выбор, с кем бы нам пасть, Антония-Кувалда взревела диким зверем:

— Марш отсюда, желторотые, сию же минуту убирайтесь прочь, бесстыдники! Не дай бог, узнают дона Жулиета с доной Эулалией, что их сыновья шляются к девкам! Вон!

И так вот нас, вконец обескураженных и сникших, с позором выставили из борделя, ибо под надежной защитой хозяйки его, Антонии-Кувалды, была мораль в городе Ильеусе.

## Сан-Пауло, 1945

Мне немало пришлось посидеть за решеткой и, не хвалясь, скажу, что спокойно переносил неволю — в буйство не впадал и духом не падал. Интересно, как бы я вел себя в каталажке сейчас?

Одна из моих отсидок носила трагикомический характер и заслуживает рассказа. Дело было в середине 1945 года, еще во времена «Нового государства». Политическая полиция Сан-Пауло устроила засаду в штаб-квартире Комитета помощи ООН (читай — Советскому Союзу), который постепенно превращался в координационный центр всех организаций, связанных с компартией, — как реальных, так и существовавших лишь на бумаге. Я бывал там каждый вечер, встречался с товарищами, сидел на заседаниях и совещаниях, получал и давал задания. А в тот день меня там поджидали чины тайной полиции во главе с инспектором Луизом Аполонио, личностью легендарной. Было арестовано человек пятьсот — интеллигенция, профсоюзные активисты, сочувствующие. Нас, Кайо Прадо Жуниора и меня, подержав немного в Центральной тюрьме, перевели в дом предварительного заключения, посадили в ту самую камеру, где томился когда-то Монтейро Лобато, получивший срок за то, что сообщил: в Бразилии есть нефть!

В огромном зале, пол которого был сплошь завален тюфяками, нас встретил единственный заключенный, художник Кловис Грасиано, на мой вопрос: «Что ты тут делаешь?» — ответивший: «ТЕБЯ ПОДЖИДАЮ». Мы попытались было упросить тюремное начальство, чтобы нас всех поместили вместе, но получили отказ. Часа в два ночи нас выпустили на волю.

Так вот, в ту самую пору в Сан-Пауло проездом из Минас оказался один мой читатель и почитатель. Накануне он позвонил мне, сообщил, что купил несколько моих книг, и попросил надписать их. Я назначил ему встречу в комитете в четыре часа, но в три меня уже арестовали, а перед моим поклонником вместо его любимого автора предстали агенты полиции. Естественно, его тоже замели.

На следующее утро в моей квартире началось настоящее столпотворение: родственники задержанных требовали, чтобы я принял меры. Помню, как одна испанская сеньора, чью дочь арестовали накануне, громовым ревом возлагала на меня возможные последствия ее ареста, твердя: «Она — девственница!» Мы с Кайо Прадо отправились объясняться с начальником городской полиции. Не прошло и суток с начала облавы, как все арестованные оказались на свободе — была среди них и испанская профсоюзница, чья чистота не претерпела ни малейшего ущерба. Все — за исключением моего читателя — тот вместе с неполным собранием моих сочинений остался под замком, ибо за него никто не хлопотал. Он просидел двое суток, а мог бы — и до скончания века, если бы родня не забеспокоилась: уехал из Минас-Жерайс и как в воду канул, и к сроку не вернулся, и вестей не шлет. Его начали искать по моргам и больницам, а нашли в тюряге, в статусе задержанного по подозрению в коммунистической деятельности. Думаю и не сомневаюсь, что книги мои он бросил в камере, где провел эти двое или трое — точно не помню — суток.

«Бардом блядей и бродяг» не без презрения окрестил меня однажды некий влиятельный критик. Меня радует, что я зачислен в такой разряд, и привожу здесь эти слова, чтобы точнее определить свои писательские пристрастия. И слово «блядь» мне нравится — оно просто и чисто, в отличие от «девицы легкого поведения», «уличной женщины» и всяких прочих уничижительных иносказаний. В трех дворцах случалось мне вслух упоминать, что я — бард блядей и бродяг, и делать ударение на втором слове. Это было во Дворце Планалто, в Бразилии, когда наш тогдашний президент Жозе Сарней объявил о создании культурного фонда, носящего мое имя. И во Дворце совета в Софии, где мне вручали премию Димитрова. И во Дворце Белен в Лиссабоне, когда президент Португалии лишил меня статуса «прґоклятого писателя» и вручил мне орден Святого Иакова с мечом. Что бы там ни было, бляди и бродяги всегда будут на моей стороне.

## Баия, 1956

Жил да был у нас в Баии в 50-е годы немец Карл Хансен. Жил он в домике, на берегу моря, и была у него жена Роза, сын и дочка, и осел по кличке Зигмунд Фрейд — главное достояние семьи. Ослик был невелик, а немец Хансен — мужчина весьма рослый, так что местные рыбаки и бездомные мальчишки — «капитаны песка» — очень веселились всякий раз, когда видели, как ноги всадника волочатся по земле. В те годы приморский этот квартал, называвшийся Амаралина, был отдаленной городской окраиной, здесь обрывались трамвайные пути.

Карл в ранней юности приехал в Бразилию из Гамбурга вместе с братом-архитектором, тот обосновался в Сан-Пауло, а наш герой выбрал Баию, снял в кредит у одного рыбака глинобитный домик. Жил он бедно, ибо занимался искусством — рисовал, резал гравюры по дереву, изображая сцены городской жизни. Из окна бара «Сан-Мигел», что на площади Пелоуриньо, сиречь — Позорного Столба, наблюдал художник кружение и мельтешение гулящих девиц и разнообразных подонков общества, иначе говоря, маргиналов, а результатом этих наблюдений стал альбом гравюр, ныне стоящий баснословных денег. С художником мы познакомились, когда я по его просьбе писал к этому альбому предисловие. Десять лет спустя вышел с моим сопроводительным текстом второй его альбом: опять виды и типы Пелоуриньо, ежедневная и повседневная Голгофа неимущих — ремесленников, проституток, пьяни и рвани, бродяг, детей без отца и матери. Карл вскоре уехал назад, в Германию, стал называться Хансен-Баия, чтобы, изнывая от ностальгии, указать почву, на которой произросло его искусство. Оттуда, из сырого и туманного Гамбурга, вывез он вторую свою жену — белокурую Эльзу, юную Валькирию, и она ступила на наш баиянский берег в африканской, расшитой львами и леопардами мантии, ибо из Германии чета отправилась в Абиссинию, где, по прихоти и повелению негуса, основала и возглавила Школу изящных искусств. Впрочем, у нас в Бразилии немка в два счета превратилась в истую баиянку — тюрбан на голове, кружевная юбка, и местные рыбаки стали звать ее Инайэ — морской царицей.

Но все это было потом, а тогда, вернувшись на родину, откуда пустился когда-то странствовать по свету, Хансен встретил Эльзу, которую оставил совсем девчонкой, и влюбился. Она же сделалась его ученицей и смотрела на него глазами, полными восторга и обожания. Хансен решил на ней жениться. Однако его смущала разница в возрасте, и он отправился за советом к человеку опытному и знающему — к родному отцу. Попросил у него благословения, рассказал: так, мол, и так, страсть меня охватила, но я человек уже в годах, а невеста — этакая лолита, нераспустившийся бутон. Как быть? Не разумней ли взять в жены ровню и сверстницу? Отец поразмыслил и вынес такой вердикт: «Старая ест столько же, сколько молодая, а то и больше. Зато хворает чаще и дольше, на одни лекарства сколько денег изведет. Женись на молоденькой, сын мой, сальдо будет в твою пользу».

«Папаша у меня, как видите, был в своем роде поэт», — замечал по этому поводу Хансен-младший, рассказывая приятелям эту историю. Он внял совету, женился на Эльзе и жил с нею счастливо, в любви и согласии, удивительно гармоничное было супружество. Когда же Хансен умер, она не перенесла разлуки и одиночества — отправилась за Карлом следом, видно, думала, что и на небесах есть такой квартал, где живут бродяги, проститутки и художники.

Но все это, повторяю, было потом, а тогда, в 50-е, во время первого своего проживания в Баии, Карл однажды рано утром обнаружил на песке у порога своей лачуги огромный янтарь весом, должно быть, в несколько кило. Такой вот подарок сделало море художнику, бедней которого сроду не бывало ни в Бразилии, ни в Германии. Карл и Роза даже сперва и не поняли, янтарь это или нет. Хансен стесал с него кусочек и на трамвае повез показывать в ювелирный магазин братьев Морейра. «Самый натуральный, настоящий янтарь, — сказали ему там, — и редкостного качества. Если камень и впрямь таких размеров, как вы говорите, то он стоит огромных денег, вам по гроб жизни хватит, и внукам останется».

Хансен вытряхнул из кармана последние медяки, схватил такси и помчался с ошеломительным известием домой. Приехал. Роза дремлет на солнышке. Узнав о том, что это настоящий янтарь и что они теперь богаты, рассказала она мужу о случившемся в его отсутствие происшествии. Осел по кличке Зигмунд Фрейд, подобно многим и многим поколениям своих предков постоянно мучимый голодом, ибо родом был из самого что ни на есть голодного края, из сертанов[[103]](#footnote-103), — обрадовавшись нежданной поживе, взял да и сожрал, сожрал с удовольствием и в один миг бесценный дар моря. Не побрезговал и не подавился, оказал честь угощению, которое могло бы долгие годы кормить самого Хансена, детей его и внуков. Но художник не впал в отчаяние, и глазом не моргнул: эка важность, подумаешь тоже, да и что бы он стал делать с такими деньжищами?! Одна головная боль от них. Он погладил осла, поцеловал его в лоб и пошел заниматься своим делом — гравюры резать.

Куда бы я ни попал, в каком бы уголке света ни оказался, в глухом захолустье или в столице — всюду ждет меня накрытый стол и дружеское слово.

Мне скажут: я прочел твою книгу, я смеялся и плакал, я был взволнован и растроган. Тереза Батиста[[104]](#footnote-104) изменила мою жизнь, Педро Аршанжо научил меня свободно мыслить, своим умом жить, собственной головой думать, а Кинкас-Сгинь-Вода — всегда и во всем оставаться самим собой, вслед за капитаном Васко Москозо де Араганом я решительно менял убогое благополучие на прекрасную мечту, от Габриэлы перенял я способность любить, а Дона Флор показала истинную мощь любви, перед которой отступает и сама смерть. Ты — писатель, потому что существую я, твой читатель, тот, кто плачет и смеется над твоими страницами.

Куда бы ни занесло меня, всюду услышу я дружеское слово, увижу накрытый стол. Это и награда, и оправдание, и обязательство.

## Фазенда «Санта-Эулалия», Пиранги, 1924

Впервые я согрешил у нас в имении, и чистоту свою потерял с помощью нашей кобылы — существа нервного, статного, изящнейшего, пугливого, даже не хочется говорить — резвого, а стремительного как птица. Я рос без присмотра, на плантациях какао, и множество раз видел, как совокупляются пеоны с ослицами и лошадьми. Моя кобылка — помимо прочих достоинств, отличалась она удивительной, переливчатой мастью: французы называют это «changeant» — была весьма порочна. Стоило лишь хлопнуть ее по крупу, и она с готовностью подгибала передние ноги, становясь в позицию, отставляла хвост.

Любовь наша происходила на лугу при луне. Как я ревновал свою кобылу — она была мне неверна, изменяла с пеонами и жагунсо[[105]](#footnote-105), с негром Онорио, с рыжим веснушчатым мулатом Диоклесио, с курибокой[[106]](#footnote-106) Аржемиро, со всеми подряд, не различая расы и классы. Любила, извращенка, мужчин.

## Баия, 1988

Флориано Тейшейра родился в штате Мараньян гораздо больше лет тому назад, чем может показаться, когда посмотришь на него. У нас в Баии он малость растолстел, но не постарел нимало. Жизнерадостный патриарх, окруженный детьми и внуками. Жену его зовут Алиса: при всей своей кротости она человек бесстрашный, и покуда стоит у кормила семейного ковчега, плавающие по бурному морю житейскому могут быть спокойны. В нашем Флориано намешано много разных кровей, но преобладает индейская.

Жизнь его текла в Сеаре, он там родился, там женился, там учился и не доучился в университете, там основал музей, там стяжал себе славу одного из первых бразильских графиков. В 1963-м состоялась его выставка в баиянском Музее современного искусства: Флориано приехал на торжественное открытие и остался навсегда. В Баии Алиса родила ему еще одного сына, Педриньо, а в мастерской на Рио-Вермельо, где в неустанных трудах созидает художник прекрасное, прибавились к графическим листам живописные полотна.

Он оформлял книги своих друзей — и мои в том числе. Это он придал Доне Флор величавую и кроткую красоту своей Алисы, уроженки Островов Зеленого Мыса. Подозреваю, что на ложе воображения без счета обладал он Ливией[[107]](#footnote-107), Габриэлой, Тьетой и Терезой-Батистой. Иначе как бы удалось так удивительно воплотить их на листе бумаги? Я его должник.

В своем доме на улице Ильеус учтиво принимает он поклонников своего дарования — платонических и тех, кто желает приобрести образцы его творчества. Ведет с ними задушевные беседы. Одна туристка-миллионерша, которой Лев Смарчевский порекомендовал купить картину Флориано, долго изучала творения и творца, а потом спросила:

— Скажите, сеньор Флориано, вы из Сан-Пауло?

— Я? Нет, сударыня. Я из штата Мараньян.

— Да? Отчего же вы так похожи на японца?

## Мадрид, 1966

Я собираюсь в Европу, со всем семейством: Зелия, Жоан Жоржи, Палома. Мой первенец вернулся в отчизну в 1952 году, когда было ему пять лет от роду, и он говорил по-чешски с французским акцентом. Палома родилась в Праге. Мы хотели показать нашим уже почти взрослым детям Старый Свет, свозить их, пока идут летние школьные каникулы, на экскурсию, так сказать.

Получил я испанскую визу, в которой мне до тех пор упорно отказывали, но зато в очередной раз убедился, что ходу в Португалию мне нет, купил билеты на маленький пароход, отправлявшийся в Галисию, в порт Виго с заходами на Канарские острова и в Лиссабон. Пароход — этот и ему подобные — так и назывался «галисийский корабль», ибо перевозил баиянцев испанского происхождения из нашего славного Салвадора на историческую родину — в Понтеведру. Если отсутствие португальской визы томило и печалило меня, то невозможность завернуть во Францию, погулять по Буль-Мишу вместе с Жоаном, как когда-то, когда он был еще маленьким (а ведь именно в отеле «Сен-Мишель» отпраздновали мы первый его день рождения), показать Паломе красоты и достопримечательности этого волшебного города, Нотр-Дам и Лувр — меня просто под корень подрубила.

Но тут я вспомнил, что мои друзья, Анна Зегерс и Пьетро Ненни — в свое время высланные из Франции по тем же причинам, что и я, если им надо туда попасть на заседание Комитета защиты мира или на какой-нибудь конгресс, просят и получают визу — специальную, краткосрочную, предусматривающую ограничения во времени — не более двух недель — и, так сказать, в пространстве — туда вот нельзя, а сюда можно. Я вспомнил все это и написал письмо Гильерме Фигейредо, в ту пору работавшему в нашем посольстве культур-атташе. Странный это был дипломат: он не считал, что должность его создана лишь для приятного времяпрепровождения, усердно пропагандировал бразильскую культуру, продвигал для перевода и издания не собственные сочинения, а книги своих собратьев по ремеслу.

Мы с ним знаем друг друга чуть ли не всю жизнь, по крайней мере, с тех пор, как стали заниматься литературой, вместе боролись против «Нового государства», и борьба эта стоила отцу Гильерме, генералу Эуклидесу Фигейредо, многолетнего тюремного заключения; мы спорили на собраниях и съездах Ассоциации бразильских писателей, нами же и созданной в 1944 году. Я был коммунистом, он — демократом левого толка, но разница убеждений и взглядов не мешала нам дружить. Твердолобые ортодоксы из нашей компартии глядели на него косо, считали его недостаточно идеологически выдержанным, а пьесы Фигейредо — назову лишь «Лису и виноград», «В доме ночевал Бог» — с огромным успехом шли в театрах Москвы и Пекина, Софии и Праги, Варшавы и Бухареста, ни один из прочих бразильских драматургов и сравниться с ним не мог по известности.

Ну-с, так вот, я написал ему письмо, рассказал про наши с Зелией злоключения и спросил, что нужно сделать, чтобы получить эту пресловутую специальную визу. Фигейредо без промедления прислал в ответ подробную анкету, которую нам следовало заполнить, и заверил, что, по его мнению, французские власти разрешат нам эти самые две недели. Мы обрадовались, предвкушая прогулки по Люксембургскому саду, заполнили анкеты, приложили фотографии, сложили все это в конверт, отправили Гильерме. И спустя четыре дня отчалили, попросив его в случае благоприятного исхода нашего дела переправить визы в наше посольство в Мадриде.

Поплыли, жалея, что не сможем сойти в Лиссабоне, но лелея надежду на Францию — одно другого стоило. Однако в Лиссабоне мы узнали приятную новость: португальские власти разрешают сойти на берег с тем условием, что в газетах не появится об этом ни строчки. Это известие нас окрылило — неужели генерал де Голль окажется к нам суровей, чем доктор Салазар?!

Мы добрались до Галисии, а оттуда поездом — до Мадрида, и там, в посольстве нас ожидала телеграмма от Фигейредо: «Ни о чем не беспокойтесь, все улажено». Я чуть не лишился чувств от их наплыва. Еще две недели спустя мы были уже на испано-французской границе, дети — в полном восторге, мы с Зелией — в некоторой тревоге. Предъявили паспорта, страж границы изучил их, поставил штемпеля въездных виз. Въехали, стало быть. В Париже, в ресторанчике, расположенном рядом со знаменитым оптовым рынком, за ужином — седло косули и бутылка благородного красного — Гильерме рассказал нам, как развивались события.

Получив от меня все бумаги и документы, он лично отвез их в соответствующий отдел министерства внутренних дел и вручил чиновнику. Покуда тот их неторопливо оформлял и определял срок ответа, Фигейредо, человек по природе весьма импульсивный и горячий, накалялся все больше и больше, наливался яростью все сильней и сильней, так что, когда клерк протянул ему формуляр с номером, словно квитанцию из прачечной, наш драматург отказался взять ее и потребовал документы вернуть. По его словам, он был до того возмущен теми унижениями, которым подвергают меня и Зелию, что хотел порвать бумаги на мелкие кусочки и бросить их чиновнику в морду, и сдержался лишь потому, что вспомнил о своем дипломатическом статусе. Но я-то, хорошо зная Гильерме, сомневаюсь в его словах и полагаю, что бумажки были все же разорваны и брошены в соответствующее должностное лицо.

Воротившись в посольство, на улицу Тильзит, он, все еще кипя от негодования, пишет письмо самому Андре Мальро, бывшему в ту пору министром культуры, где излагает ему все, начиная с того дня, когда в декабре 1949 года правительство Жюля Мока решило выслать нас из страны, и кончая просьбой выдать нам специальную краткосрочную визу, ограничивающую наши передвижения по belle France. «Вы сами можете судить, дорогой господин министр, как обращаются в вашей стране с бразильским писателем».

Проходит три дня, Фигейредо приглашают в Министерство иностранных дел, где официально уведомляют, что все меры, принятые против нас шестнадцать лет назад и объяснявшиеся «политическим моментом», то есть, проще говоря, свистопляской холодной войны, подлежат отмене и забвению.

Не только нам с Зелией разрешено отныне любить Францию не на расстоянии, а наслаждаться истинной близостью. Нет, всех — человек, наверно, двадцать! — кому в сходных обстоятельствах запрещен был «въезд и пребывание», восстановили в правах, и среди «реабилитированных» Неруда, Скляр, Жак Данон и другие.

А Неруда однажды, не вынеся разлуки с милым Парижем, прикатил из Швейцарии без визы и паспорта, благо на границе проморгали «нежелательного иностранца», и, очень довольный собой, поселился у друзей в предместье, откуда его, впрочем, уже через два дня полиция выдворила на ту же швейцарскую границу. А Карлос Скляр, приглашенный на вернисаж своей приятельницы Виейры да Силвы, сел в самолет, полагая, что по прошествии стольких лет все уже давно позабылось, и спустя сколько-то часов оказался в аэропорту Орли. Он протянул свой паспорт, но полицейский сверился с какой-то книжечкой, и бедного художника едва не запихнули в первый же самолет на Рио — он еле упросил, чтобы ему разрешили улететь в Бельгию. Так что Гильерме Фигейредо и Андре Мальро вернули Францию многим достойным людям, и от них от всех им горячее мерси.

Сколько раз проходил я мимо дома Жака Превера[[108]](#footnote-108) в квартале Сите-Вернон, неподалеку от «Мулен-Руж», и как жалею сейчас, что не постучал в дверь: Жак, я из Бразилии, я знаю твои стихи наизусть, вот послушай-ка, а строчку из твоей «Барбары» — «quelle connerie, la guerre»[[109]](#footnote-109) — взял эпиграфом к своему роману. Мы с тобой одинаково ненавидим войну, одинаково любим тех, кого принято называть «простыми людьми». А я так и не набрался смелости прийти к тебе — побоялся показаться навязчивым, не хотел беспокоить...

...Хотелось мне познакомиться и с Эрскином Колдуэллом[[110]](#footnote-110), когда я узнал, что он в Париже и направляется в Болгарию. Я давно к тебе иду, сказал бы я ему, еще в 1937 году в Нью-Йорке я прочел «Табачную дорогу», а потом посмотрел фильм Джона Форда, и мне казалось, что при всей разнице масштабов дарования чем-то мы с тобой похожи, и что-то общее есть в наших взглядах на мир и в желании перекроить его и переустроить на более справедливый манер. Так же, как тебе, мне хотелось, чтобы вместо военного министерства, созданного людям и народам на беду, государства и правительства учредили бы министерства мира. Но я не решился — и помимо опасения показаться назойливым, не хотелось отнимать у тебя время: я уже тогда знал, как скупо отмерено его всем, а пишущим — в особенности.

...Я был в Москве, когда там отмечали юбилей Серафимовича — его 85-летие. «Железный поток» был одним из первых советских романов, прочитанных мною. Какая книга!.. Я хотел присоединиться к делегации своих русских собратьев по ремеслу, которые шли поздравлять писателя с юбилеем, но что-то не сложилось, а являться «самому от себя» я счел неуместным — вот и пропустил возможность вживе и въяве увидеть человека, оказавшего на меня большое влияние.

До сих пор грызет меня досада, что от страха, от застенчивости, от какого-то ложного стыда я столько раз не выразил слова любви, уважения, восхищения людям, перед которыми преклонялся. Но когда я думаю об Андре Мальро, к досаде примешивается стыд — я в долгу перед ним и уже никогда не сумею поблагодарить его. Я любил его книги с юности, многие сцены из «Условий человеческого существования» навсегда запечатлены в моей памяти — вижу их, как на киноэкране, прочитал, кажется, все им написанное — от «Покорителей» до «Надежды».

Дважды Мальро решительно вмешивался в мою «французскую судьбу». Это он, насколько я знаю, убедил в 1938 году издательство «Галлимар» опубликовать перевод моего романа «Жубиаба», ибо переводчики Мишель Бервейе и Пьер Уркад ему отдали рукопись на прочтение, суд и отзыв. Это он добился отмены принятого в 1949-м запрета приезжать во Францию мне, Зелии, Неруде и многим другим жертвам холодной войны... Так отчего же я не пришел к нему, не поблагодарил? А ведь так хотел... Приезжая в Париж, я всякий раз думал: уж теперь-то пойду непременно, и тотчас говорил себе: а с какой стати, по какому праву и вообще кто ты такой, чтобы отвлекать от дела прославленного писателя, а теперь еще и министра Французской Республики? Не сумел я набраться отваги, не смог побороть страх, что окажусь не ко двору, не ко времени...

Не знаю, каков был Мальро в тесном общении, но в том, что масштаб личности не уступал дарованию, не сомневаюсь ни секунды. Когда я думаю о нем, то вижу его в кабине истребителя, в небе сражающейся Испании.

## Гавана, 1986

В Центральном комитете идет беседа с Фиделем. Помимо Зелии, присутствует Хорхе Боланьос, заместитель министра иностранных дел, которого вскоре назначат послом в Бразилию. Наш тогдашний президент Жозе Сарней собирается восстановить дипломатические отношения с островом барбудос, прерванные после военного переворота 1964 года.

Мы говорим о том, что объединяет Бразилию и Кубу, а объединяет многое, но даже самые разные страны могут найти общий язык, если есть взаимное уважение. А нам сам Бог велел дружить, ладить, торговать. Надо нагонять упущенное время — те десятилетия, в течение которых мы, бразильцы, жили по принципу: что хорошо для Соединенных Штатов, то хорошо для Бразилии, а кубинцы пытались экспортировать революцию.

За несколько дней до этой встречи я слушал длинную — можно подумать, у него бывают короткие — речь Фиделя на торжественном открытии Института латиноамериканского кино, во главе которого стоит Габриэль Гарсия Маркес. Фидель назвал себя человеком, склонным к размышлениям и сомнениям. Раньше, впрочем, за ним такого не замечалось, но я поверил, что сейчас он говорит правду, — прежде чем совершить поступок и начать действовать, он думает. Как иначе объяснить его шаги, направленные на улучшение отношений с Ватиканом и со священниками — в первую очередь, конечно, с приверженцами «теологии освобождения». И я, памятуя об этом новообретенном свойстве кубинского лидера, подбрасываю ему пищу для размышлений — говорю о том, что представляется мне самым важным для нашей дружбы. Мы с кубинцами — двоюродные братья. У нас больше оснований понимать друг друга и быть друг с другом заодно, чем у любых других латиноамериканцев, ибо мы и кубинцы — плод смешения одних и тех же рас. Больше таких на нашем континенте нет. Повторяю и подчеркиваю: мы — африканцы по происхождению и по вере, по обычаям и по культуре, разве не так, команданте? И до сих пор на эту нашу особенность никто почему-то не обращал внимания, не придавал этому обстоятельству должного значения — ни на Кубе, ни в документах, речах, инициативах бразильских «левых», словно бы это родство по африканской крови не объединяет нас и в то же время не выделяет из остальных «латиносов».

Да, говорю я Фиделю, мы с вами замешаны из одного теста, и наш культурный синкретизм берет начало из одних и тех же источников. Я предлагаю ему предпринять кое-какие усилия для того, чтобы лучше узнать и приблизить друг к другу «негритянские ценности» двух наших культур — кубинской и бразильской. Я рад тому, что на Кубе уже существует наша религиозная миссия, наших падре больше не преследуют здесь как контрреволюционеров, а Зелия вместе с Джули и Гарри Белафонте побывала вчера на радении, которое у нас в Баии именуется кандомбле, а здесь — сантерия. Отчего бы не наладить взаимообмен между двумя этими ветвями афробразильского культа, тем более что обе они — йорубского происхождения, и богов-ориша Баии не отличить от их собратьев, обитающих в Сантьяго-де-Куба. Если доступ на остров открыт католическим священникам, если они служат мессы в кубинских храмах, отчего бы не привезти в Гавану на праздник Шанго наших «дочерей святого» — Стелу де Ошосси, Олгу де Алакету, Креузу де Гантоис?! И отчего бы 2 февраля, когда начнется в Баии праздник Йеманжи, не прислать туда кубинских йалориша? Неужели для барбудос народные верования, приплывшие к нашим берегам в трюмах невольничьих кораблей, значат меньше, чем таинства Церкви Христовой, завезенные к нам каравеллами Колумба?

В Центральном комитете кубинской компартии я напускаю африканских ориша на Фиделя Кастро — он же, по его словам, склонен к размышлениям, вот пусть и подумает. Впрочем, у него и без террейро и макумбы хлопот и проблем невпроворот — в Гаване приезжий сталкивается с ними буквально на каждом шагу.

## Рио-де-Жанейро, 1953

Жозе Панчетти пребывает в злобе и большой обиде на меня, грозится поссориться со мной на смерть, устроить грандиозный скандал — он обзывает меня неблагодарной тварью и не желает слушать никаких объяснений. Он требует, чтобы я похлопотал перед руководителями нашей компартии и перед советскими товарищами и устроил в Москве выставку его работ. Художник Панчетти полагает, что мой голос имеет какое-то значение — о, горе мне!

Да я мечтал бы, чтобы полотна Панчетти были выставлены не только в Москве, а во всем мире, чтобы творчество наших художников снискало себе международное признание. Да вот беда, творчество это ограничено канонами «Парижской школы», и боюсь, что за исключением Лазаря Сегала, немецкого еврея в той же степени, что и бразильца, нет в нашей отчизне художника, способного заинтересовать европейских критиков и коллекционеров. Речь идет исключительно о живописи и о скульптуре, а не о графике — гравюры нашего земляка Алдемира Мартинса получили Гран-при на Бьеннале в Венеции. Чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности, нашим художникам надо создать бразильскую живопись — бразильскую не только по содержанию, но и по форме, придумать свои средства выражения, а не перепевать открытия «Парижской школы», словом, поступить по примеру мексиканцев, которые создали собственное искусство, не следующее за европейской модой. Именно благодаря этому своеобразию так далеко за пределы национальных музеев и галерей вышли работы мексиканцев, завоевав себе мировую славу. Покуда наши художники не поймут этого, на международном рынке котироваться будут лишь наши «naпfs» — они имеют громовой успех на выставках в Европе, о них взахлеб пишут газеты, они покорили Париж.

Что же касается Советского Союза, тут дело осложняется еще и соображениями идеологического характера: все, что не вписывается в рамки академической живописи, товарищ Жданов, которого товарищ Сталин назначил старшим по литературе и искусству, объявил трюкачеством и формализмом, и по этой причине полотна Пикассо, Шагала, Матисса и других гениев современной живописи заперты в запасниках Эрмитажа — посетители их не видят. О том, чтобы выставить в СССР работы Панчетти, нечего даже и думать.

Тебе достаточно сказать два слова Эренбургу, и дело решится! — утверждает он, давая мне недвусмысленно понять, что с моей стороны это самый настоящий саботаж. До «объективных причин» ему дела нет. Я возмущен: по какому праву сомневается он в моей дружбе, проверенной столькими годами? Но я не могу сказать ему всю правду, а она заключается в том, что Илье вряд ли понравится его живопись. А что до советских товарищей, то для них полотна Жозе относятся к числу безусловно осуждаемых режимом и отправляемых в запасники: если не выставляют Пикассо, с какой стати выставлять Панчетти?!

Что же, я не помню разве, как совсем недавно Пабло Неруда, большой патриот и преданный друг своих друзей, хотел было обратиться к Эренбургу с просьбой написать предисловие — ну, хоть несколько фраз — к каталогу Хосе Вентурелли, земляку и протеже. Илья смотрел репродукции и восклицал: чудовищно!.. отвратительно!.. ужасно!.. так что Пабло не решился даже заикнуться о предисловии.

Тот же Эренбург в пору правления Хрущева каким-то чудом добился разрешения устроить выставку Пикассо. Несмотря на всякого рода препоны и помехи — ни в одной газете не было ни словечка о выставке, не вывесили ни единой афиши, а сама выставка состоялась чуть ли не на окраине Москвы, в тесном и неудобном помещении, — успех был грандиозный. Известие перелетало из уст в уста, и хотя вернисаж назначен был на четыре часа, уже к полудню у здания собралась огромная толпа, очень скоро запрудившая всю улицу и грозившая высадить единственную дверь, которая вдруг приоткрылась на четверть, пропуская Илью с историческими словами: вы ждали этого момента тридцать лет, подождите еще полчаса.

Но просьба Панчетти, вернее, требование устроить ему и его картинам приглашение в Москву и мои уклончивые ответы — все это было задолго до воцарения Хрущева. На дворе стояла лютая идеологическая зима. Попробуйте-ка втолковать это упрямому живописцу, желавшему, чтобы его полотна собирали тысячные толпы в Москве, в Ленинграде, в Киеве, в Тбилиси. А раз не выходит — значит, я во всем виноват, я один. Ну, в конце концов он меня допек, и я вспылил, послал его к черту. Мы рассорились.

## Эвора, 1987

Читательница из Эворы, учтивая и восторженная, как истая лузитанка, написала мне, желая узнать мое мнение о Фернандо Пессоа[[111]](#footnote-111). Все, мол, говорят о Пессоа, о величайшем из великих, и только вашего голоса не слышно в этом хвалебном хоре. Чем объяснить это странное молчание? Пожалуйста, напишите мне, что вы думаете о его поэзии.

Кто будет отрицать, что Пессоа — великий поэт, поэт необыкновенный, поэт огромного дарования? Во всяком случае, не я. Но зачем, зачем, милая Мануэла Миранда Мендес, зачем так категорически заносить его в разряд величайших из великих? Эту нетерпимую страсть возвеличивать получили мы, бразильцы, в полном объеме от вас, от португальцев. Куда в таком случае запишем мы кривого Камоэнса, который, по баиянской поговорке, одним глазом видел больше, чем мы с вами — тремя? Куда девать автора «Лузиад» и сонетов, которые лично я, например, люблю больше?

Спору нет, Пессоа — огромный поэт, но он не мой поэт. Оставляя в стороне вышеупомянутые сонеты Камоэнса — для меня они вообще hors concours[[112]](#footnote-112) — cкажу, что душа моя влекома к стихам Сезарио Верде, из усопших лузитанских поэтов люблю его больше всех.

Что же касается живых... Вам и это хочется узнать, и Вы, называя три славных имени, предлагаете мне выбрать одно из них. Виноват, Мануэла. Мой поэт не входит в число упомянутых и выбранных Вами. Тот, кому я отдаю предпочтение перед всеми, тот, чьи стихи, отмеченные печатью своеобразия, будят во мне мысль и берут за душу, зовется Фернандо Ассиз Пашеко. Он протирает штаны в редакции «Жорнал», чтобы заработать на корочку хлебца насущного и стаканчик вина, а отдохновение находит на груди супруги своей, сеньоры Розариньо, он отец чудесных дочерей, избравших себе стезю архитектуры, и юного эрудита Жоана Пашеко. В тот день, когда Фернандо соберет под одним переплетом свою вольную и фривольную поэзию, Вы, милая Мануэла, взойдя на университетскую кафедру или став посреди площади, во всеуслышание объявите величайшим из великих — его.

Вот послушаете и скажете, прав ли я.

## Прага, 1951/1952

Я могу потрогать страх руками. Вот он вознесся перед нами стеной коммунистической инквизиции, разделяющей жизнь и смерть, позорную смерть с клеймом изменника, и не убережет от нее ни слава, ни могущество, ни власть, ни заслуги... Затворенные уста, ускользающие взгляды, сомнение, недоверие, страх.

В сталинских петлях болтаются трупы самых могущественных людей Чехословакии, людей из партийной верхушки, из самого что ни на есть высшего эшелона, еще вчера полновластных хозяев страны: Сланского, Клементиса, Гаминдера. Недавно в Венгрии был казнен Ласло Райк, волна судебных процессов все шире разливается по странам народной демократии, все ошеломительней признания и суровей приговоры. Здесь, в Праге, признался в чудовищных преступлениях и Артур Лондон: он избежал смертной казни, получив пожизненное заключение. Должно быть, он попал в ловушку изменников, ибо нам с Зелией невозможно представить, что «Жерар», герой Испании, герой Сопротивления, вернейший из коммунистов, оказался предателем.

Мы ведь хорошо знакомы и с ним, и с его женой Лизой, и знаем, что люди они порядочные, неспособные к измене, и само слово это не вяжется с человеком, посвятившим себя борьбе за идею. Лизу приперли к стенке, во имя верности революции требуют, чтобы она отреклась от мужа, послали ее чернорабочей на авиазавод. Та же судьба постигла и помощницу Гаминдера — отважную Антуанетту, возлюбленную нашего с Зелией земляка-бразильца.

А с Гаминдером мне приходилось иметь дело, он был секретарем ЦК, отвечавшим за международные отношения в чехословацкой компартии, находящейся у власти, и слушал меня, представлявшего компартию, загнанную в подполье, внимательно и доброжелательно, щедро и широко помогал нам. Что же, я не помню, как тревожился он о том, благополучно ли добрались Лижия и Анита, сестра и дочь Престеса, до Москвы, куда пришлось им бежать из Бразилии? Антуанетта тогда встретила меня в здании ЦК, доложила обо мне шефу, вернулась: подожди немного, он скоро тебя примет.

На какое-то действо я привел «товарища из Сан-Пауло», они с Антуанеттой обменялись взглядами — и вспыхнуло пламя. Поклялись друг другу в вечной любви и, так сказать, обручились. Не знаю, что могло в то время быть трудней, чем выйти замуж за иностранца девушке из Советского Союза или из любой братской социалистической страны... Какие разыгрывались страсти, какие фантастические усилия требовались, чтобы получить разрешение на брак! Спросите художника Отавио Араужо, сколько времени проторчал он в Москве, прежде чем выхлопотал разрешение. Спросите Гвидо Араужо, какие круги ада прошел он, чтобы жениться на своей Миле и увести ее из Праги в Баию. А сколько было тех, кто успеха не добился?! Я сам могу насчитать десятка два насильственно разлученных, начиная с Фернандо Сантаны. И до сих пор, наверно, светло-русой чешке снится ее неутомимый мулат. А теперь представьте, что невесту зовут Антуанетта, что она под подозрением, более того — привлечена к партийной ответственности. На такой жениться — просто абсурд, нечто совершенно невозможное, нечего даже и пытаться. Помню я слезы, пролитые Антуанеттой, помню, как скрипел зубами ее бразильский возлюбленный.

Я стараюсь исполнять свой долг, совсем непросто сохранять достоинство и приличия, когда страх воздвигает вокруг стену недоверия и недомолвок, и не то что за опрометчивое слово, а за неосторожное движение можешь попасть в лапы коммунистической инквизиции. Я же не деревянный, я тоже боюсь, я не Баярд, не рыцарь без страха и упрека. Впрочем, упрекнуть мне себя не в чем, я глубоко предан, беззаветно верен, самоотвержен и неколебим, и считаю Советский Союз родиной всех угнетенных, а товарища Сталина — отцом народов и каждого из нас в отдельности. Казалось бы, чего в таком случае мне бояться? Ох, нет, упрека нет, а страха полно. Стоит лишь подумать о Лондоне, в чью виновность не верю, и страх охватывает меня. Однако иду вперед, гоню прочь страх и сомненья, и дух мой укрепляет Международная Сталинская премия — высшая награда за веру и верность. Поджилки трясутся, но все же стараюсь не отступать, иначе потеряю вкус к жизни, и Зелию потеряю. Иду вперед, уговаривая себя, что достиг известной неприкосновенности и могу позволить себе роскошь не кривить душой.

Приехав в Будапешт, прошу о встрече с Дьёрдем Лукачем[[113]](#footnote-113), попавшим в опалу, снятым со всех постов, лишенным всех наград и почестей по требованию советских ревнителей соцреализма, записавших мадьярского философа в ересиархи формализма. Но я по-прежнему уважаю его и восхищаюсь им, и чувства эти особенно окрепли после нашей встречи во Вроцлаве, когда я прочел его книгу по теории литературы. Товарищ из венгерского ЦК, отвечающий за связи с иностранными компартиями, глядит на меня удивленно, однако обещает, что постарается просьбу мою выполнить, и слово держит. И я встречаюсь с Лукачем, веду с ним беседы об этом и о том, обо всем, кроме нынешнего его положения. А потом в здании ЦК секретарь по международным делам, протягивая руку, бормочет неожиданно и не очень внятно, что благодарен мне за мою просьбу, и теперь уже мой черед воззриться на него в удивлении.

В Бухаресте предпринимаю нечто подобное, но уже с меньшим душевным трепетом, ибо ситуация не столь серьезна — мне удается встретить и обнять романиста Захарию Станку[[114]](#footnote-114), отставленного с поста генерального секретаря Союза румынских писателей и выведенного из ЦК. Всю жизнь Станку бросает туда-сюда: то вознесет на вершины, то втопчет в дерьмо.

А Зелия, повстречав Лизу в Праге на улице, приглашает ее приехать к нам в Добрис. Члены семей репрессированных находятся в полной изоляции, страх рвет связи, губит дружбы, разрушает приязнь. Со стороны Зелии это безумная выходка, но мы с ней оба — слегка полоумные и не умеем сдерживать душевные порывы. И Лиза, жена врага народа Артура Лондона, приезжает к нам в воскресенье, приезжает с детьми и матерью, непокорной испанкой, и мы обедаем в «Замке писателей». И стоит лишь нам в столь предосудительном обществе войти в ресторан, как обрывается смех, замирает говор, и воцаряется гробовая тишина. Безответственно ведем мы себя, безответственно — именно это слово, не столько осуждая нас, сколько оправдывая, употребляет лауреат Национальной премии писательница Мария Пуйманова: «Ты — иностранец, зачем вмешиваешься в наши дела? Подставляешься, Жоржи».

Проклятые дни, несчастные дни, заполненные страхом, складываются в недели и месяцы. Сомнений все больше, а сомневаться нельзя, мы не должны сомневаться, мы не хотим сомневаться, вера наша должна остаться нетронутой, уверенность — непреложной, идеал — идеалом. Бессонными ночами сидим мы с Зелией, смотрим друг на друга, в горле ком, и плакать хочется.

## Белград, 1986

— Что я здесь делаю?

Этот жалобный вопрос я услышал на приеме, устроенном послом Бразилии в честь приезда соотечественников. Его задала мне одна югославская дама. Она считает себя на родине чужестранкой, она тоскует по Бразилии, она спрашивает, какая нелегкая занесла ее на землю предков.

Отчизной, истинной своей отчизной она называет Бразилию, куда двухлетней девочкой привезли ее родители-эмигранты. Там она выросла, выучилась, стала настоящей кариокой, ничем не отличимой от тысяч других девчонок с Тижуки или Вилы-Изабел. Там она влюбилась в молодого серба, служившего в посольстве СФРЮ на мелкой административной должности, вышла за него замуж. Потом в Югославии началась война, персонал посольства сократился, однако муж ее продолжал прилежно и ревностно исполнять свои обязанности, охранял посольское имущество — национальное достояние, — причем жалованье ему платить перестали, и чем он жил — одному Богу известно.

Немцев разбили, кончилась война, восстановились дипломатические отношения, старания и самоотверженность его были замечены и отмечены — его назначили на довольно высокую должность, на которой он работал все так же рьяно и неутомимо. Пришло ему время выйти на пенсию, и тогда он вернулся на родину — вместе с женой, разумеется. И стали они жить дома, на пенсию, так же скромно, как жили раньше в Бразилии на его жалованье.

А она так и не привыкла, и все в Югославии кажется ей чужим и странным — и климат, и обычаи, и язык. В Бразилии остались вкусы ее, интересы, пристрастия... «Что я тут делаю, — спрашивает она. — Это не моя страна, а всего лишь место, где я появилась на свет. Родина моя — там, где я росла, жила, работала, состарилась». Она тоскует по бразильской жаре, по бразильской сердечности, по бразильской безалаберности, по «да брось ты...» и по телесериалам:

— Как я жить-то буду без них, как уйму тоску? В прошлом году, раз в неделю, по субботам, показывали один — про Лампиана[[115]](#footnote-115) и его возлюбленную Марию-Бониту. Это был мой день! Мой праздник — я плакала и смеялась и нарадоваться не могла... Теперь и этого нет. Я не вынесу...

## Пекин, 1950

В первый же вечер ошеломленную четверку, Николаса Гильена с Росой и меня с Зелией, повели в театр смотреть — или слушать? — оперу. Этой опере лет тысяча, в Китае вообще счет идет на тысячелетия, и лишь самому новенькому и свеженькому может быть пятьсот. Пекинская опера, на которую мы попали, не имеет ничего общего с музыкальными спектаклями очень, как правило, высокого качества, с огромным успехом идущими по всему миру. В Китае — это драматическое произведение, пронзительная музыка служит лишь подспорьем. Народ обожает этот жанр. В переполненном зале зрители пили чай, ели бананы, высасывали сок из мандаринов, грызли кешью и миндаль, актеры же тем временем делали свое дело на сцене. Для нас четверых все было внове и исполнено неведомой прелести.

Надо сказать, что в те годы я очень любил подстраивать друзьям разные каверзные розыгрыши — иногда получалось забавно, иные свидетельствовали о дурном вкусе автора, жертвой которого становились его ближние. И в этот вечер я задумал недоброе, увидев, как чета Гильенов тщетно пытается разобраться в происходящем на сцене, ибо приставленный к ним переводчик — человек пожилой — заснул в тот самый миг, как сел в кресло. Когда загремела музыка, он встрепенулся было, но через минуту, убаюканный, как это ни странно, пронзительными взвизгами флейт и грохотом барабанов, снова уснул, да так крепко, что по окончании спектакля мы с трудом его добудились.

Николас и Роса попали от меня в полнейшую зависимость: я по-испански повторял им то, что Лю — наш с Зелией переводчик — рассказывал нам по-французски. Это им так казалось — «повторял», на самом же деле я все придумывал на ходу. А придумал я самую низкопробную порнографию. По сюжету Император вел войну с врагами, замыслившими свергнуть его, и с помощью своей Фаворитки одерживал над ними победу. По моей версии, Император решил отомстить Фаворитке, страдавшей бешенством матки и изменявшей ему направо и налево, со всеми подряд и с кем ни попадя, а чаще всего — с одним юным негодяем, служившим при дворе писцом. Он вступал на сцену особой походкой — в китайской опере профессия персонажа узнается по тому, как тот движется, — приведшей меня в такой восторг, что во все наше пребывание в Поднебесной я старательно имитировал ее, но лавров не стяжал.

Кара за прелюбодеяние соответствовала и тяжести вины, и — главное — высокому положению того, перед кем Фаворитка провинилась, кому наставляла рога: ее сначала отдали придворным, и на сцене началась форменная вакханалия, потом — солдатам, а уж под конец так и не насытившийся местью Император повелел случить несчастную с жеребцами дворцовых конюшен. Как видите, воображение мое разыгралось всерьез, чему весьма способствовало полное отсутствие декораций: условность — великая вещь!

Николас Гильен, человек недоверчивый, тут вдруг поверил тому несусветному вздору, который я так вдохновенно нес. И только удивлялся все больше и больше. Роса, внимательно слушала и негромко восклицала время от времени: «Да что ты?! Ну да?! Ой! Матерь Божья!» Зелия едва сдерживала смех. И так продолжалось несколько часов кряду, ибо пекинская опера идет очень долго, и надо обладать китайским терпением, чтобы высидеть действо до конца.

Я и сейчас помню одну сцену. Фаворитку, только что разоблачившую предательство первого министра и приказавшую схватить его, вносят на воображаемых носилках, после чего она утомленно растягивается на подушках. В моей эротической трактовке утомление ее объяснялось тем, что ее пропустили через целый батальон солдат императорской гвардии. Оттого она и пребывает в таком изнеможении. «Бедняжка...» — прошептала жалостливая Роса. «Какой ужас!» — воскликнул Николас. Кульминация же настала в феерической сцене с конями — опять же условными и полувоображаемыми, так что можно было приписать им любое непотребство, чем я не преминул воспользоваться.

...Спустя несколько дней нас четверых принимали в Союзе писателей, где была устроена встреча с виднейшими деятелями литературы и искусства и с идеологическими руководителями. Я рассказывал о Бразилии, Гильен — про Кубу, читал стихи, все шло прекрасно и учтиво, в духе пролетарской солидарности, хозяева и гости не скупились на похвалы друг другу. Под конец китайские товарищи попросили нас со всей откровенностью высказаться о том, что нам понравилось в молодой народной республике — дело было в феврале 1952-го, а Мао взял власть в конце 1949-го — и главное, — о том, что не понравилось: со стороны виднее — указав на недостатки, мы поможем их устранить.

Николас, по наивности приняв эту просьбу всерьез, обратился к хозяевам за разъяснениями. Он, дескать, не понимает, зачем на сцене государственного театра ставят оперы вроде той, что мы видели? С какой целью это делается? Главный идеолог в ответ сказал, что да, имеют место в сюжете пережитки феодализма, далекие от нашей действительности — борьба Императора за абсолютную власть, любовные сцены... — но что же делать, если народ не может пока обойтись без этого традиционного, классического и популярного вида искусства? Пока еще не написано новых опер, воспевающих строительство социализма, приходится ставить эту феодальную старину...

— Да никакая это не старина, а самая настоящая порнография! — брякнул в ответ ему Гильен. — Ведь подобную непристойность в американском ночном клубе постеснялись бы поставить!

— Я вас не понимаю, — только и сказал на это товарищ из ЦК.

Тут наконец меня прорвало. Я захохотал так, что затряслись стены Союза писателей. Николас метнул в меня испепеляющий взгляд, но от возмущения и негодования не смог подобрать нужные слова, чтобы высказать мне все, что полагается. Он молча уставился на меня, я продолжал хохотать. Засмеялась и Зелия. Роса поняла, в чем дело, и присоединилась — звонко и раскатисто, как принято только на Антильских островах. И тут случилось уж совсем непредвиденное — захохотал сам Гильен, а он любит и умеет это делать, как мало кто. «Ну, Жоржи, — еле выговорил он между приступами. — Чтоб я еще раз тебе поверил!»

Благовоспитанные китайцы ни о чем не стали нас спрашивать. Роса потребовала, чтобы Зелия рассказала ей истинное содержание оперы, во всех подробностях поведала о войнах, которые вел Император, и о его любви к Фаворитке, верной, преданной и непорочно-чистой.

## Париж, 1949

Я был чрезвычайно удивлен, услышав, как в зале Плейель, где проходил Всемирный конгресс в защиту мира, писатель Мигель Отеро Сильва, ярый патриот своей Венесуэлы, сообщая, в каком отеле и номере сможет найти его юная активистка французской компартии Мари... э-э... Мари де Банльё[[116]](#footnote-116), которой он явно успел вскружить голову, называет себя аргентинцем, жителем Буэнос-Айреса. Мигель — чрезвычайно привлекательный сорокалетний мужчина, истинный мачо, но при этом еще — с замечательно подвешенным языком, и легкий испанский акцент придает ему еще больше шарма.

Поэт и романист, политик и коммунистический лидер, сенатор, миллионер, регулярно выставляющий на скачки и бега лошадей из собственных конюшен, владелец крупнейшей в Каракасе газеты «Эль Насьональ»... Какого же дьявола столь славному сыну венесуэльского народа скрывать свою принадлежность к нему?

— Давно ли, Мигель, ты взял аргентинское подданство?

— Я всегда так поступаю за границей. Стоит мне лишь сесть в самолет или подняться на борт парохода, я становлюсь аргентинцем. Это очень предусмотрительный шаг, всегда стоит подстраховаться. Советую воспользоваться.

— Да от чего страховаться-то?

— С аргентинца взятки гладки — твоя истинная отчизна и твои соотечественники избавлены от ответственности за глупости, которые ляпнешь ненароком, за нелепости, за промахи, неловкости, ошибки, за всякого рода faux pas[[117]](#footnote-117) и за все прочее, особенно за все прочее, — последние слова он словно выделил курсивом, явно влагая в них особый смысл.

— Это ты о чем?

— О чем? Все о том же. Вот, скажем, зазвал ты к себе какую-нибудь красотку, вроде той, что сейчас тут беседовала со мной... А если в момент истины оказался не на высоте или вовсе несостоятелен — всякое бывает, — твое фиаско не уронит престижа отчизны, твое бессилие запишут на счет Аргентины.

— С чего это главный волокита и первый любовник Карибского бассейна заговорил о бессилии?

— От этого не застрахован никто. Но позор падет на голову портеньо[[118]](#footnote-118), — сказал он и замурлыкал «Как люблю я мой Буэнос-Айрес!»

Случай последовать доброму совету представился очень скоро. Из одного лишь бразильского патриотизма явился я послушать нескончаемую, тягучую, сплошь состоящую из общих мест, готовых клише и политических лозунгов речь своего земляка, высокого судейского чиновника. Набор трюизмов, ни единого живого слова, переливание из пустого в порожнее... Роже Вайан входит в зал, присаживается рядом, внимательно слушает оратора, а тот на скверном французском языке с амазонским выговором продолжает выступление. Терпение Роже лопается на третьей минуте.

— Qui est-ce, l’emmerdeur?

— Un juge de l’Haute Cour de l’Argentine, tr`еs celebre a Buenos Aires[[119]](#footnote-119).

Роже послушал еще немножко, не выдержал и взорвался:

— Juge, celui-la? Celebre? Sais-tu ce qu’il est, l’Argentin? Un con! C’est la qu’il est.[[120]](#footnote-120)

О, сколько раз, следуя мудрому и доброму совету Мигеля Отеро Сильвы, спасал я честь Бразилии!

## Сан-Пауло, 1947

Я в Сан-Пауло. Это последняя моя поездка в статусе депутата Федерального собрания в тот штат, который меня избрал. Битва за прекращение полномочий парламентариев-коммунистов близится к победному концу. Сейчас декабрь, а в январе нас лишат мандатов.

Жулио де Мескита Фильо, не первый раз появляющийся на этих страницах, присылает мне записочку — хочет увидеться и переговорить по важному делу. Я откликаюсь на зов, тем более что и безо всякого дела навестил бы его, как привык поступать всякий раз, бывая в Сан-Пауло. Он принимает меня с обычным своим радушием, с учтивостью английского лорда, подкрепленной добрым отношением ко мне. Вскоре выясняется, зачем я был ему нужен: надо передать письмо Луису Карлосу Престесу, генеральному секретарю бразильской компартии. Совсем скоро, после того, как отнимут у нас мандаты, потеряет он свое сенаторское место.

— А также депутатскую неприкосновенность, — с расстановкой произносит Мескита.

Он — настоящий демократ, уважающий права человека вообще, а также право иметь и отстаивать собственное мнение — в частности. И лучшее тому доказательство — издаваемая им газета «Эстадо де Сан-Пауло». Мескита, будучи лютым, что называется зоологическим, антикоммунистом, столь же рьяно и ретиво отстаивает гражданские свободы, поносит цензуру и выступает против преследования за убеждения. Он сражается с салазаровским фашизмом, дает приют и работу в своей газете португальским политэмигрантам — и один из них, коммунист Мигел Урбано, занимает в редакции видную должность. Мы беседуем, как говорится, о текущем политическом моменте, и Мескита, настроенный тревожно и мрачно, картину рисует безрадостную: в гарантии, когда-то провозглашенные президентом, он не верит, конституция, по его мнению, скоро будет попрана. А компартия всего два года как вышла из подполья. Едва лишь депутатов от БКП лишат полномочий и неприкосновенности, откроется сезон охоты, спустят на нас собак, начнут отстрел. Жулио всерьез опасается, что реакция разгуляется всерьез, репрессии пойдут вширь и вглубь, благо политическая полиция за это десятилетие своих навыков не растеряла, и первой жертвой станет Престес. Его схватят, посадят, начнут процесс, а скорей всего, просто убьют. Позиции генсека и возглавляемой им партии можно и должно оспаривать и порицать, иные его высказывания вызывают негодование, но это еще не повод начинать травлю.

Престес, разумеется, подставился, вернее, поддался на провокацию, учиненную, если память мне не изменяет, депутатом Жураси Магальяэнсом. Отвечая с парламентской трибуны на его коварный вопрос, Престес заявил, что если начнется война между Бразилией и СССР, он станет на сторону последнего, ибо тот никому не угрожает, ни на кого не нападает, и война может разразиться только в результате агрессии против государства рабочих и крестьян и всего социалистического лагеря. Ну, как вам это нравится?! Подобное заявление, чем бы ни было оно вызвано, являет собой пример вопиющей политической глупости. Престес дал повод развязать настоящую вакханалию, кончившуюся тем, что избранных в Федеральное собрание коммунистов лишили мандатов, а БКП запретили. Он очень дорого заплатил за свой — да только ли свой? — за наш общий догматизм. Жулио де Мескита Фильо, консерватор до мозга костей, реакционер — если вспомнить словцо, которым столько раз пытались определить его сущность, и которое не передает и тысячной доли этой самой сущности, — был человек с широкими горизонтами, великодушный. Повторяю, он был настоящим демократом: издавна уважая Престеса, восхищаясь им, он не переменил к нему своего отношения и после того, как тот сделался ярым коммунистом. И меня он позвал, чтобы я передал «Рыцарю надежды» следующее:

— Скажите Капитану, — так называл он Луиса Карлоса, именно в звании инженер-капитана завершившего свою военную карьеру, — что на моей фазенде его, в любом качестве и в любое время, всегда примут как самого дорогого гостя. Он может жить там столько, сколько захочет, — без всяких условий и ограничений — принимать, кого вздумает, делать, что заблагорассудится. Никто не посмеет там тронуть его. Здесь я один хозяин. Передайте Капитану — добро пожаловать!

Я никогда и никому не завидовал. Богатство, талант, успех, слава моих ближних — и дальних — не повергают меня в уныние, не портят настроение. Я способен радоваться чужой удаче, рукоплескать и восхищаться вполне чистосердечно и искренне, более того — я люблю хвалить. Успех друга — это мой успех, впрочем, необязательно быть другом, достаточно быть баиянцем, бразильцем, а порою и этого не надо — лишь бы проявился талант, блеснуло дарование. Я люблю открывать молодых, никому не известных поэтов и прозаиков, если в них вправду есть искра Божья, я всем и каждому сообщаю о появлении нового гения.

Да, у меня природный иммунитет к зависти, душа открыта для восхищения и дружбы. Как мне повезло! И нет печальней зрелища, чем изнывающий от злобной тоски завистник, желчный злопыхатель, обиженный на весь свет, источающий ненависть! Он по-настоящему несчастен...

## Рио-де-Жанейро, 1954

Плавно нажимая на педаль швейной машинки, Китерия неторопливо рассказывает о своей жизни. Она родом из самого глухого захолустья штата Пернамбуко, потом попала в город, выучилась ремеслу, стала брать заказы, обзавелась своей клиентурой, а потом уж перебралась в Рио, где дона Зелия взяла ее под свое крылышко. Коренастая, коротконогая, тяжелогрудая, широколицая, с маленькими, вкось, будто бритвой прорезанными глазками, с гривой черных волос, заколотых на макушке черепаховым гребнем — когда она однажды их распустила, мне почудилось, что в комнату хлынул густой и жесткий водопад, — Китерия, мягко говоря, не очень привлекательна. Тот, кто пустил когда-то в оборот выражение «амулет от любострастия», ясное дело, предвидел ее появление на свет.

В ходе неспешно текущей беседы неожиданно выясняется, что у Китерии есть дочь — живет в предместье города Ресифе, замужем, скоро ей рожать...

— Да ну?! У тебя будет внук? А я, Китерия, признаться, думал, ты у нас — барышня...

Она поднимает голову, смотрит на меня пристально, и в самой глубине ее косых щелочек посверкивает искорка обиды:

— Барышня... Скажете тоже. Да разве б смогла я утерпеть?!.

Ни один из моих недоброжелателей — из тех, кто не упустит малейшей возможности сказать обо мне какую-нибудь гадость, — никто из критиков-интеллектуалов, поставивших себе святую цель — следить, чтобы ни одного доброго слова про мои книги не просочилось в рецензии и статьи, так вот никто из них не знает мои писательские недостатки, пределы моих возможностей лучше, чем я сам. Я отдаю себе в них полный отчет, а потому не огорчаюсь от хулы и не обольщаюсь мишурой похвал.

Знаю я также — знаю наверняка и непреложно, — что присутствует на исписанных мною страницах, в созданных мною персонажах и нечто такое, что, пожалуй, останется и пребудет. Это — дыхание жизни. И я говорю об этом без спеси, без тщеславия, но с гордостью.

## Париж, 1988

Все на свете прощала дона Зелия субъекту, с которым свела ее некогда злая судьба; все его проступки и прегрешения готова была понять, оправдывая оные тяжелым детством, бурной юностью, скверным образованием, дурным воспитанием, чуждым влиянием, а в крайнем случае — несовершенством природы человеческой.

И только одного она мне не простила. И до сих пор у нас в доме есть запретная тема, которую лучше не затрагивать, если же нарушается это табу, слышен становится горький смех, саркастические замечания, скрежет зубовный. Не надо, не надо напоминать моей жене о вертолете президента Франции.

Дело было осенью, как сейчас помню, в сентябре. В Париже бастовали медики, устроившие грандиозную манифестацию. Из окна правительственного лимузина мы видели толпу сестер милосердия и сиделок с лозунгами, плакатами, транспарантами и едва одолевали искушение присоединиться к ним: Зелия — из солидарности, я — потому что давно не кричал «ура!» и «долой!» Над людским морем на всякий случай кружат полицейские вертолеты, давая понять, что власти начеку.

Мы приглашены президентом Миттераном на обед, имеющий быть километрах в ста от Парижа, в замке, принадлежащем Тьерри де Босу, госсекретарю по вопросам культуры. Это не официальное мероприятие, не протокольный «обед», а веселое и приятное застолье в узком кругу: кроме самого президента и хозяина, присутствуют известная издательница Одиль Жакоб, писатель и министр культуры Испании Хорхе Семпрун, специально по такому случаю прилетевший из Мадрида, и мы с Зелией.

Разговор идет о Франции, об Испании, о распадающемся мире и объединяющейся Европе, о фантастических переменах на Востоке, куда мы улетаем через два дня, чтобы все увидеть своими глазами. Сказать, что обед удался, — ничего не сказать: это подлинный шедевр, истинное произведение искусства, приводящее на память belle йpoque...

После десерта мы осматриваем замок, вокруг Миттерана прыгает, ластится к хозяину его черная собака. Но приближается миг расставания — у президента время расписано по минутам, и пилоты его личного вертолета уже запустили двигатели. Мы прощаемся, и тут Миттеран приглашает нас лететь с ним. Зелия трепещет от восторга: она обожает летать, а тут еще президентский вертолет, какое наслаждение!

Но прежде чем она успевает произнести все это вслух, вмешивается ее неотесанный супруг.

Он — то есть я — отказывается наотрез. Отказывается, не давая ни малейшей надежды уломать себя, не оставляя никаких недоговоренностей, отказывается решительно и недвусмысленно: «Мерси, господин президент, очень вам благодарен за честь, но в эту дьявольскую стрекозу я не сяду».

Тем, кто не знает, скажу: я испытываю ужас перед самолетами, но ужас этот — пустяки по сравнению с теми чувствами, которые охватывают меня при виде винтокрылой машины, геликоптера, будь он проклят. Особенно эти лопасти на крыше — вертятся, вертятся, того и гляди остановятся.

Миттеран настаивает: до Елисейского дворца всего четверть часа лету, а потом нас доставят домой, зачем же трястись сто километров в машине? В отчаянии Зелия задает мне тот же вопрос: зачем? Ее суровый взор и голос обещают многое, но я мужчина, черт побери, сказал — значит, кончено! Зачем? Затем, месье президент, что на вертолете я лететь боюсь. На Зелию стараюсь не смотреть, ибо ничего хорошего не увижу, уж это я знаю.

Правительственный «ситроен» мчит по великолепной магистрали. Зелия хранит отчужденное молчание — ни словечка не могу из нее вытянуть. Ни словечка, ни взгляда в мою сторону, ни улыбки, и вообще со мною рядом — лишь бренная ее оболочка, а бессмертная душа — там, в поднебесье, в президентском вертолете. Обычно приветливое лицо — хмуро, глаза устремлены в неведомую мне даль. Я отчаянно стараюсь завязать с ней разговор, вспоминаю обед, тонкий юмор и тонкие вина, ум и интеллигентность хозяина и гостей, я натужно шучу и бьюсь как рыба об лед. Все напрасно. Все впустую. Гробовое молчание служит мне ответом, а мчащий нас лимузин, жалкое и допотопное средство передвижения, становится не немым, а ревущим укором, зримым воплощением моей вины.

Манифестация уже окончена, на мостовой валяется транспарант, обвиняющий правительство, и чело Зелии, задумавшейся над тем, как несправедливо устроен этот мир и как, в сущности, ужасна жизнь, отуманивается еще сильней. Слышен гул — это над площадью Бастилии на малой высоте пролетает, заставляя испить чашу разочарования до дна, последний полицейский вертолет.

## Кельн, 1970

Арлетт Соареш, наша старинная приятельница, издатель и фотограф, возит нас в своей машине по дорогам Европы и делает это, надо сказать, замечательно — ни одной поломки, ни единого происшествия за весь тысячекилометровый путь.

Живет она в Париже, в Сите, верховодит в Maison du Bresil[[121]](#footnote-121), привечая там всех, кто борется в нашей отчизне с военной диктатурой, а потому и находится под неусыпным наблюдением и круглосуточной слежкой агентов SNI[[122]](#footnote-122). Арлетт — дама весьма серьезная и пользуется непререкаемым авторитетом во всех сферах, к которым имеет касательство. Она и диссертацию пишет, и дилерствует помаленьку на бирже, и дает приют прелестным, заблудшим созданиям — Сиде, Рине, Дине, Сауле, Марте и португалке Розе, которая еще не вполне роза, а скорее полураспустившийся бутон, — а кроме того, торгует в бутиках парфюмерией, сколько-то раз в неделю прибирает квартиру Мигеля Анхеля Астуриаса. Диссертацию, между прочим, обещано было посвятить мне — где она, Арлетт? А?

В Кельне (а может, это было в Мюнхене?) она долго вела таинственный телефонный разговор, а потом вся так и сияла, прыгала и скакала от радости. Мне захотелось узнать, в чем причина такой эйфории.

— Повезло! — отвечала она. — Застала падре в церкви, и мы условились о свидании.

— У тебя что же, роман с ним?

— А ты не знал, что я — Господня сноха?!

И она повествует о своей бурной любви с католическим священником — он немец, когда бывает в Париже, живет у нее в Сите, сам блондин — мало сказать, блондин: весь светло-светло-русый, как пшеничный колос. Арлетт при одном лишь упоминании жмурится от удовольствия.

— Он, что — prˆetre ouvrier? — осведомляюсь я, зная, что «рабочие падре» в большой моде среди Парижских леваков, Арлетт же — из них главная и самая радикальная.

— Нет-нет, настоящий ватиканец, Бога боится, Папу слушается и не в воротничке каком целлулоидном ходит, а в сутане. И снимает ее только, когда... — ну, в общем, ты понимаешь. Кожа белая-белая, как молоком мытая, а сверху — черная сутана. Вот у меня голова и закружилась.

Она прыгает в свой автомобильчик и уносится на свидание к пастору — или патеру? — который ради нее пренебрег обетом целомудрия, снял сутану, расстался с невинностью и свершил смертный грех. Наша Арлетт Соареш есть истинная сатана в женском обличье, дьяволица, змея-искусительница.

Не стану отрицать — я очень многим обязан Господу Богу и миру, дьяволу и «матери святой», обязан великому и малому — всем тем влияниям, которые испытал, нет, «испытал» — совсем не то слово, ибо принесли они мне лишь благо. Я и сейчас с жадностью глотаю книги и благодарен мулату Александру Дюма — это он приохотил меня к чтению, он открыл мне это наслаждение, эту гибельную страсть. В одиннадцать лет, обнаружив забытую кем-то в каюте пароходика книжку под названием «Три мушкетера», я заразился этим вирусом и, похоже, не избавлюсь от него уже никогда.

Я обязан Рабле и Сервантесу, я родился как писатель благодаря им. Обязан Диккенсу — он внушил мне, что даже в самом отъявленном мерзавце всегда остается что-то человеческое. И Максиму Горькому — он привил мне любовь к бродягам и босякам, отброшенным на обочину жизни, но непобежденным. И Золя — вместе с ним я спускался в клоаку, спасая отверженных[[123]](#footnote-123), и Марку Твену, научившему меня, что смех — сильное и грозное оружие. Обязан длинноносому Гоголю и его шинели.

Я обязан Аленкару[[124]](#footnote-124), открывшему мне романтические просторы сельвы, и Кастро Алвесу, показавшему, как обличать подлость и низость, и Грегорио де Матосу — у него я перенял благородство брани и умение разить опаляющим словом, вместе с ним открывал улицы Баии, и церковную площадь, и тупички, где толпятся гулящие девки.

Я обязан неведомым и безымянным летописцам баиянской жизни, бродячим певцам, речитативом выводящим на рынках свои бесконечные баллады, матросам и рыбакам, научившим меня умению плести истории — я влюблялся в царицу вод Йеманжу, спал с богиней Ошун на тихом лоне реки Парагуассу, обладал Эуа у водопада Марагожипе, на ложе, устланном лепестками роз. Да, надо знать, надо придумывать и сочинять.

## Прага, 1952

Миэсьо Тати[[125]](#footnote-125) прислал мне письмо, в котором спрашивает, можно ли счесть Кафку зеркалом, где отразился чешский народ, его лик, его душа? Для Миэсьо литература — это живая жизнь, а не просто страницы с напечатанным текстом: сюжеты продолжаются в реальности, вымышленные персонажи разгуливают по улицам. Вот он и спрашивает — встречались ли мне на пражских улицах герои Франца Кафки?

Я полагаю, что мы встречаем их по всему миру, ибо много в мире дорог, ведущих в никуда, и глухих тупиков отчаяния и тоски. Попадают в них и чехи, и немцы, и евреи, и бразильцы — раса и национальность тут ни при чем, не она отмечает их своей печатью. Люди эти принадлежат к особой касте. Если же ты, друг мой, хочешь понять, что такое чехи, кто они и каковы они, советую тебе прочесть роман Ярослава Гашека о похождениях бравого солдата Швейка. Вот уж в ком запечатлелись черты чешского национального характера — по видимости наивного, лукавого и великодушного, бесстрашного без кичливости, серьезного, но не сурового, посмеивающегося, а не хохочущего до упаду. Бессмертный образ создал Гашек — не часто удается романисту с таким изяществом и прозорливостью воплотить свой народ в образе одного персонажа, сделать так, что Богемия и Моравия узнали себя как в зеркале.

С этими словами я и послал Тати французский перевод «Швейка». Если же кто еще не успел прочесть этого нового «Дон Кихота», советую сделать это как можно скорее — поверьте, не пожалеете. И еще сильнее полюбите вы Гашека, если повезет и найдете на прилавках книжных магазинов еще одну его книжку, в которой он рассказывает, как в 1919 году был политическим комиссаром в Красной Армии, в героические и романтические времена русской революции. Хватает на этих страницах и едкой сатиры, и пылкой солидарности...

...А Миэсьо Тати я не мог послать эту книжку — когда я раздобыл ее, его уже не было на свете — он рано покинул этот мир. Но «Швейка» проглотил залпом и прислал мне благодарное письмо.

## Баия, 1963

Дон Клементе да Силва Нигра, монах-бенедектинец, является к нам выразить свои соболезнования по случаю кончины полковника Жоана Амаду.

Он не в сутане, а в мирском платье: пиджак, брюки, раскрытая на груди рубаха. Аккуратнейшим и изысканнейшим образом причесанный — волосок к волоску, — надушенный и щеголеватый, монах рассматривает мою коллекцию, переходит от предмета к предмету, жесты его исполнены благородной сдержанности. Дон Клементе — человек знаменитый, виднейший музеолог, создатель и бессменный директор баиянского Музея религиозного искусства, гордости нашего города, и слава о нем гремит по всему миру. Дон Максимилиан фон Груден из моего романа «Исчезновение святой» получил кое-какие его черточки и свойства — чудовищную эрудицию, обширнейшие познания и некоторое жеманство. Моя матушка, дона Лалу, смотрит на гостя чуть недоверчиво и с толикой сомнения: «Уж не из этих ли он, не из голубых ли?» — гомосексуалистов именует она «голубыми», тогда как дона Анжелина, второй матриарх нашего дома, чуждается новых веяний и по старинке аттестует приверженцев однополой любви «педерастами».

— Кто он такой? — тихонько спрашивает меня дона Лалу. — Тоже художник? — «художник» в ее устах значит «прожигатель жизни», «бонвиван».

— Нет, мама. Это — дон Клементе, падре.

Когда падре удаляется на веранду, дона Лалу облекает свои сомнения в слова:

— Падре? Вот уж не похож...

— Это он отслужил заупокойную мессу, когда минул месяц со дня смерти отца.

— Он? Тогда надо сейчас же заказать другую — та была не в счет.

Я беру за руку мою возлюбленную, мою сообщницу в приключении, длящемся уже около полувека, спутницу в этом дальнем плаванье. Жена, нам полагаются каникулы, после тяжких и неустанных трудов мы заслужили отдых, это будет наш первый за столько лет отпуск. Пойдем погуляем, побродим просто так, бесцельно и беспечно, не глядя на часы, двинемся куда глаза глядят, куда ноги сами понесут.

Только, ради всего святого, не говори ты мне, что близится юбилей — меня нимало не прельщает празднество по такому невеселому поводу, как восьмидесятилетие, я хочу только мира и покоя, слишком тяжко давит мне на спину груз потерь, бремя вечной разлуки с теми, кого я любил, — людьми и зверями, разницы для меня нет никакой. Как можно праздновать восемьдесят лет? И не говори, пожалуйста, что не лет, а вёсен — уж скорее зим! — слова от ревматизма не исцеляют. Заказан фейерверк? Ну, и прекрасно, позвони и откажись, а еще лучше — используй потешные огни для мессы монахинь-урсулинок или для кандомбле, а еще лучше — прибереги их для другой даты: вспомни-ка, через три года — да, ровно через три! — будет наш с тобой юбилей. В июле 1945-го это случилось и началось, и до сих пор я помню каждое слово, каждое движение, вздох и вскрик. Мы пришли тогда с какого-то очередного митинга, мы с тобою были люди сознательные, честно выполняли свой гражданский долг и партийные обязанности — да-да, мы же еще были соратниками и «товарищами», — занималась заря свободы. И под утро ты причалила к берегу авениды Сан-Жоан. Тогда и началось наше плаванье, а ты и сейчас твердо держишь штурвал.

Уж не знаю, парусник ли это, колесный ли пароходик, но уж наверняка не трансатлантический лайнер, катающий туристов по морям и океанам, и не роскошная яхта. Скорей всего, это просто бумажный кораблик, поднявший паруса для защиты доброго дела, правого дела. Да, через три года будет наш праздник — пятьдесят лет с нашей первой ночи. Вьются по ветру флаги, уже виден порт. Отметим как полагается.

Мне скоро восемьдесят лет. И я, ей-богу, не понимаю, что за подвиг такой совершил человек, одолевший этот ничтожнейший отрезок пути, что нужно поздравлять его с таким громом и шумом? Отовсюду, из Бразилии и из-за границы, приходят приглашения на торжества по этому поводу, затеваются проекты, запускаются программы одна другой грандиозней, усиливается нажим — «откажетесь — обидите» — и, видно, придется произносить и выслушивать речи, благодарить и кланяться, принимать участие в заседаниях, семинарах, симпозиумах, форумах разного рода, званых обедах и официальных ужинах. Сколько всего напридумано, чтобы погромче объявить о моей дряхлости! Я растроган великодушием друзей и любовью читателей, но, право же, чем-то сильно смахивает эта затея на репетицию панихиды, на черновик некролога, на текст, который когда-нибудь золотыми буквами выбьют на могильной плите: «Здесь лежит...» и т.д.

Я, господа, не согласен. Я не желаю ни речей, ни памятных медалей, ни ордена на грудь, ни торжественного заседания, ни фанфар с литаврами, ни фотографий, буду ли я на них запечатлен в мундире академика или в рубашечке с короткими рукавами — все равно не скроешь ни вставных зубов, ни сильно поредевшей седины. Я возражаю. Зелия, дай мне руку, проживем отпущенный нам срок — о, как краток он! — для собственного удовольствия и по своему незамысловатому вкусу, свободно и весело, нечего пыжиться и надуваться — мы ж не гении какие свежеиспеченные! — останемся вдвоем, ты да я. Мы присядем на выложенную изразцовой плиткой скамью в саду под манговым деревом, дождемся, когда ночь засветит звезды в твоих волосах, когда лунное сияние окутает тебя. Дай мне руку, улыбнись, как ты одна умеешь, и да не будет мне награды выше и почетней и отрадней, чем твой поцелуй. И здесь же, в этом углу сада, пусть меня, когда час придет, и положат в землю.

Я родился в сорочке, «задницей к луне», как говорят у нас в Баии, и удача мне сопутствовала всю жизнь: никогда не терзала меня зависть, никогда ничьи козни не треножили меня, и к сглазу у меня оказался врожденный иммунитет. И получил от жизни больше, чем просил, желал и заслуживал. Я жил пламенно, горел, а не тлел, я не терял впустую ни одного дня, ни одного часа, ни одного мига, хотя сомневаюсь, что все делал так, как заповедано Богом... Я сражался за правое дело — за то, чтоб человек ел досыта и был свободен, чтобы ни власть, ни предрассудки не смели его угнетать. Я ходил по запретным дорогам, я свершал деяния предосудительные, я противоречил и перечил тому, что казалось священным и неоспоримым, поступал вразрез с каноном и догмой. Плакал и смеялся. Любил. Радовал глаз, тешил плоть.

Я убегу от торжеств, от фейерверка и банкета, убегу от некролога. Я еще живой. Завтра, когда схлынет первый вал поздравлений, я сяду за машинку и буду сочинять. Смиренно и гордо двинусь я дальше, по улицам и закоулкам таинственной моей Баии, произведу на свет беспризорных мальчишек-«капитанов песка», рыбаков и разбойников-жагунсо, бродяг и гулящих девиц. Они — плоть от плоти моей, они порождены сердцем моим и разумом, они — мои, а я принадлежу им со всеми потрохами.

И с миром, и на лаврах мне почивать рано. Я не прощаюсь, я говорю «До свиданья!». Не пришел еще час вечного покоя и надгробных речей. Открою дверь да шагну в бурлящую уличной суетней и толчеей Баию. Спасибо за все. Всех благодарю и дальше иду. Жизнь продолжается.

*Баия — Париж, июнь 1991 — июль 1992*

1. Жозе Мирабо Сампайо — бразильский скульптор и художник. [↑](#footnote-ref-1)
2. Карибе (Эктор Хулио Париде де Бернабо; р. 1911) — бразильский художник. [↑](#footnote-ref-2)
3. «Самый известный бразильский писатель» (итал.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ориша — африканские божества: Ошосси — бог войны; Огун — бог кузнечного ремесла. [↑](#footnote-ref-4)
5. В Бразилии очень распространена так называемая «звериная лотерея». [↑](#footnote-ref-5)
6. Антонио Селестино — искусствовед, банкир. [↑](#footnote-ref-6)
7. Энрике Аморим (1900—1960) — уругвайский писатель. [↑](#footnote-ref-7)
8. Трабальизм (от португ. trabalho — труд) — реформистское течение в рабочем движении Бразилии; в 1945 г. была создана Бразильская трабальистская партия. [↑](#footnote-ref-8)
9. Алфредо Диас Гомес (р. 1922) — бразильский драматург. [↑](#footnote-ref-9)
10. Клаудио Санторо (1919—1989) — бразильский композитор, дирижер, лауреат Международной премии Мира. [↑](#footnote-ref-10)
11. В августе 1942 г. Бразилия объявила войну Германии и Италии и в 1944‑м, после высадки союзников направила в Европу свои войска — Бразильский экспедиционный корпус. [↑](#footnote-ref-11)
12. Доривал Каймми — бразильский композитор и певец. [↑](#footnote-ref-12)
13. Всякие прочие штучки (исп.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Жозе Линс ду Рего (1901—1957) — известный бразильский писатель, автор классического романа «Угасший огонь». [↑](#footnote-ref-14)
15. Афро‑христианские общины подчинены внутренней духовной иерархии, обычно йорубско‑дагомейского происхождения. Общину возглавляет жрица — «мать» или жрец — «отец святого», которым помогают совершать обрядовые действия младшие жрецы и жрицы — эбомин, экеде, оба, иаво. Радение, или кандомбле, происходит на особой площадке — террейро, иначе называемой «дом святого». [↑](#footnote-ref-15)
16. Кандидо Портинари (1903—1962) — бразильский живописец и график. [↑](#footnote-ref-16)
17. «Книга — событие года» (фр.). [↑](#footnote-ref-17)
18. Луис Карлос Престес (1898—1986) — деятель бразильского и международного рабочего и коммунистического движения. В 1924—27 гг. возглавил вооруженную борьбу против диктатуры А. Бернардеса: повстанческие отряды, получившие название «Колонны Престеса», совершили длительный рейд по стране. В дальнейшем — один из руководителей (с 1943 г. — ген. секретарь) БКП. [↑](#footnote-ref-18)
19. Пьер Кот (1895—1977) — французский политик, антифашист, после Второй мировой войны один из организаторов Движения сторонников мира. [↑](#footnote-ref-19)
20. Веркор (наст. имя Жан Брюллер; 1902—1991) — французский писатель и художник. [↑](#footnote-ref-20)
21. Михаил Садовяну (1880—1961) — румынский писатель. [↑](#footnote-ref-21)
22. Пьетро Ненни (1891—1980) — один из лидеров Итальянской социалистической партии и Социалистического интернационала. [↑](#footnote-ref-22)
23. Пьеса называлась «Послушайте!» и шла в Театре на Таганке. [↑](#footnote-ref-23)
24. Квартира, где живут наездами, время от времени (фр.). [↑](#footnote-ref-24)
25. Макумба — афро‑христианско‑индейский культ в Бразилии; так же называются общины, придерживающиеся этого культа. [↑](#footnote-ref-25)
26. От португ. paulista — жительница штата Сан‑Пауло. [↑](#footnote-ref-26)
27. Алфредо да Крус Машадо (1922—1991) — бразильский издатель. [↑](#footnote-ref-27)
28. Нильс Артур Лундквист (1906—1981) — шведский писатель, критик, общественный деятель. [↑](#footnote-ref-28)
29. Леопольдо Мендес (1902—1969) — мексиканский график и живописец. [↑](#footnote-ref-29)
30. Жозуэ Аполонио да Кастро (1908—1974) — бразильский ученый и общественный деятель. [↑](#footnote-ref-30)
31. 25 апреля 1974 г. восставшие войска под руководством Движения вооруженных сил свергли правительство и осуществили демократическую революцию. [↑](#footnote-ref-31)
32. Алваро Куньял (р.1913) — с 1961 года генеральный секретарь португальской компартии. [↑](#footnote-ref-32)
33. Фернандо Гонсалвес Намора (1919—1991) — португальский писатель. [↑](#footnote-ref-33)
34. «Дороги голода» (фр.). [↑](#footnote-ref-34)
35. В Бразилии крупным помещикам формально присваивался чин полковника национальной гвардии. [↑](#footnote-ref-35)
36. В 1937 г. бразильский диктатор Ж. Д. Варгас провозгласил Бразилию «Новым государством». Это стало официальным названием страны до 1945 г. [↑](#footnote-ref-36)
37. Грасилиано Рамос (1892—1953) — бразильский писатель; в 1936 г. за политическую деятельность был подвергнут тюремному заключению (его «Воспоминания о тюрьме» опубликованы посмертно, в 1953 г.). [↑](#footnote-ref-37)
38. Грегорио де Матос (1633—1696) — бразильский поэт, мастер бурлеска, автор многих «вольных» сатирических стихов, распространявшихся в списках. [↑](#footnote-ref-38)
39. Жозе Освалд де Соза Андраде (1890—1954) — бразильский писатель, видный представитель модернизма. [↑](#footnote-ref-39)
40. Бразильский скульптор‑«самородок» XVIII в. [↑](#footnote-ref-40)
41. Алейжадиньо (наст. имя и фам. — Антонио Франсиско Лисбоа; 1730 или 1738—1814) — бразильский скульптор и архитектор. [↑](#footnote-ref-41)
42. Сантейро — мастер, делающий изображения святых. [↑](#footnote-ref-42)
43. В Бразилии выпускники университетов вместе с дипломом получают кольцо с камнем, цвет которого свидетельствует об избранной специальности: инженеры — красный, врачи — зеленый и т. п. [↑](#footnote-ref-43)
44. Глаубер Роша (1938—1981) — бразильский кинорежиссер. [↑](#footnote-ref-44)
45. Жанио Куадрос да Силва (р. 1917) был президентом Бразилии с января по август 1961 г. [↑](#footnote-ref-45)
46. Пальмиро Тольятти (1893—1964) — с 1926 г. был генеральным секретарем КП. [↑](#footnote-ref-46)
47. Кариока — житель Рио‑де‑Жанейро. [↑](#footnote-ref-47)
48. Голубка (исп.). [↑](#footnote-ref-48)
49. Мигель Анхель Астуриас (1899—1974) — гватемальский дипломат и писатель, лауреат Нобелевской премии (1967). [↑](#footnote-ref-49)
50. «Что за женщина, сударь!» (Фр.) [↑](#footnote-ref-50)
51. В Рангуне, Рангуне дерьмовом (исп.). [↑](#footnote-ref-51)
52. Жозе Мария Феррейра да Кастро (1898—1974) — португальский писатель. [↑](#footnote-ref-52)
53. Красавец‑мужчина (итал.) [↑](#footnote-ref-53)
54. Речь идет о Елене Вайгель (1900—1971), ведущей актрисе театра «Берлинер ансамбль». [↑](#footnote-ref-54)
55. Жан д’Ормессон (р. 1925) — французский журналист и писатель, член Французской академии. [↑](#footnote-ref-55)
56. Збигнев Зембиньский (р. 1908) — польский режиссер и актер, с 1941 года жил в Бразилии. Привнес в театральное искусство этой страны главные достижения режиссуры ХХ века — понятие «атмосферы», пластическое решение мизансцен, использование света, своеобразие сценографии, утвердил в бразильском театре искусство режиссуры. [↑](#footnote-ref-56)
57. В полном составе (лат.). [↑](#footnote-ref-57)
58. «Глаза Эльзы» (фр.) — политический сборник Луи Арагона, посвященный Э.Триоле. [↑](#footnote-ref-58)
59. Раймундо Магальяэнс Жуниор (1907—1981) — бразильский писатель. [↑](#footnote-ref-59)
60. Алвес Антонио Редол (1911—1969) — португальский писатель. [↑](#footnote-ref-60)
61. От фр. pastiche — пародия. [↑](#footnote-ref-61)
62. Луандино Виейра (наст. имя Жозе Виейра да Граса; р.1935) — английский писатель. [↑](#footnote-ref-62)
63. Оскар Нимейер (р. 1907) — бразильский архитектор, художник. [↑](#footnote-ref-63)
64. Зе — уменьшительное от Жозе (Josґe), португальского варианта имени Иосиф. [↑](#footnote-ref-64)
65. В 1948 г. вышел на экран фильм В. Якубовской «Последний этап». [↑](#footnote-ref-65)
66. Томас да Фонсека (1877—1968) — португальский писатель и один из лидеров португальского анархо‑синдикализма. [↑](#footnote-ref-66)
67. Васко Пратолини (1913—1985) — итальянский писатель. [↑](#footnote-ref-67)
68. Эленлиано Ди Кавальканти (1897—1976) — бразильский живописец, монументалист, карикатурист; один из основателей современной бразильской живописи. [↑](#footnote-ref-68)
69. Лауреат (фр.). [↑](#footnote-ref-69)
70. Роже Кайуа (1913—1978) — французский писатель, журналист. [↑](#footnote-ref-70)
71. Хосе Асонсьён Флорес (1904—1972) — парагвайский композитор; автор лирических песен, балетов, хоровых и оркестровых сочинений. [↑](#footnote-ref-71)
72. Эльвио Ромеро (р. 1926) — парагвайский поэт. [↑](#footnote-ref-72)
73. Бразильский алкогольный напиток — водка с лимоном и сахаром. [↑](#footnote-ref-73)
74. Временный представитель президента в каком‑либо штате. [↑](#footnote-ref-74)
75. «Моя вина, моя тягчайшая вина!» (Лат.). [↑](#footnote-ref-75)
76. Антонио Кастро Алвес (1847—1871) — бразильский поэт‑романтик, борец за отмену рабства. [↑](#footnote-ref-76)
77. Жозе Мария Эса де Кейрош (1845—1900) — виднейший португальский писатель, представитель критического реализма. [↑](#footnote-ref-77)
78. Жоакин Мария Машадо де Ассиз (1839—1908) — бразильский писатель. [↑](#footnote-ref-78)
79. Гильерме Оливейра де Фигейредо (р. 1915) — бразильский драматург. [↑](#footnote-ref-79)
80. Поэтический сборник П. Неруды «Виноградники и ветры» впервые был опубликован в 1954 г. — уже после смерти Сталина. [↑](#footnote-ref-80)
81. От исп., португ. curva — изгиб, поворот. [↑](#footnote-ref-81)
82. Десертное белое вино (фр.). [↑](#footnote-ref-82)
83. Метек (meteque) — презрительное прозвище иностранца (фр.). [↑](#footnote-ref-83)
84. «Большая шахматная доска» (фр.). [↑](#footnote-ref-84)
85. Человек, много путешествующий по свету (англ.). [↑](#footnote-ref-85)
86. Какое паскудство! (Фр.). [↑](#footnote-ref-86)
87. Блюдо баиянской кухни из свиной крови и ливера. [↑](#footnote-ref-87)
88. Фешенебельный квартал Баии. [↑](#footnote-ref-88)
89. Яшар Кемаль (р. 1922) — турецкий писатель. [↑](#footnote-ref-89)
90. Пьер Лоти (наст. имя — Луи Мари Жюльен Вио; 1850—1923) — французский писатель, член Академии, создатель жанра «колониального романа». [↑](#footnote-ref-90)
91. Национальное бразильское кушанье из фасоли и вяленого мяса. [↑](#footnote-ref-91)
92. Бразильская национальная борьба африканского происхождения. [↑](#footnote-ref-92)
93. Водка из сахарного тростника. [↑](#footnote-ref-93)
94. Эрнесто Сабато (р. 1911) — аргентинский писатель. [↑](#footnote-ref-94)
95. Родольфо Гиольди (1897—1985) — один из основателей и руководителей коммунистической партии Аргентины. [↑](#footnote-ref-95)
96. Мы с Матильдой ждем вас — тебя, Зелия, и тебя, Жоржи, у себя — у вас! — в Сантос‑Лугаресе (исп.). [↑](#footnote-ref-96)
97. Так у автора. [↑](#footnote-ref-97)
98. Местный колорит (фр.). [↑](#footnote-ref-98)
99. Главный редактор португальской газеты «Жорнал дас Летрас». [↑](#footnote-ref-99)
100. Традиционное название первого дня Великого поста. [↑](#footnote-ref-100)
101. Франсуаза Леклерк (1908—1983) — одна из руководительниц Комитета в защиту мира. [↑](#footnote-ref-101)
102. Мокека — жаркое из рыбы, крабов или моллюсков; ватапа — блюдо из маниоковой муки с кусочками мяса и рыба; шиншин — жаркое из курицы с тертым луком и чесноком, сушеными креветками и семечками тыквы или арбуза. [↑](#footnote-ref-102)
103. Внутренние засушливые районы на северо‑востоке Бразилии. [↑](#footnote-ref-103)
104. Имеются в виду персонажи произведений Амаду: «Тереза Батиста, уставшая воевать», «Лавка Чудес», «Две смерти Кинкаса‑Сгинь‑Вода», «Старые Моряки», «Дона Флор и два ее мужа», «Габриэла, гвоздика и корица». [↑](#footnote-ref-104)
105. Жагунсо — вооруженные наемники. [↑](#footnote-ref-105)
106. Курибока — метис от брака индианки и негра. [↑](#footnote-ref-106)
107. Одна из героинь романа «Мертвое море». [↑](#footnote-ref-107)
108. Жак Превер (1900—1977) — французский поэт и сценарист. [↑](#footnote-ref-108)
109. «Война — это такое паскудство!» — эпиграф к роману Амаду «Пальмовая ветвь, погоны и пеньюар». [↑](#footnote-ref-109)
110. Эрскин Колдуэлл (1903—1986) — американский писатель. [↑](#footnote-ref-110)
111. Фернандо Пессоа (1888—1935) — португальский поэт. [↑](#footnote-ref-111)
112. Вне конкурса (фр.). [↑](#footnote-ref-112)
113. Дьёрдь Лукач (1885—1971) — венгерский философ и литературный критик. [↑](#footnote-ref-113)
114. Захария Станку (1902—1974) — румынский прозаик, поэт эссеист. [↑](#footnote-ref-114)
115. Прозвище полулегендарного «благородного разбойника» Виржилио Феррейры да Силвы (1900—1938), убитого в стычке с правительственными войсками. [↑](#footnote-ref-115)
116. От фр. banlieue — пригород, предместье. [↑](#footnote-ref-116)
117. Промах, неловкость (фр.). [↑](#footnote-ref-117)
118. От исп. porte~no — житель Буэнос‑Айреса. [↑](#footnote-ref-118)
119. Кто этот засранец? — Член Верховного суда Аргентины, тамошнее светило (фр.). [↑](#footnote-ref-119)
120. Это — судья? Светило? Знаешь, кто он, аргентинец твой? Мудила он! Вот кто (фр.). [↑](#footnote-ref-120)
121. Дом Бразилии (фр.) — бразильский культурный центр. [↑](#footnote-ref-121)
122. Serviзo Nacional de Informзoes (португ.) — одно из подразделений бразильской политической полиции. [↑](#footnote-ref-122)
123. Автор явно имеет в виду Виктора Гюго. [↑](#footnote-ref-123)
124. Жозе Мартиниано да Аленкар (1829—1877) — бразильский писатель, общественный деятель. [↑](#footnote-ref-124)
125. Миэсьо Тати (1913—1960) — бразильский писатель. [↑](#footnote-ref-125)